

- **СУЕТА ВОКРУГ НАСЛЕДСТВА** —
социологический детектив О. Кустарева
- **ИДЕТ ОХОТА НА ВОЛКОВ...** —
продолжение повести об израильской разведке
- **У ЗАКРЫТЫХ ВОРОТ АЛИИ** —
"тогда" и "сейчас" в воспоминаниях очевидцев
- **ДИЕТА И ЗДРАВЫЙ СМЫСЛ** —
размышления биохимика о животных и человеке
- **ЛЮДИ КАК СОЦИАЛЬНЫЕ АВТОМАТЫ** —
анализ концепции А. Зиновьева

47 22

№ 47

МИЛАНСКИЙ

ДВАДЦАТЬ ДВА

общественно-политический и литературный журнал
еврейской интеллигенции из СССР в Израиле.
Лауреат премии имени Р. Н. Эттингера за 1984 год.

Год издания VIII

№ 47

апрель-май 1986

СОДЕРЖАНИЕ

ЛИТЕРАТУРА

О. КУСТАРЕВ. Разногласия и борьба (повесть)	3
ОЛЬГА ФИЛЛЕР (СССР). Стихи	48
МАРК ДРАЧИНСКИЙ. Стихи	50
РИНА ЛЕВИНЗОН. Стихи	53
ДАВИД ЮСТ. Красота (рассказ)	56

ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ ПРОЗА

РАФАИЛ БЛЕХМАН. Мосад, Аман и все такое (продолжение)	75
---	----

ИЕРУСАЛИМСКИЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ

ВИКТОР БОГУСЛАВСКИЙ. У истоков	101
АЛЕКСАНДР ЭТЕРМАН. Третье поколение	123
ЛЕОНИД ПРАЙСМАН. Мост не рухнул	143

ФИЛОСОФИЯ—РЕЛИГИЯ

БЕН-БАРУХ. Вав, обращающий время	153
ВЛАДИМИР БАЙТАЛЬСКИЙ. К портрету Змея	157

КУЛЬТУРА

МИЛАН КУНДЕРА. Человек думает, Бог смеется	166
НОРМАН ПОДГОРЕЦ. Открытое письмо Милану Кундере	172

РАЗМЫШЛЕНИЯ НАД ТЕКСТОМ

ВАЛЕРИЙ ВАЛЮС. Читая Зиновьева	182
--	-----

ИСКУССТВО

Художник Александр Окунь 206

НАУКА

ГЕОРГИЙ ДРИЗЛИХ. Диета и здравый смысл 211

Ученые смеются, или еще о законе Мэрфи 218

ЛЮДИ И КНИГИ

МИХАИЛ ВАРТБУРГ. О себе, об Израиле, о еврействе 219

АББА ЭВЕН. Бедный маленький Самсон... 221

На последней странице обложки — из работ А. Окуня

главный редактор — Рафаил Нудельман

Редакционная коллегия:

В. Богуславский

Ю. Меклер

А. Воронель

Н. Рубинштейн

Н. Воронель

М. Хейфец

Э. Кузнецов

Я. Цигельман

И. Чаплине

заведующая редакцией — Мириам Бар-Ор

технический редактор — Наталья Рубина

Всю корреспонденцию направлять по адресу:

“22”, P. O. B. 7045, Ramat-Gan, Israel

Телефон редакции — 03/394525

ИЗДАНИЕ

общественного культурного фонда “Москва-Иерусалим” под покровительством Израильского комитета ученых при общественном совете солидарности с евреями СССР

ЛИТЕРАТУРА

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Свистунов родился в 1894 году в семье железнодорожного служащего. Его мама была из семьи портного и числилась под девичьей фамилией Озерова, красивая фамилия. У Свистунова были еще брат и сестра; они приняли в его жизни косвенное, но важное участие. Как — будет видно потом.

Кончив реальное училище, Свистунов ушел в Петербург и больше домой не возвращался. В Петербурге, посмотрев на других людей, он обнаружил в себе литературный талант и примкнул к энергичным артистам, как раз в это время задумавшим существенное обновление искусства. Деятельность группы была успешной; она привлекла к себе внимание. Два—три человека из группы сумели выдвинуться в первые ряды тогдашней литературы, и среди них Свистунов. Особенно много им удалось сделать в области рифмы. Плоды их усилий ощущаются до сих пор.

Революция не оказалась неожиданной для Свистунова. Он принял в ней активное участие, бунтуя солдат и сочиняя листовки. Так что при новом режиме он оказался вначале на самой высоте положения. Но потом пошли нелады.

О. Кустарев

**РАЗНОГЛАСИЯ
И
БОРЬБА**
(повесть)

Свистунов был слишком самостоятелен и хотел слишком много. Его отношение к словесному творчеству было искренним и радикальным, он правда верил в свою существенную роль, был без усталости активен, требовал углубления революции, смерти традициям, вечно вылезал на трибуну, дразнил новую власть и, наконец, зарвавшись окончательно, получил по шапке.

Личная жизнь тоже не сложилась. Марианна Тулина, друг и подруга по литературным начинаниям, каким-то образом оказалась в эмиграции. Свистунова и Марианну связывало нечто большее, чем интересы общего дела. Письма, которые теперь стали нам доступны, не оставляют никаких сомнений: молодые люди были любовниками. В письмах Свистунов называет Марианну "деточкой", а она обращается к нему "мой любимый". Картина ясная. Это теперь — холодная история, а в те жаркие времена около 30-го года воспринималось современниками далеко не так объективно. Свистунову припомнили связь с контрреволюционеркой. Так что он не только потерял любимую женщину, но и принужден был заплатить за старую любовь, причем заплатить как следует. В 1929 году с ним было покончено.

Но не навсегда. Свистунов оказался настоящим бойцом. Кто теперь (кроме крупных специалистов) знает, сколько слез он пролил над своим красивым прошлым, сколько бумаги исписал и изорвал, стараясь вновь выдвинуться в передовые ряды нового искусства. Это ведь было не так легко, особенно если учесть, что конкуренция день ото дня усиливалась и новые бойцы вставали, как молодой лес. Свистунов однако свое взял. Он решительно отказался от своей (ныне такой знаменитой) теории рифмы и отработал новый стиль. Его пустили обратно.

Как знать, может быть, эта победа была бы уже окончательной, но дальше начались события, в которых роль личности в собственной биографии оказалась сведенной к нулю, и уже ни плохое, ни хорошее в человеке на весы не клалось и значения не имело. В массовых репрессиях 1937 года исчез и Свистунов, причем звезды его сошлись как-то особенно жестоко: его тут же расстреляли, не дав даже пожить по-человечески в лагере, как некоторым другим.

Ну что теперь можно сказать о его творчестве, о его таланте? Страсти, вроде бы, улеглись, прошлое достаточно хорошо окостенело, взлеты и падения Свистунова уже не воспринимаются как что-то живое, а читаются как книга, плакать по нему некому, смеяться над ним тоже никто не хочет, что было, то было, чего не было,

того не было, Свистунов-то был, так что же теперь из этого?

Смотришь на только что любовно изданную книгу его стихов и ничего острого не чувствуешь. Талант, это правда, был. Большой ли? Небольшой ли? Бог весть. Напор был очень сильный, но как будто какой-то бессмысленный. Перелистываешь и думаешь: вот человек, можно сказать, горел и, по слухам, других зажигал, а почему, для чего, зачем — ничего не известно. Искусство обновил? Да, пожалуй, обновил, но тоже как-то непонятно, зачем, для кого и в какую сторону.

И в общем ничего не понимаешь и уже готовишься, пожав плечами, закрыть книгу и задвинуть ее куда-нибудь подальше на полку, как вдруг замечаешь, что там есть маленькое приложение, нехотя заглядываешь в него и видишь там около двух десятков поэтических набросков, никогда не публиковавшихся при жизни автора.

И тут оказывается, что не все так просто. Неожиданно у человека обнаруживается другое лицо. Само по себе оно, может быть, и не такое уж сверхчеловеческое, но два лица у одного человека, как хотите, до некоторой степени создают третье. И тут есть над чем поломать голову.

Но, к сожалению, этим никто, насколько мне известно, заниматься не стал. Даст Бог, еще займутся. Хотя пока что, так или иначе, этот потенциальный сюжет приходится оборвать. Факт двух лиц у одного человека, однако, не остался без последствий в обществе и послужил причиной многочисленных событий. О них-то и пойдет речь.

Но сначала несколько слов об этом самом "втором лице". Выражение второго лица оказалось совершенно неожиданным и обнаружило у Свистунова помимо деятельности еще и душу, причем душа существовала самостоятельным образом, хотя и не в полном отрыве от деятельности. Вообще такое впечатление, что подлинный человек в Свистунове просыпался, когда он обдумывал свою деятельность. На мой взгляд, это ставит Свистунова в совершенно особое положение, потому что мало кто на это был способен в те увлекательные, но, по правде говоря, нелегкие для мыслящих людей времена.

Все же еще раз повторяю: самое интересное в этом явлении, то есть двуличность личности, как-то ускользнуло от малонаблюдательных потомков, но несмотря на это Свистунов оказался в центре внимания всего общества, народа, общественности, публики и любителей литературы.

Не прошло и десяти лет со дня благословенной реабилитации, как о Свистунове заговорили все. Союз писателей создал комиссию для изучения Свистунова и наведения порядка в его сильно потрепанных временем архивах. Даже, кажется, две комиссии — случай беспрецедентный.

Интеллигенция же, со своей стороны, совсем голову потеряла. Переписывали от руки уже когда-то напечатанное, чем, черти полозые, сильно подзадержали новое издание всех произведений (так мне один редактор рассказывал, может, врет, не знаю).

Появились, как водится, подражатели, даже среди женщин, хотя, казалось бы, у них уж были собственные образцы.

Уникально оказалось то, что Свистунов всех устраивал. Вроде бы он оказал огромные услуги новому обществу, подарив ему новый тип рифмы и несколько новаторских маршей. Начальники это очень ценили, потому что самим им до этих штук никогда бы в жизни не додуматься и хорошие специалисты в этом деле им нужны были позарез. Надвигалась новая эпоха, и искусство требовалось ответственное.

С другой стороны, Свистунов оказался себе на уме и сочинял кое-что в стол, причем в совершенно противоположных ритмах, хотя и с похожими рифмами. А после реабилитации потребность в чем-нибудь таком неофициальном оказалась баснословно велика. Конечно, молодежь быстро стала наворачивать новую лирику, но с авторитетами было туго; люди мало доверяли друг другу, хвалить друг друга не хотели, а сами высовываться тоже побаивались. Каждый ходил в гениях среди трех—четырёх приятелей, но такого общего гения, которому можно было бы без всякой опаски смотреть в рот, что-то не намечалось. То есть, много их там было, навалом было, несколько даже лишних, но признавать их за общие авторитеты не торопились. Признаешь, в самом деле, а потом окажется, что попал пальцем в небо, век будешь на себе волосы рвать. В условиях всеобщего ажиотажа и осторожности нужно было что-нибудь такое безусловное, какой-нибудь ничей знакомый, в котором никто особенно (в личном плане) заинтересован бы не был, такой, чтобы потом на голову не сел.

Тут Свистунов и подвернулся. Удобен он был для всех практических целей чрезвычайно. Писал в стол. Не то чтобы писал против власти, но и не хвалил ее. На Бога намекал, иногда даже вполне прозрачно, жаловался на тяготы жизни, употреблял скользкие слова, иной раз шутил по-черному, насчет водки несколько раз патетичес-

ки прошелся, много горьких слов к женщинам адресовал и даже в одном особенно откровенном стихотворении "суками" их назвал, что, конечно, вызвало много восторженных дискуссий и, как ни противно об этом говорить, особенно среди самих женщин, которые, на мой взгляд, проявили тут самую недостойную суетливость, что и оправдало, увы, до некоторой степени скоропалительный диагноз поэта, поставленный, я думаю, исключительно в сердцах.

Суть дела, таким образом, свелась к тому, что Свистунов (посмертно) стал вроде как бы антисоветским поэтом, которого, между тем, сама власть не запрещала, а даже, наоборот, впихивала в школьное обучение чуть не в одну линию с Пушкиным и Лермонтовым. Возникла и прочно установилась такая туманная действительность, в которой одно и то же имя значило совершенно разное в зависимости от того, кто его произносил.

Власти на каждом шагу вопили "Свистунов", прославляя себя. Интеллигенция же из-за каждого угла злобно нашептывала "Ссссвистунов" и точно знала, что таким образом произносит хулу власти и, стало быть, хвалу самой себе. Обе стороны, одним словом, клялись и божились Свистуновым, и беспрестанные упоминания имени Свистунова как бы придавали обоим лагерям значительности и солидности. Фигура Свистунова помогла, таким образом, установиться в обществе своего рода холодному миру, при котором противники ведут друг с другом настоящую войну, но друг другу об этом открыто не сообщают, то есть тихо-мирно воюют друг с другом и сами себя за непримиримость уважают, но в то же время эта непримиримость никому ничего не стоит, что и слава Богу, потому что всем жить охота.

Теперь нам должно быть понятно, почему из ста диссертаций на соискание ученой степени (той или иной) гуманитарных наук по меньшей мере двадцать были в те годы посвящены Свистунову. Считай, что каждый месяц в Москве и в провинции защищалась одна такая диссертация. Кроме того, непрерывно отыскивались новые рукописи, письма, черновики, записки, заметки и устные шутки поэта, которые тут же пускались по рукам и ходили в качестве такого "всеобщего эквивалента", то есть за каждую единицу свистуновского наследия можно было либо куда-нибудь в гости попасть, на конференции выступить (в Сочи), с хорошенькой женщиной как следует познакомиться, шины для автомобиля достать или гостиницу (в Сочи) и, конечно же, самое главное — защитить диссертацию.

Именно это и намеревался сделать Михаил Александрович Привалов, работник одного государственного института в Москве. Его диссертация была уже совершенно готова, перепечатана и переплетена, и оставалось только уладить некоторые организационные сложности.

Надо сказать, что у Привалова были на Свистунова особые права. Привалов был его внучатым племянником, а говоря совершенно точно, он был сыном сына сестры поэта Свистунова. Сестра Свистунова, которую мы упомянули (и не случайно!) в самом начале этого рассказа, была моложе поэта на 5 лет. Как было недавно установлено одним крупным специалистом, она родилась 1 февраля 1899 г. Она тоже, как и ее брат, примкнула к преобразовательным силам, но несколько позже, а именно в 1920 г., когда (незадолго до того овдовев при очень неприятных обстоятельствах — ее мужа утопили в реке Урал члены какого-то боевого соединения) с большой помпой вышла замуж за крупного красного специалиста в Петрограде. Специалист преуспел, то есть достиг очень высокого положения в Университете, так что жизнь свистуновской сестры катилась все время довольно-таки ровно, и даже расстрел брата в 1937 г. нисколько ее не задел.

В 1922 г. у благополучной четы родился сын. У него тоже все потом оказалось благополучно, но если про его родителей можно сказать, что им просто глупо повезло, то везение молодого Привалова заключалось разве в том, что родителей не расстреляли, потому что все остальные блага достались ему законно, так сказать, по социальному положению. Привалов кончил школу, потом стал военным врачом, после войны в Ленинград не поехал, а поехал в Москву, там достиг высоких степеней и служебных положений и даже стал генералом, продвинувшись в конечном счете несколько выше отца, который, правда, военных чинов не имел, но по таблице соответствий мог бы считаться, вероятно, полковником.

Михаил Александрович Привалов как раз и родился от генерала Привалова в 1946 г., так сказать на радостях после последних побед и торжеств. Детство его прошло безмятежно, в хорошей семье, в трехкомнатной квартире, в отдельной комнате, с отдельным письменным столом, так что мальчик вырос настоящим барином, склонным более к досугу, нежели к подневольному труду на государственных предприятиях, к которому он, как повелось у серьезной молодежи, относился свысока, хотя, будучи воспитанным молодым человеком, не любил на эту тему распространяться с товарищами.

Поэтому, когда пришло время выбирать себе жизненный путь, то путь выбрался сам собой и оказался очень приятным: юный Привалов пошел по искусству. Надо сказать, что он проявил при этом недюжинную зрелость. В конце концов, денег хватало, никто его особенно за хобот не тянул, он мог бы и вовсе не работать нигде. Многие паршивые овцы из его сословия так и поступали, уделяя все свое время иностранным тряпкам и пластинкам, а то и кое-чему похуже, но молодой Привалов был не таков. Жизнь богатого бездельника его не привлекала то ли потому, что у него родители были культурные, то ли потому, что была у него хорошая деловая жилка, скорее всего именно поэтому, потому что, как мы увидим скоро, он был настоящая ж и л а, то есть невероятно деловит и любил совершать операции со всякими ценностями, с товаром, то есть манипулировать материальными (включая духовные) благами и так и сяк, накапливая их потихоньку и превращая в богатство. У него прорезалось хорошее чутье на собственность, любовь к имуществу, аккуратное и хозяйское к ней отношение. Будучи же по воспитанию без малого аристократом, он, естественно, выбрал операции с духовными ценностями и сделался литературоведом.

По ходу дела выяснилось еще одно конкретное обстоятельство, быть может, тоже повлиявшее на ход его мыслей, а, может быть, и просто подвернувшееся под руку в нужный момент, но ведь, как говорится, солидному человеку все впрок — и поп, и попадаья, и попова дочка.

Дело же было в следующем. Однажды, еще будучи в роли старшеклассника, Привалов с одной знакомой девочкой как-то валандался на чердаке собственной дачки и обратил внимание на старый бабушкин сундук, стоявший в дальнем углу и покрытый уже таким слоем пыли, что никто в него и не заглядывал. Открыв сундук, Привалов обнаружил в нем ворох старых бумаг. Привалов к этому времени уже был неплохо начитан в Мандельштамах и Пастернаках (как-никак шел 1963 год), конечно, знал Свистунова и уважал его не меньше других, так что он сразу носом учуял, что набрел на кое-что ценное.

Его почти прямое родство со Свистуновым было ему известно от матери. Эта женщина, хотя со своей стороны в родстве с покойным классиком не состояла, а получила косвенное к нему отношение, лишь выйдя замуж за генерала, тем не менее носилась со Свистуновым страшно и непрестанно его поминала во всех разговорах

с людьми своего круга. Еще бы ей не упоминать! Ведь в наступившую эпоху быть генеральшей было почетно разве что среди генералов, но уже сами генеральши разрывались между генералами и поэтами. Не говоря уже о том, что все сколько-нибудь уважавшие себя семьи начинали задним числом строить себе родословные, и счастье было тому, у кого в роду отыскивались старые большевики, а уж если среди предков обнаруживался какой-нибудь дворянин, то это подымало семью в глазах сослуживцев на высоту аж не знаю как сказать, античную разве.

Генерал был, правда, больше человек деловой, своим знаменитым предком особенно не восторгался, но, впрочем, ему и не надо было: престиж семьи держала супруга и справлялась с этим неплохо.

Юный Привалов, таким образом, тут же смекнул, что у него в руках неплохой капитал и, уже будучи студентом первого года, начал старательно разбирать доставшийся ему шальным образом архив своего совершенно уникального деда.

А добыча и в самом деле была шальная. Попала она на дачку Приваловых диким и неисповедимым образом. Дело в том, что Свистунов не был женат. Когда его арестовали, все его имущество повисло в воздухе, и дальнейшие его злоключения были совершенно стихийными. Гаишники (или как они тогда назывались) не проявили к свистуновской квартире никакого интереса, потому что она была совершенно пуста и пожить там было особенно нечем. В те времена такие квартиры брали, что о-го-го, а тут, кроме какой-то вшивой мебели ничего не оказалось. Были, правда, две—три картины, но и то какая-то мазня, так что даже и их не тронули. Квартиру просто закрыли на ключ, и все нехитрое барахло там осталось без движения в ожидании нового съемщика.

Съемщик прибыл через неделю и решил все оставить как есть, потому что сам был гол, как сокол, и не захотел пока на новую мебель тратить. Пожив в квартире неделю—другую, он устроил там небольшой шмон на предмет выявления неожиданных ценностей. Ничего не нашлось, кроме сундука с носками и галстуками и огромного количества бумаг. Полистав бумаги, новый съемщик не нашел в них ничего интересного и выбросил. Но сделал он это как-то по-дурацки. Он сложил все бумаги в сундук и вывез сундук на свалку.

Там сундук пробыл три дня и привлек внимание одного субъекта, который в то время жил как старьевщик и любил порыться на

свалках, так как точно знал, что туда попадает не только мусор, но и всякая старина, которой нынешние варвары цены не знают, а порядочным людям в более спокойные времена античность понадобится, как кислород: так всегда бывает. Сундук был заперт, и старьевщик не смог с ним справиться. Тут, кстати, оказалось, что замок на сундуке совершенно необыкновенный и сам по себе через тридцать лет будет стоять сумасшедшие деньги: старьевщик был человек упрямый и не верил, что деньги при коммунизме отменяют. Он верил, что через тридцать лет будет коммунизм, а что деньги отменяют — не верил. У него была на этот счет своя теория.

Поэтому он сволок к себе красивый сундук, не открывая, хотя сундук был жутко тяжелый и попотеть пришлось изрядно.

Мы не знаем, разбирался ли старьевщик в архивах и рукописях так же хорошо, как и в сундуках, но история не дала ему проверить свои экспертные возможности, потому что на следующий день его арестовали. В отличие от квартиры духовно богатого Свистунова, эта квартира была до отказа забита предполагаемыми ценностями и была разграблена комильфо. Сундук достался одному сержанту. Он был ему не особенно нужен, но, чтобы не отстать от более старших по чину товарищей, он его все-таки прихватил. Жил сержант за городом и поэтому сперва доставил сундук к себе на работу и поместил в коридоре. Над свистуновским архивом нависла угроза, потому что если бы сундук доехал до сержантовой избы, то, конечно, сержант, открыв его, не стал бы даже читать бумажек, а тут же препроводил бы их в печку.

Но такому не суждено было произойти. Той же ночью сержанта отправили на особо опасную операцию. Брали одного старого кадра, про которого думали, что у него есть наган и он может отстреливаться. Во время ареста желторотому ассистенту показалось, что захватываемый преступник подозрительно полез в карман пиджака. Ассистент не выдержал нервного напряжения и бабахнул из пистолета, да так неудачно, что угодил прямоком в сержанта и убил его наповал.

Бесхозный сундук оказался никому не нужен, и ассистенту его предложили в качестве возмещения того морального ущерба, который он понес, пристрелив по неопытности своего же товарища, и ассистент сундук взял, потому что боялся, что если он откажется, то это будет выглядеть некрасиво и его еще чего доброго пустят в расход.

Тем же вечером он погрузил сундук на тележку и поволок к

себе на квартиру. Надо же такому случиться, что и ему не повезло. Потому что перевозя тележку через мостовую, он угодил колесом в яму и застрял. Пока он кряхтел и потел, пытаясь вытащить колесо из ямы, на противоположной стороне улицы произошла какая-то заварушка, громко закричала женщина, что-то упало, кто-то куда-то побежал и вообще, одним словом, запахло жареным. Молодой сотрудник, парень горячий и все еще слегка не в себе после досадной промашки, вместо того чтобы заниматься своей тележкой, кинулся в самую гущу выяснить, что происходит, но прежде чем он успел выяснить что-нибудь определенное, его в общей суматохе незаметно пырнули ножом. Испугавшись происшедшего, толпа тут же разбежалась. Ассистент остался лежать на тротуаре в луже крови, а свистуновский сундук красоваться посреди дороги.

Люди шли мимо, не глядя, а которые глядели, думали, что это чья-то личная тележка и этот кто-то находится где-то тут же поблизости и сейчас за своей тележкой подойдет. Тележка, между тем, к тому времени уже была ничья, но никто этого не знал. Благодаря этой ошибке прохожих она простояла поперек улицы целый час. Один болтавшийся в городском саду босяк, правда, стал уже к ней примериваться, поскольку заприметил, что за тележкой никто не идет, но ему она не досталась. Босяк был человек сильно запуганный и слишком долго колебался. А тем временем из-за угла показался грузовик.

Доехав до тележки, шофер грузовика остановился и стал ждать. Прождав минут десять, он вылез и стал озираться по сторонам, спрашивая, чья тележка. Тут кто угодно мог сказать, что моя, но почему-то людям было не до того. И тогда шофер, пожав плечами, снял сундук с тележки и закинул к себе в кузов. Тут он заметил, что тележку можно объехать, объехал ее по-быстрому и скрылся за следующим углом.

Сундук удалось на время пристроить. Но не надолго. Уж видно у сундука была такая судьба. Еще немного, и он, может быть, наподобие Христофора Колумба (или там Магеллана что ли) весь свет объехал бы: дело к тому шло. Но все же не дошло. Потому что судьба судьбой, а случай тоже своего не упустит. Как веревочка не вейся, а все равно находится ей конец.

И все же не шофер оказался последней инстанцией. Сперва, правда, казалось, что сундук застрянет у него надолго, потому что шофер добрался до дому без приключений, внес сундук в дом и уже приготовился его открывать, но тут появилась жена. Увидев

сундук, она очень обрадовалась. Дело в том, что жена шофера работала приходящей уборщицей в разных богатых домах у интеллигенции, и хозяйка одного из этих домов только сегодня утром сказала ей, что хотела бы купить сундук держать обувь. Жена шофера обещала поискать что-нибудь подешевле и тут же про себя решила загнать барыне свой собственный, поскольку он ей был не нужен, а деньги, наоборот, были очень нужны: она собиралась себе покупать новые туфли.

Увидев в доме лишний сундук, эта женщина страшно обрадовалась. Таким образом она убивала сразу двух зайцев: она могла получить с хозяйки деньги, и сундук оставался в доме. Хотя она прежде и решила, что сундук ей не нужен, но что значит не нужен? Сегодня не нужен, а завтра ох как понадобится. Она сообщила мужу о своих соображениях, и они решили, не откладывая дело в долгий ящик, тут же транспортировать сундук к хозяйке.

К этому их побуждали два обстоятельства. Во-первых, для двух сундуков в квартире не было места. Они и так жили в одной комнате впятером. Во-вторых, иностранные туфли, на которые нацелилась жена шофера, могли уплыть, потому что она уже третий день тянула с деньгами, и продавец довольно-таки прозрачно стал намекать, что у него есть другой покупатель. Надо было торопиться. Так торопились, что даже забыли заглянуть, что в сундуке. Тут же погрузили его обратно в грузовик и покатали.

Бот так вот сундук со свистуновским архивом и прибыл в дом его ближайших родственников Приваловых.

Можно, конечно, думать, что такая цепь бессвязных событий спасла свистуновское наследие, но на самом деле не все так просто обстояло. Как раз наоборот, это чуть было не погубило творческое наследие Свистунова.

Потому что когда супруги Приваловы, промучившись два часа с проклятым замком, открыли наконец сундук, то первым их побуждением было выбросить весь бумажный хлам, который они там обнаружили, в печку. Но вдруг мадам Привалова увидела на одном из конвертов что-то странно знакомое. Она поднесла конверт к носу и разглядела на нем свое собственное имя, написанное ее же собственной рукой. Она повертела конверт и так и сяк, вгляделась пристальнее и убедилась окончательно, что первое впечатление ее не обмануло. "Что за чертовщина", — подумала она и извлекла из конверта содержимое. Первые же строки письма убедили ее в том, что это ее собственное письмо, написанное брату!

Сомнений быть не могло. Но, Боже ты мой, каким образом сундук с перепиской поэта попал можно сказать на улицу, к посторонней женщине, совершенно не подозревавшей, что находилось у нее в руках. С момента ареста Свистунова к тому времени прошло уже несколько дней, так что супругам не составило большого труда представить себе всю картину, хотя, конечно, схематически; ведь не могли же они догадаться, через какие огонь и воду прошло имущество брата, прежде чем вернулось в лоно семьи (и дошло, таким образом, до медных труб).

И опять можно, конечно, думать, что ценнейшие документы, только что чуть не отправленные в печку, были спасены благодаря наблюдательности их новой владелицы, но и тут все было не так просто.

Ни в коем случае не следует забывать, что дело-то происходило не в каком-нибудь, а в 1937 г., и тогда сразу становится понятно, что намерение Приваловых предать бумаги огню в первый момент как они узнали, что это за бумаги, только усилилось. Не будет преувеличением сказать, что лучше бы уж сундук отправился путешествовать вокруг света, как вроде бы поначалу и намечалось, чем попасть в руки столь заинтересованных лиц.

После трех минут колебаний, Привалов сгрел в охапку хороший кусок архива и твердыми шагами направился к печке. Судьба свистуновского наследства была решена. Но тут произошло нечто неожиданное.

В стенке над печкой раздался сперва какой-то шорох, потом стук, потом почти грохот, там внутри стало что-то падать и из печной дверцы повалил густой дым. Как видно, старая печная кладка по неизвестным причинам обрушилась, дымовой проход завалило, печка потухла.

Стали бегать и суетиться, кинули бумаги обратно в сундук, захлопнули крышку, стали открывать окна, заглядывать сквозь густой дым в печку, так что глаза ело, потом побежали вниз за мужиком. Весь вечер возились с поломанной печкой, вымазались с ног до головы, легли спать злые и мрачные и про сундук забыли.

А ночью госпоже Приваловой приснился сон. Будто приехала она на поезде в какую-то лесную глушь, вылезла и стала озираться, а пока озиралась, поезд ушел. Испугалась Привалова страшно: что она теперь одна в лесу делать будет? Ноги как отнялись, хочет идти и ни с места. И вдруг видит она где-то за деревьями синий огонек светится. Собралась она с силами, застегнула пальтишко и двину-

лась на огонек. Идти трудно. Ноги и так сами спотыкаются, да и дорога неровная, пройдет десять шагов — яма. Обойдет яму подальше, за ней другая яма, еще страшнее и глубже первой, а там дальше третья и так далее. Лес становился между тем все гуще и темнее, дорога все уже, и только и было у Приваловой радости, что синий огонек впереди. На этот огонек она и шла, уже почти не надеясь. Сколько она так шла, уже и времени счет потеряла. Чувствует Привалова, что силы покидают ее, сейчас ляжет на землю и не встанет больше, будь что будет, пропадать так пропадать.

Но тут вдруг видит Привалова, что деревья перед ней расступаются, да и вид у них становится другой. То были кривые, щербатые, грязные недоросли, а то стали высокие могучие дубы, нежные березки, яркие рябины. И, вместо мшистых неровных кочек, под ногами голубой ковер, сверкающий, как изумруд. А еще через несколько шагов Привалова оказывается на широкой светлой поляне, покрытой пестрыми цветами и нежной весенней травкой. Тут Привалова проснулась.

Сон показался ей значительным, и она стала размышлять, что бы он такое значил. Смысл сна открылся ей окончательно только к вечеру. Но зато прояснился до полной прозрачности. К вечеру Приваловой стало совершенно ясно, что поезд, который привез ее в лес, это Октябрьская революция, лес, это коллективизация и сталинские чистки, а светлая поляна, это реабилитация. Ну и голубой огонек — наверно, это Хрущев. Как в воду глядела.

Привалова тут же прослезилась, потому что поняла, что сон этот приснился не зря, а именно для того, чтобы она сберегла архив брата, потому что это будет святое дело, в том смысле, что в конце концов обернется большой выгодой.

Говорят, что в те времена люди вовсе не понимали, что происходило. Неправда: очень многие не теряли головы и неплохо рассчитывали на довольно далекую перспективу, во всяком случае неплохо знали, какой товар с течением времени в цене упадет, а какой подымется. И главное, они знали, что, в конце концов, все уладится и тем, кто останется жив, будет не так уж и плохо и даже намного лучше, чем в противоположном случае, то есть в случае смерти, что ли? Путь к этому, конечно, будет не прямой, но надо уметь заглядывать за угол и иметь терпение.

Решение сохранить архив было принято окончательно и бесповоротно, но мужу об этом говорить не следовало. Поэтому Привалова на следующий день объявила ему, что бумаги сожгла, а сама погру-

зила их аккуратно в сундук и на машине одного дальнего родственника отвезла во Всеволожскую, где у них перед самой войной намечалась маленькая дача.

Там сундук и простоял всю войну. Старик Привалов же войны не пережил. Он был человек принципов и во время блокады из Ленинграда уезжать не пожелал. Принципы его и свели в могилу, как, впрочем, и многих других. Самой же Приваловой, урожденной Свистуновой, повезло чуть-чуть больше, и она блокаду как-то переболела. В 1945 г. она поехала в Москву вслед за сыном, прихватив с собой оставшееся от войны имущество, в том числе и сундук. С одной дачи сундук переехал на другую и прочно застрял на чердаке.

Привалова умерла в 1957 г. и перед смертью рассказала сыну о содержимом сундука. Будущий генерал не придавал этому большого значения, так как чисто профессиональная карьера занимала его больше, светской жизни он почти не вел и литературные родственники были ему ни к чему. Хотя не совсем. Где-то в подсознании у него все же шевелилось, что иметь такого предка, как Свистунов, практически полезно. Во всяком случае, когда он ухаживал в 1943-45 гг. за своей будущей женой, он не только не скрывал от нее, что знаменитый поэт его дядя, но даже пару раз не без цели пытался вдолбить ей этот факт. К счастью, будущая жена в то время ничего еще про Свистунова не слыхала и решила, что ей выгодно выйти за молодого Привалова по совсем другим причинам. Оно и лучше было, потому что Свистунов был все-таки недвусмысленно вычищен, до реабилитации было далеко, и тот метод соблазнения, к которому, было, пытался совершенно стихийно прибегнуть Привалов, мог ему отколоться крупными неприятностями. Он и сам это впоследствии понял. Все надо делать вовремя. После 1957 г. новая Привалова уже сама взяла Свистунова на вооружение, собрала, пользуясь громким именем, вокруг себя неплохую компанию разговорников и вообще стала одной из первых московских дам.

Конечно, и сыну своему она Свистуновым все уши просвистела. Между прочим, напрасно, потому что могла мальчика развратить. Но юный Привалов оказался крепкой породы и вместо того, чтобы размахивать именем почетного деда в пьяных компаниях, быстро сообразил, что на этом можно наладить настоящее производство. То есть он очень твердо решил, что сперва сделает дело, а потом уж будет стричь купоны у женщин и молодежи, потому что производство сперва, а потребление после, и ни в коем случае не наоборот.

Архив он квалифицированно разобрал, еще будучи студентом. На нем и в аспирантуру въехал. Дело было так. Примерно на третьем году обучения он отправился к профессору Ненагладову и сказал, что хочет заняться Свистуновым. Было это, стало быть, в 1966 г. и дым уже стоял коромыслом. У профессора были свои заботы. Он был старой школы, в тридцатых годах маленько посидел и после 56-го года, вновь допущенный до научных занятий, четко сформулировал себе две цели. Во-первых, отомстить за необоснованную репрессию, а во-вторых, пробиться повыше.

Эти две цели как нельзя лучше совпали и вот каким конкретно образом. Мстить надлежало советской власти. Но, трезво рассудив, Ненагладов пришел к выводу, что мстить советской власти будет, пожалуй, слишком жирно; советская власть ему будет не по зубам, и не такие волкодавы на этом шею сломали, так что разумнее будет, рассудил он, хорошенько отдавить мозоль какому-нибудь ее особенно неприятному представителю.

Свой выбор Ненагладов остановил на Красногорском. Красногорский точно работал на них, на гаишников в смысле. В этом не было никаких сомнений. Иначе чем же можно было бы объяснить тот факт, что пока Ненагладов сидел, Красногорского выбрали в член-коры. Вся профессиональная среда точно знала, что это было место Ненагладова.

Подлец Красногорский не только занял чужое место, но еще и использовал его для того, чтобы дополнительно сплющить в лепешку им же самим устранившего соперника. В качестве член-кора он установил контроль над одним очень важным сектором культурного наследия и получил под начало артель неплохих работников, в то время как Ненагладов от этого источника сырья был совершенно отторг. В результате артель Красногорского сделала целый ряд открытий, проходивших по категории "выдающихся". Ненагладов еще в 31-м году обнаружил эти залежи и в 37-м уже почти наложил на них лапу, но тут его выключили. А когда он вернулся, оказалось, что участок уже застолбили другие разведчики нового и обкрутили его таким колюченьким забором, что ни один посторонний доступа туда уже не имел.

Сперва Ненагладов попытался атаковать их сверху. То есть он попробовал сконструировать теорию, из которой было бы видно, что все это сырье не имеет той ценности, которую ему приписывают. Но тут он дал маху. То ли за двадцать лет пребывания на периферии он утратил чутье момента, то ли ему в Капезе мозги все же

маленько поотшибли, но ему взбрела в голову неумная мысль попрекнуть бригаду Красногорского в пристрастии к Достоевскому. Хуже ничего нельзя было придумать, потому что производственные нормы уже резко изменились, Достоевский как раз пошел в большую переработку, и когда Ненаглядов начал свои наскоки, никто уже не мог даже понять, чего он собственно хочет — так далеко дело зашло.

Да и теоретический фронт оказался вообще узковат для конкурентной борьбы. Подлинно научная теория была уже вполне отстроена, все в ней притерто и пригнано, и человеку с фантазией там уже было не развернуться. Ненаглядов покряхтел, покряхтел и бросил. Можно было, конечно, пойти еще дальше вверх, туда, где некоторые изобретательные работники вроде как набрасывали метатеорию, но на это дело Ненаглядов не потянул: что ни говори, шестьдесят лет не шутка, и ум не так поворотлив, и времени в обрез. Пришлось успокоиться.

Но оппозиционные настроения уже во всю гуляли по хорошим домам, молодежь ценила в Ненаглядове дореволюционное прошлое, короткая отсидка придавала ему веса, Ненаглядов чувствовал, что ему отведена все же некоторая роль и старался ее выполнять. С Достоевским он, конечно, пролетел крупно, не сорвав аплодисментов, так сказать, ни в залах ни на вокзалах. Но он сам этого как-то не заметил и правильно сделал, потому что прошло немного времени и оказалось, что никто этого не заметил, а может, просто позабыли. Это вполне объяснимо, потому что после долгого застоя в культурном производстве в оборот стало прорываться столько всякого культурного товара, что даже самые бойкие работники с ног сбились. Один только Серебряный век прямо-таки переполнил каналы обращения, так что к концу семидесятых годов товар даже пошел на экспорт, и самые шустрые разносчики ухитрились и сами с этим товаром экспортироваться, где и наладили пару вполне прибыльных цехов, получая прямо валютой.

До Ненаглядова постепенно дошло, что наступившее время коренным образом отличается от промелькнувшего в одном важном отношении. В прошедшем времени товар и капитал были фиксированы, и надо было бороться за то, что было назначено наперед в обработку и обращение. В настоящем же времени содержание рынка и производства приобрело некоторую неопределенность и можно было сунуться на рынок с таким товаром, которого пока что никто не предлагал.

Образно говоря, на разграбление попали две—три новых пирамиды, до которых до сих пор еще не докопались. Реабилитация, так сказать, открыла возможности для экстенсивного развития культурного производства. Большая чистка сильно помогла культуре: она перевела целую плеяду артистов из функционирующих конкурентов в культурное наследие, то есть в кондиционное сырье. Частью этого кондиционного сырья оказался и Свистунов, и Ненаглядов положил на него глаз. Удобно все-таки иметь дело с умершими артистами: валяй их и так и сяк, хоть веревки из них вей, можешь даже по несколько раз, по сто раз, по тысяче. И при этом не только они создают тебе рабочее место и обеспечивают доходы, но еще на тебя как бы падает их благодная и заслуженная тень.

Но надо торопиться. Слава богу, за какие-то двадцать лет спихнули в историю свеженький культурный слой на радость и утешение потомкам. Теперь, чтобы его обратно разгрести, понадобятся толковые работники. Но, как уже было сказано, торопиться надо. Потому что народ очень предприимчив стал. По причине отсутствия свободы в области текстильной промышленности и таксомоторного промысла очень энергичные таланты подались в академическое производство. С ними шутки плохи. Глядишь все новое сырье в момент растащат. Надо быстро хватать.

Ненаглядов схватил Свистунова. Он доил Свистунова уже лет пять, когда к нему на кафедру заглянул юный Привалов со своим архивом. Ненаглядова чуть инфаркт не хватил. Он совершенно ошалел, хотя лукавый Привалов принес ему для начала всего лишь тоненькую пачечку черновичков и два—три письма к сестре. Ненаглядов тем не менее догадался, что у Привалова еще кое-что есть в записке. Где уж было начинающему Привалову хитрить с таким муравьедом.

Ненаглядов хотел было сперва Привалова запугать. Дескать вам, молодой человек, все равно одному с этим делом не справиться. Так что выкладывайте все, что есть, на стол, будем работать вместе.

Но Привалов, хотя и не был еще достаточно хитер, но жила, как мы говорили раньше, была порядочная. Он чувствовал, что Ненаглядов его насквозь видит, но твердо заявил, что больше у него ничего нет. Все, что Ненаглядову удалось из него выжать, так это соавторство. Но тут даже было неясно, кто у кого взял и кто кому дал, потому что юному Привалову ненаглядовское соавторство сразу открыло двери во многие академические кабинеты, а самое главное все поняли, что Ненаглядов присосался к чему-то очень богатому и

стали обхаживать Привалова, завлекая его на всякие семинары, конференции и даже в долю.

И опять Привалова уберегла трезвая голова. Просто удивительно, как ему удалось проскочить сквозь все соблазны и не развратиться. Несомненно, у него был талант. И он не растратил его на пустяки, а строил свое дело, расплачиваясь той наличностью, которая у него лежала в сундуке, и не торгуя талантом как таковым.

Ненаглядову долго ехать на нем не пришлось. К защите диплома Привалов выволок из сундука почти все основные рукописи Свистунова, и тут Ненаглядова хватил инфаркт по-настоящему. Мало того, что рукописи Свистунова считались погибшими. Уже одно их обнаружение гарантировало собственнику твердую ренту. К тому же оказалось, что свистуновские рукописи особенно ценны, потому что Свистунов работал не за страх, а за совесть, и вследствие этого рукописи были страшно грязные, то есть полны вычеркиваний, вставок, исправлений и вариантов. Это означало, что стадия чисто текстологической работы растягивалась на долгое время и из нее можно было выжимать публикации дюжинами. Особенно же ценно было следующее. Учитывая обилие и такое состояние рукописей, можно было хорошо блокировать всех потенциальных конкурентов, рвущихся толковать творчество Свистунова. Мотив был прост: о чем говорить, если даже еще не ясно, что именно покойный написал. Вот, погодите, разберемся в самих текстах, тогда и налетайте, гуси-лебеди, а пока поищите себе чего-нибудь другого. Найдете — ваше счастье. Не найдете — идите инженерить.

Отлежавшись от инфаркта, Ненаглядов попробовал еще раз расколоть Привалова. Привалов пожалел, как видно было, смертельно больного и разрешил ему написать предисловие к своей книжке, которую тут же стал готовить на базе успешного диплома. Было это в 1968 г. Книжку он подготовил к 70-му, но тут у Ненаглядова случился еще один инфаркт. Умиравший старик умолял ускорить выход книги, но Привалов даже нарочно ее слегка подзадержал. Он понял, что Ненаглядов вот-вот помрет, и ему уже было Ненаглядова не жалко. Больных он еще жалел, но покойников ни-ни. Ненаглядов же был, в сущности, покойник. Помер он в 71-м, а в 72-м Привалов понес свою книжку в издательство.

Там его ждал сюрприз. Оказалось, что Ненаглядов в панике перед смертью накатал-таки предисловие и оно оказалось в руках у издательского редактора даже раньше книжки. Редактор был старый приятель Ненаглядова, они и в гимназии вместе учились,

и в 37-м по одному делу проходили. Он стал уговаривать Привалова уважить память старика и включить его имя в книжку. Но Привалов был неумолим, потому что не понимал, зачем покойнику слава. И был прав. Покойнику слава не нужна. Покойник и без славы проживет. А живому человеку слава необходима, потому что слава — товар, а нет товара — нет и навару.

Редактор повздыхал на эту неумолимую логику и переменял пластинку. Тогда, сказал он, давайте я подпишу это предисловие. Или давайте маленько его переделаем и пустим как статью в солидный журнал, перед выходом книжки это будет неплохая реклама.

Хороший товар в рекламе не нуждается, резонно отвечал Привалов. И вообще, продолжал он, теперь, когда Ненаглядова больше нет, Свистунов — мой. Он совершенно ясно дал понять редакционной крысе, что намерен верхом на Свистунове вплоть до член-кора доскакать. Архивом владею я, архив — мой, а стало быть, Свистунов — мой.

Редактор обозлился невероятно. Он был человеком старых взглядов, тайком верил в капитализм и был за то, чтобы все ж таки сначала хотя б для смеху устроить свободную конкуренцию, а не начинать прямо с монополии. В сердцах он намекнул, что вопрос о правах Привалова на архив может быть поставлен в соответствующем плане и в соответствующих инстанциях. Ведь Свистунов все-таки национальное достояние.

Привалов на это отвечал, что внешняя торговля, банки, почта и телеграф — вот вам национальное достояние. А Свистунов — это национальная гордость, и это уже немножко другое. И вообще, добавил он, у нашей семьи двойные права на эту собственность. Свистунов — это наш предок, а не ваш, товарищ Копытман, да, наш, а не ваш, и в прямом и в переносном смысле этого слова.

А сверх того на такие вещи есть еще и моральные права, и они тоже у нас. Потому что моя бабка, рискуя собственной жизнью, вынесла свистуновский архив из-под самого носа гаишников и прятала его по четырем разным адресам, хотя была почти уверена, что за ней следят. Привалов не врал. Ему мама так рассказывала. Это точно известно, что мама, потому что она так всем рассказывала. И правильно сделала, потому что если бы она рассказывала какую-нибудь другую, например, приведенную выше версию, то никто бы ей не поверил. Публику такие версии не убеждают.

Редактор (Копытман) все это съел, но не утерся, а затаил страшную злобу, потому что как порядочный человек никому не мог

простить подобной наглости. Привалов нажил врага.

Особенной беды в этом не было. Волков бояться, в лес не ходить. Привалов твердо знал, что в большом деле враги всегда будут, но что при хорошей организации на каждого врага найдется по хорошему другу. В конце концов, все люди враги, но и друзья тоже, и без диалектики вражды и дружбы подлинной жизни не бывает, к этому надо относиться без паники. Главное — держаться за свое крепко. Социализм — это, конечно, звучит гордо, и даже прекрасно, и даже убедительно; пусть сберкассы будут общие, но что мое, то мое. Привалов наплевал на Копытмана.

Книжка вышла, расхватали ее моментально, на черный рынок попала чуть не половина тиража, рецензии были только положительные, а один критик, широко известный своим тайным антикоммунизмом, написал даже восторженную рецензию и первым прозрачно намекнул, что это дело тянет на государственную премию. Привалов только усмехнулся, потому что знал, что пока что не проходит на этот куш по возрасту, но был вполне удовлетворен, потому что намек на выдвижение в двадцать пять важнее и приятнее для души, чем сама премия в шестьдесят. Особенно полезно было то, что первым свой голос подал всем известный тайный антисоветчик. Это гарантировало шумный успех среди интеллигенции. Премия подождет, думал Привалов, народное уважение тоже не хер собачий.

Редактор (Копытман), тайный рыцарь лессе-фер, имел все основания, когда сетовал на монополию. Привалов контролировал Свистунова почти полностью. Где-то на далекой периферии еще копошились какие-то свистуноведы областного и краевого значения, в пикну центру подсчитывающие количество шипящих в рифмовках поэта или занимавшиеся оформлением свистуновских стендов в краеведческих музеях. Это все было не в счет. Возник было на горизонте какой-то западник-формалист (не то в Паневежисе, не то в Даугавпилсе), объявивший Свистунова последователем не то Верлена, не то Верхарна, но Привалов тут же вытащил из сундука специальное заявление самого Свистунова, где он неodobрительно отзывался о закате буржуазной культуры и, как нарочно, особо заклеил этих двух. Последовала убийственная публикация, и из структуралиста вышел воздух.

Был еще, правда, совсем уж комический эпизод с одним ленинградским доцентом, который вспомнил, что в течение одного дня был следователем по делу Свистунова. Как видно, этот доцент совсем уже выжил из ума, что было неудивительно, поскольку его

самого потом арестовали и протаскали по лагерям до самого 56-го. Правда, он мотивировал свои права на Свистунова довольно расчетливо, упирая и на то, что был следователем, и на то, что сам сидел, но публика его не приняла.

Между прочим, этот пример показывает, что одно и то же сочетание биографических эпизодов одним людям идет на пользу, а другим во вред. В то же самое время по Ленинграду гулял один артист, который, как и многие его коллеги, в 30-е годы работал гаишником, а в следующее десятилетие сидел сам. Так вот ему были и почет, и уважение, от государства почет, от публики уважение, а упомянутого доцента за то же самое сочетание свойств все презирали и рта не дали раскрыть. Вот и рассчитывай. Так что этого доцента Привалов просто игнорировал.

Таким образом, Привалов оказался безраздельным владельцем всей свистуновской тематики в культурной жизни страны, и никакие опасности ему не грозили. Свистунов внедрился в культурное наследие навечно, так что Привалов мог быть спокоен даже за своих детей, которых, правда, пока что еще не было, но в связи с надежной экономической базой фамилии должны были появиться: тут нечего было бояться. Кормиться Свистуновым можно было бы вплоть до следующей общественной формации, если бы таковая наступила, но, как была убеждена публика, наступившая общественная формация была уже окончательной, если не считать общественной формацией царствие небесное, но на такой идеализм (или материализм, черт его знает) уже никто не был способен.

Как вдруг дело приняло совершенно неожиданный оборот. Однажды темным осенним вечером, когда дождь и ветер стучали в окно, в квартире Привалова раздался тревожный телефонный звонок. Это был редактор (Копытман), и он заговорил с Приваловым недобрый голосом. Есть новости, сказал он, и по всему было видеть, что эти новости не лучшего свойства. На вопрос Привалова, что за новости такие, Копытман очень интеллектуальным голосом намекнул, что эти новости не для телефонного разговора. Привалов нехотя согласился зайти в редакцию.

Привалов был раздосадован, что редактор Копытман вновь возник на горизонте. Мало того, что он за прошедшие два—три—четыре года не помер, хотя по сценарию должен был помереть, так как был на три года старше Ненаглядова и сидел больше. Он даже не ушел на пенсию, хотя Привалову были точно известны по крайней мере два очень сильных молодца, старавшихся его оттеснить к

бортнику. Не досада Привалова была чисто эмоционального свойства. Ему просто не хотелось иметь какие-то дела со старым "комсомольцем", как за глаза называли Копытмана его свободомыслящие юные сослуживцы, начитавшиеся втихаря Солженицына. Привалов органически не переваривал комсомольцев за все их свойства, и за те, и за другие. В самом деле, сочетание довольно-таки так себе.

Так что нельзя сказать, что Привалов шел на свидание с Копытманом в приятном расположении чувств, но тем не менее он пытался чувствовать себя легко и даже насвистывал "Сильва ты меня не любишь".

В кабинет к Копытману он вошел развязной походочкой, все еще насвистывая, сел к столу, не снимая плаща, вынул сигареты и, не спрашивая разрешения, закурил. Реакция Копытмана была неожиданной. Он резко вскочил из-за стола, побежал в другой угол комнаты и приволок оттуда с журнального столика в вытянутой руке пепельницу, которую плавным движением, как человек из ресторана, без стука поставил на стол перед самым носом Привалова. Привалов насторожился. Он не любил иронии. В чем дело, спросил он первым, хотя по дороге строго приказал себе первым ни в коем случае не заговаривать. Копытман должен был понимать, насколько Привалов презирает его вообще, не за какие-то специальные свойства, а именно вообще, как человека, то есть просто за его социальное положение. Но, черт возьми, сорвалось. Это не было тактической деловой ошибкой, но как представитель соответствующего общественного сословия Привалов ударил в грязь лицом. И от этого ему стало не по себе.

Настроение его резко и глубоко упало и уже долго не восстанавливалось, потому что, пока он себя брал в руки, последовал такой страшный удар, что голова у Привалова треснула сразу в нескольких местах и мозги полетели в разные стороны.

Дело в том, сказал Копытман, что всеми нами уважаемый товарищ Свистунов родился не в 1894 году и не в семье железнодорожного служащего.

Привалов не понял. То есть как, спросил он, когда к нему вернулся дар речи. Что за идиотские шутки.

А так, сказал Копытман. У вас есть справка, что Свистунов родился в 1894 году? Какая справка, возмутился Привалов, Свистунов напечатал около десятка автобиографий. Везде он говорит, что в 1894 г.

Непростительная для опытного литературоведа доверчивость, парировал Копытман, такие вещи проверять надо. Возможны всякие недоразумения в таком деликатном деле, как запись гражданского состояния. Вы проверяли?

Привалов не проверял. А какого черта проверять, спросил он агрессивно. Что, Свистунов, сам не знал, что ли, когда он родился?

Он не знал не только, когда он родился, зловеще и нахально произнес почти по слогам Копытман, но он также не знал, кто был его папа. Ваш Свистунов был на самом деле вовсе не Свистунов.

Спокойно, сказал себе Привалов, спокойно. Ничего страшного не происходит. Во-первых, это все может быть вранье. А потом, подумаешь — два биографических уточнения. На этом деле тоже можно еще кое-что подзаработать. Привалов был прав, если бы все дело ограничивалось некоторыми таинственными неясностями в истории рождения Свистунова. Но из того, что ему выложил Копытман, нарисовалась совсем не стандартная и довольно-таки опасная картина.

Вкратце, выяснилось следующее. Матушка поэта Свистунова много пережила, прежде чем родила на свет поэта. Сама она родилась не слишком рано и не слишком поздно, чтобы как раз вляпаться в террористическую компанию. Что такое ее потянуло к террористам? Да разные разности, но можно думать, прежде всего, то, что ее девичья фамилия была Ойзерман. Это потом она пустила слух, что ее фамилия Озерова. Фамилия покрасивше, но, увы, не так в точности отражает действительность.

Чего же вы хотите, развязно рассуждал Копытман, девушка столкнулась со многими неудобствами, на которые были обречены в то время люди этой национальности. Россия, как вы знаете не хуже меня, была в то время тюрьмой народов и, естественно, национальные меньшинства были особенно активны в диссидентстве и в борьбе за права человека.

Но дальше, продолжал редактор, судьба этой девушки разворачивалась не так, скажем, как в романах Чернышевского, а скорее на манер писателя Шиллера или писателя Дюма-пер, или даже фис.

От своей группы она получила деликатное задание. Группа в тот момент планировала убийство одного важного петербургского чиновника. Дело было поставлено на хорошую ногу и тщательно планировалось. Девушку Ойзерман послали на роль горничной к генералу. Для этого сначала один из членов группы два месяца совращал горничную, работавшую уже в доме, и сманивал ее в пуб-

личный дом. Одновременно другой опытный заговорщик, прошедший до того несколько лет в Париже, обхаживал на парижский манер старшую горничную. Нужно было сделать так, чтобы при объявлении конкурса на вакантное место непременно взяли бы девушку Ойзерман, а не кого-нибудь другого, с кем все пришлось бы начинать сначала. Обе акции удались на славу. Девушка Ойзерман удачно скрыла свое бердичевское происхождение и с документами на имя Озеровой — красивая фамилия, жаль, чужая — водворилась в особняке на Таврической улице.

Но дальше план нарушился. В новую горничную по уши влюбился хозяйский сын. Любовь, как это нередко бывает, вмешалась в политику и, как водится, спутала все карты. Когда руководителю группы, жгучему брюнету с орлиным носом, заливался Копытман, стало ясно, что любовь сильнее смерти и его карта бита, он в сердцах плюнул на все планы и проекты и, забравшись под видом садовника на одно подходящее дерево в Таврическом саду, кинул оттуда бомбу в проезжавшую генеральскую карету, а пока остервеневшая охрана трясла дерево в надежде, что он упадет к ним в руки как зрелый плод, он эффектно застрелился и упал им на голову. Это не был случайный и второстепенный эпизод в русской освободительной истории, строго сказал Копытман, вы можете прочитать о нем во всех хрестоматиях.

Не морочьте мне голову своими хрестоматиями, досадливо отмахнулся Привалов, пытаюсь всем своим видом дать понять, что все эти полицейские истории его ни в малейшей степени не волнуют.

Это были только цветочки, невозмутимо реагировал Копытман, а теперь будут ягодки. Ибо настало время обнародовать тот факт, что девушка Ойзерман в аккурат через месяц после этого почувствовала себя беременной, то есть в ожидании плода. К этому времени товарищи с негодованием отвернулись от своей бывшей соучастницы, потому что считали ее виновницей происшедшей трагедии, которая для них была трагична вдвойне, поскольку генерал вышел из всей этой переделки живехонек и даже впоследствии нанес ощутимый удар самолюбию группы, так как лично просил суд о помиловании другого террориста, задержанного неподалеку от дерева и заподозренного в том, что подавал знаки сидевшему на дереве бомбисту.

Но черт с ними с заговорщиками, они в этом месте окончательно сходят со сцены. Вернемся к девице Ойзерман. Надо сказать, что

она повела себя несколько неожиданно. Генеральский сын был тоже на свой манер карбонарий, и вместо того, чтобы перестать с ней здороваться в собственном доме и тайком хлопотать об ее увольнении, объявил, что готов сейчас же на ней жениться, даже если это приведет к разрыву с семьей и крушению карьеры. Он предлагал уехать в Париж и там обвенчаться.

Но девица Ойзерман, хотя и обрадовалась такому благородству и силе любви, сама по доброй воле отказалась от почетного брака с любимым человеком, потому что, во-первых, чувствовала себя виноватой перед его семьей, которую она намеревалась в сговоре с другими преступниками обезглавить, а во-вторых, я так думаю, отказ жениха от карьеры и разрыв с семьей ей не улыбался и какие-нибудь скромные, но достаточные отступные показались ей предпочтительнее.

Бросившись своему любовнику в объятия, она поведала ему о заговоре, в котором по собственной наивности приняла необдуманное участие, молила его о прощении и, как бы между прочим, дала ему понять, что вовсе не сгорает от тайного желания выйти за него замуж. Жертв ей не надо. Во всяком случае, если уж жертвовать, то наличными.

Генеральский сын, услышав такое, встал с колен и сказал, что раз уж она сама так хочет, то, конечное дело, так будет лучше, о чем говорить. Хорошо, добавил он, в Париж я поеду один, все равно, дескать, я так и так в Париж собирался, а ты тогда оставайся здесь, я тебе обеспечу дом в культурной провинции, дам на ребенка приличных денег и вообще, если чего вдруг понадобится, то только черкни.

Так все и было сделано. В три дня генеральский сын навел справки, через одного знакомого поверенного подыскал отличное место недалеко от Ленинграда, пардон, Петербурга, и, не откладывая дела в долгий ящик, сам повез свою подругу туда на поезде. И здесь на протяжении каких-то жалких ста верст судьба Ойзерман неожиданно и круто повернулась. Дело в том, что в нее бесповоротно влюбился кондуктор.

В те времена кондукторы бывали вовсе не те, что теперь. Это теперь — кондуктор, почему сдачи не дал, где чай, где сахар? А в старину было иначе. Кондуктор был не просто кондуктор, а дорожный чиновник, что называется путеец, совершенно особый род российской интеллигенции. Он носил красивую форму, у него были совсем не мужицкие замашки, и, главное, мотаясь по стране из

конца в конец, он был вырван из идиотизма деревенской жизни. Сверх всего этого он, заведя спальным вагоном, водил компанию с людьми не совсем простыми.

Уже одного этого было бы достаточно, чтобы считать его внимание лестным и перспективный брак с ним — выгодным. Но когда ситуация выяснилась и девица Ойзерман решила выйти за этого кондуктора, она как раз вспомнила о той помощи, которую ей предложил генеральский сын. Он, если помните, просил ее написать, если что. Она это и сделала. Вообще, весь этот цикл провернулся очень быстро, и через две недели кондуктор впридачу к хорошенькой невесте получил должность начальника станции. Станция была, конечно, не бог весть какая узловая, но все же это была станция, а не деревня. Станций в ту пору на Руси было не так уж много. На станциях кипела жизнь. Все самое значительное в русской жизни происходило, точно, на станциях. За примерами далеко ходить не надо — сама Революция на станциях совершилась, не говоря уже о том, что была привезена в железнодорожном вагоне.

Одним словом, все получилось как нельзя лучше. И главное, очень быстро. Вот, говорят, в России был застой и страшная волокита. А если взяться за дело умеючи и подключить в нужный момент кого следует, то и тогда все можно было в момент обделать.

Хуже было, однако, с беременностью. Перед девицей Ойзерман открывались две возможности. Первая — сделать подпольный аборт. Тут Копытман грязно захихикал. Но не потому, что слово "аборт" приводило его в игривое возбуждение, а потому, как он тут же объяснил, что судьба будущего поэта Свистунова повисла на волоске и хотел бы я знать, что бы вы теперь делали, если бы мама Свистунова приняла тогда роковое решение.

Но она, продолжил Копытман, снимая напряжение, она решила аборт не делать. Она была девушка решительная и умная. Краткое общение с будущим начальником станции показало ей, что он человек начитанный и склонный к благородству. С ним можно было рискнуть. Риск, по правде говоря, был не так уж и велик, так как она знала, что ее бывший любовник надежно ее подстраховывает: он уже это доказал, и не было сомнений, что докажет опять, если понадобится. Приняв это во внимание, девица Ойзерман улучила подходящий момент и повинилась своему будущему мужу. Она довольно толково изобразила молодого барина коварным соблазнителем, сыграла на классовых чувствах честного труженика, и он ей все простил, особенно, когда она невзначай добавила, что несет

с собой неплохое приданое. Так что расчет на благородство влюбленного кондуктора полностью оправдался. Кондуктор оказался тем, за кого она его принимала. Вообще, с мужчинами ей везло. Проблемы самой Ойзерман были решены.

Но зато теперь голова должна была болеть у кондуктора. Он не мог допустить, чтобы его жена на глазах у всей станционной общестственности родила ребенка через шесть или, тем более, пять месяцев после свадьбы. И тогда он отправил ее к своей старой тетушке в неимоверную глухомань где-то возле Белого озера. Вернулась она к мужу через год с небольшим, неся на руках небольшого ребеночка в возрасте не то четыре, не то восемь месяцев — кто ж в таком тонком деле разберется.

Чтобы уж совсем спрятать концы в воду, записали, что Свистунов родился в 1894-м, тогда как на самом деле он родился, не доходя до 1894 г., то есть в 93-м. И фамилия его хотя формально и Свистунов, но должна была быть совершенно другая, а именно Гвоздецкий, что, согласитесь, звучит намного благозвучнее, чем Свистунов, поистине какая-то уж больно паровозная фамилия. А Гвоздецкие были графы, так что извините, товарищ Привалов, но оказывается, что ваш предочек был наполовину еврей, а наполовину граф, что патриарху нашего пролетарского искусства как-то не очень идет.

Подумаешь, сказал Привалов. Это все чепуха. Вы, Копытман, отстали от жизни, вы осколок разбитого вдребезги, вы все еще думаете как комсомольчик эпохи НЭПа и как незаслуженный зэк. Год рождения — это абсолютная ерунда. Мы уточним год, чего там, рождения — будет сенсационное открытие. Конечно, мне жаль, что не я буду тот, кто установил новую дату рождения Свистунова, по совести, это моя законная добыча, но черт с вами, берите себе.

На самом деле Привалов, говоря так, уже имел в голове кое-какой план отобрать эту добычу у Копытмана, он знал, как это можно сделать. Но вообще проблема даты рождения его и в самом деле интересовала лишь постольку поскольку.

Что касается графского происхождения, то тут вы пальцем в небо попали, Копытман, Копытман. Вы проспали целую эпоху. Отношение к графам теперь очень и очень изменилось. Это вчера, даже, пожалуй, позавчера за графство можно было на Соловки загнать. А теперь это капитал.

Привалов не стал вдаваться в тонкости этого вопроса. Копытман со своим розовым кругозором все равно тут ничего бы не понял.

А все ведь было так просто. Совершенно ясно было, что официального признания за псевдо-Свистуновым графских корней следовало избежать. Официально все и останется, как было. Но зато уж в светских оппозиционных диссидентских мыслящих инакомыслящих кругах можно себе представить, какой будет шум и как все вокруг Привалова забегают. Он и так был человеком популярным, а тут уж он оставит далеко позади всю компанию. Шутка сказать — граф. Привалов уже и сам чувствовал себя до некоторой степени графом.

Что касается свистуновской прожиди, то на первый взгляд это выглядело несколько хуже, но на самом деле и это было Привалову на руку. Столичный свет прожилел основательно. Всем было лестно думать, что их не повышают по службе, потому что они либо похожи на евреев, в особенности, разумеется, в смысле уровня интеллекта, либо водятся с евреями. Евреи писали в анкетах, что они русские. А русские в своей компании били себя в грудь и божились, что они евреи. Копытман света не знал, Копытман был канцелярский комсомолец, дурак Копытман.

Привалов, правду сказать, девушкам не плел, что он еврей, тем более что в семье ходили лишь смутные слухи насчет Ойзерман-Озеровой, да и то не каждый год. Он больше упирал, что его корни там же, что и поэта Клюева, и помаленьку за рюмкой славянофильствовал. Но после пятой рюмки был не прочь, обнявшись с татарскими и осетинскими поэтессами, носившими итальянские имена, повить под гитару с арбатским надрывом “Все поэт-ты-ж-жидыыы” на слова знаменитой эмигрантки, которая была к тому времени уже в большом обороте не только у гуманитарной интеллигенции, но и у технарей, включая самих гаишников. Песня границ не знает, песня как птица. Это — читают каких-нибудь пятьдесят процентов, а поют — все сто.

Таким образом, испуг, поначалу охвативший Привалова, немногу прошел, а к концу сообщения Копытмана Привалов и вовсе успокоился. Копытман еще чего-то такое плел, а Привалов уже смотрел на него с усмешечкой и даже смотрел в сторону, постукивая нетерпеливо пальцами по столу. Когда Копытман кончил, он только пожал плечами и спросил: “Ну и что?”.

Копытман молча улыбался. Ну и что же из всего этого следует, повторил Привалов. И поскольку Копытман опять молчал, Привалов сам же и ответил: ничего. Потом подождал еще немного и, почувствовав, что пауза затягивается-затягивается, добавил: абсолют-

но ничего. Не видя никакой реакции Копытмана, он было собрался встать и уйти, но что-то его остановило.

В самом деле, чего он молчит? — мелькнула мысль. Надо что-то мне сказать, глупо так уходить. Надо все же объяснить маленько старому дураку, что он отстрелялся вхолостую. Видите ли, сказал Привалов, ваша информация, как бы это сформулировать, хорошая информация, что ли. Все это отлично, просто отлично. Грех жаловаться, Свистунов и так в центре внимания, а теперь мы, пожалуй, еще масла в огонь подольем. Граф — отлично. Еврей — еще лучше. Хотя нет, граф — это лучше. Но и еврей неплохо. И то, и другое неплохо. Прекрасное сочетание, прекрасное. Не у каждого бывает. Мандельштам — и тот просто еврей. К. Р. — и то только граф, или там великий князь. А тут — полный набор. Да еще народовольцы в придачу.

Стоп, стоп, перебил сам себя Привалов, что же это я такое несу. И главное, зачем. А он все молчит и молчит. Что же он, прохиндей, молчит. И тут в голове Привалова как бы взорвалась маленькая бомба, туман рассеялся и в образовавшейся пустоте сложился крупными ясными буквами вопрос, который следовало задать и которого подлец Копытман, разумеется, ждет. Злобно затаившись, ждет. Потому и молчит.

А собственно, откуда вы все это знаете, спросил Привалов быстро-быстро, пытаясь за безразличным тоном спрятать охватившее его беспокойство.

Копытман повертел в руке карандашиком. Вот то-то и оно, сказал он. Откуда я это знаю. Да уж не от верблюда. Так что, товарищ Привалов, настоящие потомки объявились. Прямехонькие потомки, не то что вы будете. Кто была ваша бабушка? Сводная сестра Свистунова?

Родная она была, хотел воскликнуть Привалов, но возглас застрял у него в горле.

Копытман между тем продолжал. Итак, девица Ойзерман, как неопровержимо установлено, хотя и была в браке Свистунова, но родила она от молодого графа Гвоздецкого. Оставим теперь свистуновское семейство в покое и обратимся к самому Гвоздецкому. Что он? Куда он девался и какую оставил по себе память? В 93-м году молодой граф, как вы помните, собирался в Париж, куда и съездил ненадолго. Он там прожил что-то около двух лет и вернулся обратно уже не один, а с молодой женой. Вкус у этого молодчика, надо сказать, не изменился. Граф продолжал тяготеть к гор-

ничным. В Петербурге дело с горничной по политическим мотивам у него не сладилось, но в Париже все вышло как нельзя лучше. Граф поухаживал некоторое время за одной коллегой, я имею в виду за одной графиней, но в последний момент обнаружил, что ее горничная ему подходит больше и, недолго думая, женился на ней.

Горничная, как видно, была чудо как хороша собой. Ничего удивительного — мулатки парижского разлива пользуются заслуженной славой.

Привалов вытаращил глаза. Только еще негров тут не хватало, процедил он сквозь зубы. Мало евреев, так еще и негры. Что же в этом Свистунове было намешано?

Господь с вами, милейший, засмеялся Копытман. Не нервничайте, легче, легче. К Свистунову наша мулаточка никакого отношения не имеет. Свистунова-то не она родила. Вы уж забыли, кто была ваша родная бабушка. А то ведь и вы негром бы вышли.

Так что тут все окейшен, продолжал он успокаивать почти что дрожащего Привалова. На этот раз русская литература обошлась без черных кровяных телят, Бог миловал.

Итак, граф с женой-мулаткой приехали на родину, и там у них в 1896 году родился сын, тоже граф и тоже Гвоздецкий, но, так сказать, с ганнибальщиной. Революционная жилка оказалась и у него. В 1917 году старший Гвоздецкий, бывший в девяностые годы молодым карбонарием, во всяком случае, что касается эротических наклонностей, стал старым шуаном и, конечно, скрылся за границу, тем более что жена у него была иностранка, денег было хоть отбавляй и вообще в Петербурге ему уже давно делать было нечего. Сыночек же ехать не пожелал.

Он был не только потомком модерниста-графа, но и еще тропической горничной, так что пролетарские гены смешались в нем с просвещенностью представителя имущего класса. И благодаря этому гремучему сочетанию юный квартеронец таки далеко пошел. В ноябре он уже крутился вокруг Смольного, а в 21-м его видели на подступах к Кремлю. До революции он учился на юриста, так что можете себе легко представить, куда его потом нелегкая занесла. Все правильно, угадали, конечно, на почву защиты социалистической законности.

Я вижу, Привалов, что вы ждете самого худшего. Ничем утешить не могу. Причастность Гвоздцкого к большим чисткам, увы, несомненна. Еще и сейчас, я думаю, в Москве найдутся люди, которые своими руками вынули бы из него душу. Но им до него уже не

добраться. Душу из него вынули уже давно и сделал это кто-то другой. В 37-м он подвергся.

Я вижу, Привалов, что вы облегченно вздыхаете. Рано. Думаете, что гвоздецкая линия на этом обрывается. Нет, не обрывается. Сам Гвоздецкий, конечно, уже не участник, но не всего себя он отдавал Революции, не всего. Была у него и личная жизнь. В 23-м году Гвоздецкий женился. Как вы думаете, на ком?

На ком, на ком, буркнул Привалов, на еврейке, конечно. На ком же еще. Привалов даже махнул рукой, говоря это.

Абсолютно правильно, хладнокровно подтвердил Копытман, по правде говоря, иначе и быть не могло. Время такое было. Надо сказать, что судьба сыграла тут с ним маленькую невинную шутку. Фамилия его невесты была Герцог. Не правда ли, пикантно? Граф с африканской кровью женится на еврейской девице Герцог.

В 25-м году у графа и Герцог родился сын, новый Гвоздецкий. Ему повезло больше, чем папаше. Вообще тут произошла редкостная и, отдадим должное участникам, очень красивая история, просто поэма. Гвоздецкого в 37-м арестовали, и он сгинул. Но его жена, хотя и была еврейкой, осталась цела. В момент ареста мужа она находилась в Тюмени, в гостях у друзей, мужа и жены Кувалдин. Кувалдин был старым боевым товарищем Гвоздецкого, немало каши вместе съели эти два вегетарианца. Кувалдину, однако, при этом повезло меньше, и в центр он не попал, хотя, быть может, это было как раз везение. Поэтому его, возможно, и не тронули ни в 37-м, ни в другой раз. Отсиделся в провинции. А был он крупным тюменским гаишником, хотя к лагерям непосредственного отношения не имел, а работал исключительно со свободными.

Гвоздецкие и Кувалдины дружили семьями, и дружба эта дала неожиданные результаты. Когда Кувалдин узнал, что Гвоздецкого взяли, он не стал отправлять его жену обратно в Москву, а имевшейся у него властью спрятал ее в небольшом поселке в своей же области, даже отпечатав для нее новые документы. Н-да, на что только не способна настоящая-то боевая дружба. Что ни говори, а сильные люди в те времена функционировали, не то что нынешние функционеры. Эх, тоскливо завел глаза к потолку Копытман, хорошие, красивые были времена, шекспировские времена, смерть, конечно, бушевала на сцене, этого отнять нельзя, но и страсти кипели. Великая была эпоха.

Ну вы бы насчет этого полегче, счел нужным встрять Привалов, как-никак двадцать миллионов, того-этого, в расход пустили.

Копытман на это только рукой махнул. И продолжал. Стало быть, Кувалдин Гвоздецкую-Герцог не продал, а, наоборот, спас. А дальше случилось вот что. Его собственную жену, о которой ничего неизвестно, кроме того, что в тот момент она тоже носила фамилию Кувалдина, сбил проезжавший мимо грузовик. Можете себе представить такое совпадение? Копытман замолчал и, похоже, задумался на минуту.

Хм, криво усмехнулся Привалов, а не было ли за всем этим какой-нибудь подоплеки?

Я об этом думал, деловито согласился Копытман. И не я один. Есть и такая версия, что Кувалдин-то как раз Гвоздецкого и закатал в татарары и, конечно же, не по политическим причинам, а исключительно для того, чтобы завладеть его интеллигентной женой, потому что собственная жена, уроженка Орехово-Зуева ему поднадоела, а может, он и никогда ее особенно не любил, кто же теперь узнает.

Но есть и еще одна версия, а именно, что Кувалдин с женой Гвоздецкого с самого начала в сговор вступили, так что тут на шекспировщину и некоторая мопассановщина наложилась.

Но я вам говорю, это все домыслы. Народ просто уже ни во что не верит. Цинизм, все цинизм. Я говорил, не надо Достоевского, не надо Агату Кристи издавать. Неправильно прочтут. Так нет, куда там. Вот теперь пускай и расхлебывают.

Да, так на чем я остановился, вернулся в себя Копытман. Ну да, значит, мадам Гвоздецкая вместе с сыном после ряда неожиданных промежуточных приключений водворилась в Тюмени и стали из Гвоздецких Кувалдины. В этой новой роли они благополучно пережили войну и последующие неприятности мирного времени, пережили Сталина, Берию, Хрущева и, наконец, самого Кувалдина. Благородный Кувалдин умер в 1965 году.

Графу Герцог-Гвоздецкий-Кувалдин было тогда 40 лет. И жил он, разумеется, уже не в Тюмени, а в Москве. Будучи потомственным большевиком, он пошел по линии партийной науки. Старый Кувалдин, правда, подталкивал его стать гаишником, пытаясь всучить ему книжечки про железного Феликса и разведчика Кузнецова, но из этого ничего не вышло. Второе поколение никогда не идет тем же путем, что первое. Тут есть суровая диалектика, поднял Копытман указательный палец в воздух, жизнь в этих делах берет свое; мои дети, например, в Израиль лыжи наострили, так что, милейший, все то, что я вам сейчас рассказываю, уже не

может послужить причиной распри между нами, я просто хочу вам помочь, потому что мне капут, меня не сегодня-завтра выгонят отсюда на заслуженный отдых, как бы самому в Израиль лететь не пришлось.

Да, это я отвлекся, почесал подбородок Копытман. Молодой граф, стало быть, революционной практикой заниматься не захотел. Но в то же время спускаться вниз с позиций, завоеванных предыдущим поколением, он тоже резона не видел. Поэтому он пошел по теории, занявшись исторической наукой. Как сыну комиссара, усыновленному другим комиссаром, дорога ему была открыта в лучшие аспирантуры нашего академического мира, и он с толком эту возможность использовал. Он занялся арабскими делами. Вы чувствуете, Привалов, в какую сторону мечет жизнь потомственную революционную интеллигенцию? Сейчас Кувалдин довольно-таки большая шишка в науках, близких к иностранным делам. Поговаривают, что метит на хороший пост, будет скоро директором одного очень академического, но также и очень государственного института. Да вы, Привалов, в этих кругах вертитесь, наверное, знаете его не хуже меня, может, за одним столом с ним иной раз сидели.

За одним столом я с ним не сидел, это не моя компания. Но знать его знаю. Его вся Москва знает. Это тот самый Кувалдин, который, как говорят злые языки, сын Бэллы Моисеевны.

Это точно он, подтвердил Копытман, точно он. Вот он-то и есть прямой потомок поэта Свистунова, поскольку, как вы сами понимаете, Свистунов-то по правде говоря Гвоздецкий, а Кувалдин тоже Гвоздецкий.

Но мы Гвоздецким не родственники, задумчиво сказал Привалов. Да, отвечал Копытман, ваша мать и этот Кувалдин уже не родственники. Тем более вы и кувалдинская дочка. Потому что они как-никак Гвоздецкие, а вы как-никак свистуновской породы, ваша-то бабушка была уже точно дочкой начальника станции; никакого обмана. Но тем не менее оба вы потомки поэта Свистунова, коль скоро ваш род восходит к роду его матери, а ее род восходит к роду Гвоздецкого.

Привалов задумался. В продолжении последних пяти минут его отношение к Копытману резко изменилось. Известие о том, что копытмановы дети соскакивают в Израиль, означало, что Копытман из игры вышел. Привалов даже не пытался себе представить, какую игру Копытман мог повести, если бы оставался в силе.

Какое это теперь имело значение, в самом деле.

Да и сам материал, предложенный теперь Копытманом, увлек Привалова как человека и как профессионала. Действительно, подумал он, чудовищно прекрасные были времена. Людей швыряло с борта на борт, как только их ни крутило, как ни мешало в одну кучу. Графы, негры, евреи, комиссары, гаишники — какая каша. Ничего удивительного, что половина оттуда живьем не вышла.

Так или иначе семейная история Свистунова расцвечивалась теперь яркими и неожиданными красками. Новый материал тянул на серию статей, а то и на целую книгу. Такой кусок и самому Зильберштейну показался бы лакомым. А уж лет через пятьдесят кто-то на этом деле себе целое состояние составит. Привалов невольно позавидовал неизвестному потомку, который в отдаленном будущем наложит руку на это месторождение и превратит его в капитал. Он даже вздохнул. Эх, детей бы, мелькнуло у него в голове.

Ну ладно, сказал он, допустим, все это правда, похоже на правду, вероятно, правда. У Свистунова есть потомки кроме меня. Это, конечно, не лишено интереса. И я с удовольствием этим делом займусь. Но, Соломон Израилевич, давайте начистоту. Поначалу мне показалось, что вы мне все это преподносите как бомбу. Кажется, вы думаете, что во всем этом для меня имеется какая-то опасность. Я, признаться, особой опасности не вижу. Или у вас есть еще что-то сказать?

Копытман встал и прошелся по комнате. Есть, сказал он, к сожалению, есть. Я даже думаю, что это будет самое главное в моем сегодняшнем докладе. Вся штука в том, что у Кувалдиных тоже есть свистуновский архив и, судя по всему, похлеще вашего. Во-первых, он, кажется, гораздо больше объемом, а во-вторых, гораздо более двусмысленный.

Привалов замер. Архив? Какой же к чертовой матери архив, если ни Свистунов, ни Гвоздецкий даже не знали, что они родственники. Вы же сами сказали, что Свистунов не знал, кто был его папа.

Копытман сел и помолчал минуту. Да, я так сказал. Но, простите старика, соврал. Не хотел вас раньше времени беспокоить. Если хотите, дурачком прикидывался. Не могу без этого. Я же все-таки старый еврей, не обессудьте. Но теперь пришло время раскрыть карты. К сожалению, эти карты не мои. А то я бы и сам еще по-

играл. Но, увы, в этой игре я не участник. Я из игры теперь вышел и навсегда. И кто бы мог подумать, что собственные дети, мой старший сын, моя надежда и опора, неплохой, я таки вам скажу математик, а вот на тебе. Вырастил на собственную голову, можно сказать, через огонь и воду протащил, нет, вы только себе представьте, в какое время выжить удалось, ведь пятьдесят лет по проволоке ходил, на волоске висел, с огнем играл. Лев Давыдыч не удержался, Миша Кольцов сгорел, Абрам Моисеевич Прицкер, мой старший товарищ, великий рабби Прицкер, я уверен, что он стоял за спиной и Льва Давыдовича, и Миши, уникальнейший был человек, и тот сгинул в 49-м, четыре года не дотянул, а я жив и здоров, ну не чудо ли? Нет, не чудо, а моя личная заслуга. Через все прошел, всех победил, а зачем? Собственные дети, дети меня и моей Ривы, что они, шакалы, делают. Они пустили под откос поезд моей жизни, когда я уже мог, что называется, ехать с погашенной топкой.

Привалов прикрыл глаза и опустил голову, давая понять, что пришел сюда слушать не лирические отступления новоявленного Иова, а существенную деловую информацию.

Копытман понял эти прозрачные намеки и перестал ныть. Ну да, сказал он, я говорю, раскрыть карты. Хорошо. Дело обстоит следующим образом. Свистунов действительно до поры до времени не знал, кто он на самом деле такой. Но Гвоздецкий знал. На кой черт ему папаша обо всем этом поведал перед своим отлетом в Париж, я не представляю. Очень возможно, что он свою прекрасную жидовку продолжал любить и просто интересовался, как ее судьба в дальнейшем сложилась. Я видел один документ, из которого такую версию можно извлечь. Так или иначе он, расставаясь со своим сыном, поведал ему в последнюю минуту об Ойзерман и Свистунове и просил при случае проследить. И Гвоздецкий-таки следил. Но мало того, он посылал своему папаше в Париж письменные отчеты о Свистунове. Так что еще и в Париже архивчик намечается. Между прочим, по моим сведениям... ну ладно, к этому мы еще вернемся.

Итак, Гвоздецкий нашел Свистунова в 1930 году. Вы талантливо восстановили биографию Свистунова и лучше, чем кто-либо, знаете, что этот год был в свистуновской биографии не из лучших. В этом году его основательно долбанули, и, по некоторым признакам, он уже подумывал, не отправиться ли вслед за беднягой Маяковским, но тут как раз на сцену вышел Гвоздецкий. Однажды темным осенним вечером он захватил с собой бутылку водки, пришел на

квартиру к опальному поэту, показал для хохмы удостоверение, не ожидая, когда его пригласят, последовал прямо к столу, распечатал бутылку, раскинул руки и сказал: здравствуй, братишка.

Вот, теперь говорят, что в те жестокие времена брат на брата доносы писал. Неправда это, точнее, не вся правда. Бывало и наоборот. Как раз в данном случае все было наоборот. Зная, что Свистунову копец на литературном фронте, Гвоздецкому следовало бы тихо сидеть и даже по возможности убрать поэта окончательно, так как для гаишника это было тогда очень сомнительное родство. Может, какой жлоб из тверской губернии так бы и поступил. Но Гвоздецкий был все ж таки граф, хотя и гаишник, а также потомок каких-то черных воинов, возможно, тоже не простых, хотя и черных кровей, и он рассудил иначе. Впрочем, кой черт, рассудил. Просто, я думаю, порода свое взяла.

Короче говоря, братья за бутылкой водки обсудили кое-какие текущие политические проблемы и, обнаружив друг в друге много общего, решили держаться вместе, будь что будет, двум смертям не бывать, а одной не миновать. Кто знает, может, еще не они нас, а мы их, хотя кто тут мы и кто они, я думаю, братья плохо тогда соображали и, говоря "мы", имели в виду исключительно себя лично и никого другого.

Как они собирались строить оборону, нам теперь не известно. Но факт, что им это не удалось. Потому что в 37-м сгорели оба. Можно думать, что Гвоздецкий помог Свистунову восстановить утраченные им, было, позиции в литературе. Можно также думать, что именно это и погубило в конце концов Гвоздецкого.

А может, и нет. Как вы понимаете, Гвоздецкий вообще занимался рискованными играми, будучи в роли гаишника, его собственная контора рано или поздно должна была откусить ему голову. Можно думать, что, наоборот, Свистунову близость с Гвоздецким вышла в конце концов боком. В те времена причины и следствия часто менялись местами, а иногда и вообще перепутывались. У меня, например, были такие знакомые Абрамзон и Веденева. Некоторое время они были мужем и женой, а потом разошлись в разные стороны, а именно в Киев и Одессу. Так вот, с ними вышло уже совсем комично. Сперва одесские гаишники упекли ее в качестве бывшей жены исключенного из партии Абрамзона. А потом киевские гаишники добились Абрамзона за то, что он был мужем своей бывшей репрессированной жены. Сын за отца, конечно, не отвечал, но оба они, так сказать, отвечали за всех и за все.

Ну ладно, это все лирика, досадливо перебил себя Копытман, вернемся к делу. Гвоздецкий и Свистунов трогательно дружили друг с другом все последние семь лет их жизни. Ездили друг к другу в гости, давали друг другу деньги в долг, один раз Гвоздецкий подарил Свистунову пальто, а Свистунов в другой раз подарил ему часы. Это все очень любопытно, но самое любопытное, что они переписывались и довольно-таки откровенно. Вот эта переписка сейчас и лежит перед нами в необработанном виде и манит исследователя. Переписка огромная, около 200 писем, это за семь-то лет. А сверх того еще и рукописи, рукописи, рукописи. Причем, создается впечатление, что некоторые из них принадлежат Гвоздецкому. Я же вам говорил, между братьями было немало общего. Во всяком случае, по одной линии сходство намечается немалое. Гвоздецкий-таки баловался литературой. Там есть некоторые фрагменты, которые бесспорно принадлежат ему, и это дает основания полагать, что и некоторые другие черновички написаны его рукой, то есть напечатаны на его машинке. Будущее покажет, так это или не так. Во всяком случае, на одно только разбирательство этих неясных фактов понадобится много труда, тут светит парой диссертаций, а может быть, даже пожизненной ставкой в каком-нибудь полужакрытом секторе — голубая мечта любого аспиранта.

Я вижу, я вижу, задумчиво сказал Привалов, я вижу. Вы правы, Копытман, черт вас возьми, в нашем деле намечается буря. И, как я понимаю, мне придется иметь дело с Кувалдиным. Он — владелец?

Хм, сказал Копытман. Это отчасти так. Капитал контролирует Кувалдин. Но он в этой фирме не один. Во-первых, кроме него имеется еще старуха Гвоздецкая-Герцог, которая до сих пор жива и в здравом уме. Затем имеется мадам Кувалдина, урожденная Кочергина, дочь прославленного дальневосточного командарма, ныне крупный деятель в одном музыкальном издательстве. И наконец возникает на горизонте совсем еще юная, но вполне деловая Юлия, кувалдинская дочь. Она пошла по вашим стопам и собирается делать карьеру на архиве. На чем же еще? Все остальные при деле, а подрастающей наследнице нужна собственная экономическая база, не в инженеры же ей идти. Зачем, в самом деле, когда имеется такая первоклассная семейная собственность.

Это она к вам обратилась, спросил Привалов. Чего ради ее понесло к вам? Почему она не пошла к кому-нибудь другому?

Сейчас объясню, отвечал Копытман. Собственно, ничего хитрого

тут нет. Она попала ко мне точно так же, как и вы. Вы попали на меня через покойного Ненаглядова. И она тоже. Ей, конечно, известно, что Ненаглядов занимался Свистуновым, знает она и то, что мы были друзьями, а также и то, что ваша книга в издательстве проходила через меня.

Но Ненаглядова больше нет, перебил Привалов, главный авторитет по Свистунову теперь я, это моя тема, мой объект, мой участок. Ей надо было пойти ко мне.

Э, молодой человек, вытянул губы Копытман, может быть, вы неплохо разбираетесь в архивах, но людей, я вижу, вы еще не знаете как следует. Вы слишком погружены в ту славную эпоху, которую изволите изучать. Это тогда все было ясно: плохие гаишники и хорошие зэки. На мой темный взгляд, и тогда все было не так просто, но пусть будет как вы сказали. Но уж теперь-то точно все не так. Народилась новая порода: полугаишники, полузэки, а в сущности уже ни то и ни другое. Политикой теперь никто не занимается. Теперь люди дело делают, а не классовую борьбу разыгрывают на публике. Это тогда надо было классовую борьбу разыгрывать, потому что классов не было. Теперь классы есть, и каждый класс должен заниматься своим делом. Никто уже больше не играет в казаки-разбойники. Теперь все иначе. Или ты оформишь свою собственность, или иди на других работать.

Н-да, Копытман-то оказался не прост. Вы хотите сказать, спросил Привалов, что Юлия Кувалдина не хочет работать на меня, а хочет вести собственное дело?

Думаю, что так. Ее ресурсы не хуже ваших, и она это ой как понимает. Ей даже больше вдолбили. Содержание ее архива позволяет ей не только получить пребенду здесь, но и рассчитывать на успех на Западе. Чуете?

Привалов чуюл. Опасность подступала с двух сторон. Судя по всему, Кувалдины сидели на хорошем антисоветском материале. В принципе, пустив его в ход, они могли повредить приваловскому делу. Конечно, совсем изъять Свистунова из оборота было уже невозможно. Он слишком прочно вписался в систему и легенду. Но объем работ по свистуновской тематике можно было бы таким образом резко сократить, академический авторитет владельца свистуновской тематики сильно понизить. И вообще превратить крупное процветающее дело в скромную доцентскую вотчину.

Правда, если бы вокруг Свистунова разгорелся бы настоящий антисоветский ореол, Привалов мог бы рассчитывать на увеличение

интереса к себе со стороны публики. Но были две причины, по которым он этого вовсе не жаждал. Во-первых, антисоветский ореол у Свистунова уже был, хотя и небольшой и почти что символический, но был. И этого Привалову было вполне достаточно, больше ему было не нужно. При этих масштабах удавалось сохранять необходимый баланс государственной полезности и популярности, который позволял одной рукой брать ренту с государства, а другой рукой собирать дань уважения в миру. Привалов понимал, что этот баланс устраивает всех.

Во-вторых, уважение публики без государственной зарплаты не представлялось ему ценным. Он не принадлежал к тем сверхтемпераментным экстремистам, которые жертвовали служебной карьерой ради положения в свете. Он считал даже, что настоящее положение в свете без хорошего служебного положения попросту невозможно.

То есть долго на одном экстремизме и в свете не протянешь. Поэтому экстремизация Свистунова была ему ни к чему. Если бы новые владельцы Свистунова (Привалов думал про них "конкуренты", за владельцев он их держать пока не торопился), так, значит, если бы конкуренты почему-либо решили перефутболить Свистунова из официальной легенды в легенду неофициальную, Привалов бы много на этом потерял.

Но и в противном случае ему грозили серьезные затруднения. Допустим, Кувалдины не захотят связываться с подпольным светом, а предпочтут развивать государственную версию Свистунова. Материалов у них, по-видимому, и на этот вариант хватит. Тогда — конец монополии.

Самый худший вариант виделся Привалову, однако, следующим образом. Сперва Кувалдины вынимают на свет божий все то, что отвечает официальной версии, размахивая подлинными документами, захватывают позиции в академическом мире, а затем начинают помаленьку выпускать на черный рынок всю антисоветчину и, таким образом, торжествуют в свете. Иначе говоря, отберут Свистунова у его прежнего хозяина и на том, и на другом рынке.

Ладно, сказал Привалов, картина ясна. Что делать будем? Он у уже решил, что заключит с Копытманом союз, хотя пока не понимал, зачем все это нужно Копытману, учитывая новый поворот в его биографии.

От Копытмана не ускользнула новая интонация в приваловском отношении к нему. Он сидел, сложив руки на столе, и улыбался,

сладко и противно, как японец. Что делать будем, переспросил он. А что тут сделаешь? Честно говоря, я просто хотел вас по старой дружбе предупредить. Больше ничего. Я же говорю, со мной все кончено. Да и стар я. Надоело мне все это. И вообще, я разочарован. В этой жизни, как еврей ни крутись, все равно рано или поздно, а пуля тебя найдет. Не в живот, так в затылок пристрелят. Не чужие, так свои.

Ну да, подумал Привалов, так я тебе, старой жабе, и поверил. Хотел бы я знать, что ты на уме держишь и чего хочешь тут получить. Вслух Привалов сказал однако, что ну уж нет, Соломон Израилевич, рано вам, старому борцу, списывать себя в расход. Раз уж вы морально на моей стороне, то давайте попробуем вместе. Может, хотя бы советом поможете.

Что ж мне вам посоветовать, вздохнул Копытман. Лет тридцать назад можно было бы доносик черкануть. Ну-ну, не хмурьтесь, я понимаю, что вы уже, так сказать, цивилильный гражданин, некоторым родом младоросс, и безусловно осуждаете подобные методы. Но это, знаете, не существенно. Теперь все цивилильные стали, потому что жизнь другая. А вы перенесите этих цивилильных диалектическим переносом в 49-й год хотя бы. Произойдут странные на первый взгляд метаморфозы. Однако я не хотел вас особенно обидеть. Да, так я говорю, раньше можно было бы доносик сделать, но теперь этот номер не пройдет. Много есть на это причин, и в частности есть одна, которую пришло время упомянуть. Честно говоря, я удивляюсь, что вы не задали мне одного интересного вопроса, который, как деловой человек, должны были бы задать.

Стойте, стойте, вскинулся Привалов, я знаю, что вы имеете в виду. Ведь у Кувалдиных, то есть Гвоздецких, должны же быть родственники за границей, а?

Так, так. Должны, а раз должны, то значит и есть. Я ведь уже говорил, что в Париже тоже собрался маленький архивчик по сви-стуновским делам. Так вот, и у этого архивчика есть хозяин. Был бы архив, а хозяин найдется. У гаишника Гвоздецкого в Париже есть сестра. Дело в том, что старик Гвоздецкий, родивший в 1893 или там 94 году Свиштунова, а в 1896 году будущего гаишника Гвоздецкого, и в старости не успокоился. Его мулатка в 1920 году приказала долго жить. Рак, непобедимая болезнь. И тогда Гвоздецкий, которому в тот момент было всего только 50 лет, женился еще раз. Как вы думаете, на ком?

Опять на еврейке, беспокойно спросил Привалов, в тайне наде-

жалуй. Она имеет на это право не хуже других. Ее материальное положение в высшей степени надежно. У семьи есть деньги, и отец сидит прочно. Ей гарантировано выгодное замужество. Я думаю, что на карьеру ей наплевать. То есть не совсем так. Я хотел сказать, у нее есть свои представления о том, что такое карьера, и где ее надлежит делать. Потянет ли к диссидентам старуху, я сказать не могу. Вот уж чего совершенно не знаю. Последнее время были интересные прецеденты среди старых кадров, но это дело очень индивидуальное и во многом зависит от личного окружения. Я даже толком не знаю, с кем водится старуха Герцог. С молодежью? С такими же, как она, старухами? С соседями? С гаишниками? С академиком Алихановым? С артистом Никулиным? С кем? Кто ей на мозги капает? Буддисты? Парапсихологи? Ничего не знаю, ничегошеньки не знаю. Копытман даже на себя рассердился. Побагровел даже. Вскочил из-за стола и пару раз пробежался по комнате, как Наполеон, шевеля пальцами за спиной.

Потом вдруг пришел в себя, сел и сказал. Вам надо как-то к ней подкатиться. Он нарисовал рукой в воздухе сложный зигзаг.

Пожалуй, согласился Привалов. Вы можете мне помочь? У вас есть общие знакомые?

Юлия. Она сама ко мне пришла. Сидела вот тут, на этом самом стуле. Строила глазки. Копытман задумчиво покачал головой. Может, хотите, чтобы я сам к старухе подкатился?

Хм, сказал Привалов. А вам хочется? В другой раз Привалов ни за что не пустил бы Копытмана вперед себя, но сейчас ему казалось, что такой вариант будет лучше. Похоже на то, думал он, что Копытман не будет пытаться меня обманывать. Он в самом деле теперь держит мою руку. Хотя не совсем пока ясно, почему. Впрочем, думал Привалов, это сейчас неважно. Потом разберемся.

Я подумаю, сказал Копытман. В конце концов, Юлия сама пришла ко мне. Я могу попробовать. Но я думаю, это будет бесполезно. Меня старуха вышвырнет в момент. Я ведь прислуга. Все равно придется вам идти. Но на авось и я могу сходить. Во всяком случае, я пойду и поговорю с ней за старые добрые времена и порекомендую ей встретиться с вами.

Давайте так и сделаем. Я со своей стороны тоже поищу какие-нибудь ходы к старухе. Привалов решил, что мудрить пока нечего.

Ищите, кивнул головой Копытман. Но ищите упорно. И если что-то найдете, то не успокаивайтесь и продолжайте искать еще. Найдите несколько ходов. Отнюдь не все равно, с какой стороны к этой

совершенно неясно, что делать, то ли в партию вступать, то ли в Израиль подавать. Некоторым, конечно, везет, и они устраиваются на двух стульях. А некоторые не могут и они никак не могут решить, какой стул надежнее и красивше. На некоторых посмотреть — на них лица нет. Так и надо, я скажу. Хотели свободы выбора — получайте свободу выбора. За что боролись, на то и напоролись.

Стоп, стоп, стоп, перебил Привалов, видя, что Копытмана опять понесло. Не отвлекайтесь. Значит, вы думаете, что Юлия может выбрать черный рынок? Вы ее хорошо знаете?

Я видел ее три раза, отвечал Копытман, мне достаточно. Юлия может податься на черный рынок со своим товаром. У нее родственники в Париже, это ее совсем с ума сводит. Вся надежда тут на бабу.

Это бывшую Герцог-Гвоздецкую, что ли, оживился Привалов. Ага, надо думать, она — женщина старинных взглядов.

Отчасти так, согласился Копытман. Все же примите во внимание, что она старая большевичка, к тому же всю зрелую жизнь прожила в надежном укрытии на хорошем пайке. Но главное даже не это. У нее сын — ответственный ученый. Она ему зла не хочет. А кроме того, она старуха. Это очень важно, по себе знаю. Старики вообще инертны. Но и это не главное. Они опытные и в людей не верят. Они, может, и знают, что советская власть дерьмо, но справедливо сомневаются, что какая-то другая власть может быть намного лучше.

Может быть, она вообще не захочет пускать в ход архив, выразил надежду Привалов.

Это вряд ли. Думаю, что скорее наоборот. Семейное честолюбие у нее есть. Я почти уверен, что ей надоело существовать в виде вдовы Кувалдина. Вряд ли она вспоминает, что она бывшая Герцог. Но вот, что она бывшая Гвоздецкая — это она очень даже вспоминает. Мне один мой человек докладывал, что она теперь всюду представляется как Гвоздецкая, оставаясь формально Кувалдиной. И охотно вспоминает, что Гвоздецкий был граф. Вы понимаете, насколько выигрышно сейчас ее положение? Как вдова двух гаишников, она может чувствовать себя в полной безопасности. А как человек, находящийся в полной безопасности, она всем может хвастаться, что бывшая графиня. Она же и еврейка. Так что весь букет налицо. О! Заметим еще, что подобное сочетание придает ей особенный шик само по себе. В этом есть что-то авантюрно-ироническое, как теперь говорят, абсурдное, а это в большой моде.

Я говорил, зря Беккета, соколики, переводится, потом хлопот не оберется. Конечно, я был прав.

Да. Так старуха совсем с ума сошла. Села, говорят, писать мемуары. Про арест мужа. Она, теперь оказывается, была знакома с Андреем Белым и с Федором Панферовым. Ну и, разумеется, со Свистуновым. А тут даже не знакомство, а бери выше, родство. Как вам это нравится?

Мне это очень нравится, отвечал Привалов, в том смысле, что мне это совсем не нравится. Мемуары-то уж во всяком случае будут для черного рынка, и один черт знает, что она там напишет.

Не скажите, не скажите, заметил Копытман, нельзя наверняка угадать. Может быть, она рассчитывает на "Новый мир". Так что не исключено, что выйдет одновременно журнальный и самиздатовский варианты. Это для вас самое плохое.

Привалов не стал ни соглашаться, ни опровергать, хотя Копытман был, конечно, прав. Он смотрел в корень. Подумав немного, Привалов сказал, что не может допустить, чтобы важные мемуары о Свистунове вышли бы в свет, а тем более в печать и в свет одновременно без его ведома и не под его контролем. Нужно что-то предпринимать.

Копытман вздохнул. У вас есть план, спросил он. Вообще, добавил Копытман, откровенно ухмыляясь, я в известном смысле рад, что так получилось. Еще совсем недавно мы с Ненаглядовым находились в вашей позиции и пытались примазаться к вашему именинцу, будем называть вещи своими именами. Вы еще помните, как вы нас тогда отшили? Вот то-то и оно. В некотором смысле поколение старых комсомольцев теперь отыграется. Причем заметьте, молодой человек, вы в клещах. Знаете ли, я о вас очень высокого мнения, я даже думаю, что старуху-графиню вы сумели бы обобрать. Я даже несколько позже скажу вам, как именно. Но против старухи и Юлии вам не потянуть. Вдвоем они вас объедят.

Привалов молча прикрыл глаза, давая таким достойным образом понять, что согласен и вполне понимает, что противник у него очень серьезный. Вы думаете, что старуха и Юлия заодно, спросил он осторожно.

Батенька, вскричал Копытман, мы с вами уже десять минут как раз об этом толкуем. Если бы я знал. Пока мне кажется, что Юлия очень жадно поглядывает на черный рынок. Ей хочется популярности и положения в свете. Простой диссиденткой она стать побаивается. А получить мертвого диссидента в собственность — это по-

ясь, что это будет не так. Что-то уж слишком много было тут евреев.

Нет, сказал Копытман. Хватит евреев. Под старость граф перестал оригинальничать. Но нельзя сказать, что он сделался и вовсе благоразумным. На этот раз его избранницей оказалась некая пани Спыхальска.

Только поляков нам не хватало, поморщился Привалов.

Это судьба, строго сказал Копытман. Русских проблем без поляков не бывает. Я, по правде говоря, никогда толком не знал, где кончается русский вопрос и начинается польский и наоборот. Но я продолжаю. Полячка родила Гвоздецкому дочь мгновенно. Это произошло в 21-м году. Обе панны живы и сейчас, дочь не так уж и старая. При этом дочь замужем за американским миллионером. И живут они на острове Майорка. Вот куда нити идут.

Уф, сказал Привалов. Ну и ну. Вот тебе и семья железнодорожного служащего. Кто бы мог подумать? Ну ладно, однако. Значит, польская панна и американский миллионер. Что это может для нас означать?

Прежде всего, сказал Копытман, что Кувалдины могут установить с ними контакт. И тогда, если их здесь как-то тронут, или оскорбят, или попытаются отобрать у них архив, они с помощью своих родственников подымут весь свободный мир на ноги и создадут вокруг Свистунова такую атмосферу, в которой нам с вами дышать будет трудно.

Кувалдин партийный человек, возразил Привалов. Вряд ли он захочет так себя скомпрометировать. Чего ему искать на Западе? Он и так при деле.

Он, конечно, не станет связываться. Но вот молодая Юлия может захотеть. За нее никак поручиться невозможно. Чего вы хотите от молодежи. Вот даже мой сын — а ведь ему под пятьдесят и он получил воспитание в совсем другое время. Впрочем, я уже это вам рассказывал. Короче говоря; молодежь явно смотрит на Запад.

Я тоже молодежь, возразил Привалов, и я на Запад не смотрю. Молодежь всякая бывает.

Вы — совсем другое дело. У вас своя и пока что вполне доброкачественная собственность. У вас тут функция. А у Юлии еще все впереди. Ей еще бороться надо. И бороться она может по-разному. Еще пять лет назад, когда вы начинали, существовал только один рынок. Теперь рынков два. При этом престиж черного рынка растет на глазах. Вы видите, как интеллигенция забеспокоилась? Уже

старой кобыле подходить. Еще неизвестно, чья рекомендация окажется более эффективной, когда вы начнете на старуху давить. Кроме того, надо продумать, как давить. Способ давления, знаете ли, будет сильно зависеть от того, чьей рекомендацией вы воспользуетесь. И учтите: старуха, видать, крепкий орешек, голыми руками ее не возьмешь. Подготовьтесь как следует. Но с другой стороны, не слишком планируйте, вам нужен будет не только четкий план, но и свобода. Мало ли как разговор повернется. Ну ладно, теперь скажите, как у вас дела со следующей книгой? Готова? Вы читали статью Воскресенского? Называет Свистунова своим учителем. Вот шакал, а?

Разговор мельчал. Привалов решил, что затевать светскую болтовню с Копытманом насчет Воскресенского и кого там еще не следует. Мы оба устали, Соломон Израилевич, давайте разойдемся на сегодня, сказал он. Есть о чем подумать. Спасибо за информацию. Признаюсь, вы правильно оценили надвигающуюся опасность. Черт возьми, я был убежден, что мне ни с кем Свистунова делить не придется. Кто бы мог подумать.

Дело не только в этом, отвечал Копытман. Честно говоря, я не видел бы особой опасности, если бы не было черного рынка культовых товаров. Это значительно усложняет игру. Но в то же время сулит дополнительные возможности для вас. Не будем пока гадать. Начнем обрабатывать старуху. Сперва нужно ясно осознать, чего мы от нее хотим.

(окончание следует)

О. Кустарев (псевдоним) — социолог и публицист; живет и работает в Лондоне; его статьи публиковались в "22", "Синтаксисе" и других русскоязычных изданиях.

СТИХИ

Знающий да промолчит,
ибо нет слов, выражающих понимание...
Лишь застывшесть деревьев
в озерном покое —
взгляд, брошенный из-за плеча —
и летучая легкость ног
в касании земли.
И этот миг —
— в отражении луча
в твоём глазу.

* * *

Дрожь в руках,
я волнуюсь, слыша твой голос.
Сердце затаилось, не гадая о будущем.
Я забываюсь, вспоминая о тебе.

* * *

Мы не тяжело с тобой расставались.
Я в комок собралась на мгновенье
и единым порывом сбросила
все, что было твоим.
Ты не был жизнью. Ты был зигзагом,
ты стал правилом, подтвердившим правила,
ты был исключением,
даровавшим мне надежду.
Я вознесла тебя над другими,
я дала тебе силу,
и это была моя благодарность тебе.

* * *

Мой дом, моя обитель, мой приют,
Все тайное, что составляет я,

Все то, о чем ни с кем не говорят,
И объяснить, и разложить нельзя.
И если скажешь слово, то предал,
а поделившись правдою — солгал.
Я в глубине храню тебя,
Моя обитель, мой приют, моя душа.

* * *

И вот покой спустился тихо
из чашки розового чая,
и сыра дырчатая мягкость
вонзилась в зубы золотая.
Вот он придвинулся постелью,
теплом согретых простыней
и чем-то грустных сновидений
на фоне голубых теней.
Прилипчивость желаний спешных
рассеялась в тумане снов,
и невесомое забвенье,
как благодать, явилось вновь.

* * *

Только не пытайся проткнуть пальцем вечер за окном. Тебе будет трудно привыкнуть к дырке. Но даже если это случилось, ни в коем случае не ешь горячий сыр. Сама по себе небольшая дырка не опасна для жизни, особенно если от нее отвернуться, но дырка с горячим сыром — это то, что может вынести не каждый. Поэтому, если ты уж по какой-то причине проткнул дырку в вечере, то не ешь горячего сыра и не броди по вечернему городу. Срочно иди домой и выпей горячего и некрепкого, но обязательно сладкого чая.

Тогда ты окажешься в непроткнутом вечере с тикающими часами на стене и желтым буфетом с разными вареньями. И пока ты будешь спать на диване головой к тикающим часам, худой старик с лохматой бородой и палкой на перроне вокзала закроет ее от тебя.

Тогда ты уже можешь вернуться к себе в город, не боясь сумерек, и начать снова мыть в кухне посуду.

О. Филлер — активистка еврейского движения в СССР.

СТИХИ

Из замерзшего некогда, позабытого всеми, угла
Сколько дней ты молчала? — лишь тихонько
просила на участь,
Лишь тихонько просила, и извечных мгновений
текученье
Паутинку плела, словно горлица гнезда вила.

И гадальные карты дрожали, из рук выпадая,
И в покорном твоём ученичестве бедер и плеч
Можно было прочесть: я твоя, мой учитель,
лампада и речь
И стяжанье твоё...

15.07.1977 г.

Марк-Антуан де Сент-Аман. XVI–XVII в.в.

Трубка

Как жарко в комнате! — в печи огонь пылает,
Душистым табаком чубук в руке набит,
Но душу мрачную уныние щемит:
Бесчеловечная судьба пощады не знает.

Лишь легкокрылая надежда вдохновляет,
Когда, возникнув вдруг, печаль мою теснит,
И, прилетев на миг, иной удел сулит,
Возносит ввысь меня и с цезарем равняет.

Но только лишь золой становится трава,
Как оживет тоска, забытая едва,
И мысли грустные приходят рой за роем;

Что пользы размышлять? — нет разницы большой:
Курить табак или жить с надеждою пустой,
Ведь первое лишь дым и ветер лишь — второе.

Октябрь, 1978 г.

* * *

Черпать любовь из бытия ночного,
Как черпает прилежный антиквар
Прощальный отблеск и остывший жар
В немыслимых сокровищах былого;

И вымолчать пожизненное слово,
Как тайнопись непробужденных чар, —
Какой нужде сгодится этот дар,
Оставленный для мастерства иного?

Пошлет же Бог счастливейший удел —
Средь вечных дел быть вечно не у дел
И ко всему причастным быть отчасти,

Чтоб неизменный и веселый плен
В минуты упоительного счастья
Примешивал к нему свой горький тлен.

7.03.1979 г.

* * *

В одном порыве быстротечном
Нетрудно вымыслить сюжет:
Вот ты в наряде подвенечном,
Которого красивей — нет,
Чуть слышны призрачные звуки,
Твой кавалер, немой от муки,
К тебе из зеркала спешит...

— Но я увлекся, и старанье
Размыло мысли очертанье,

И вдаль видение бежит,
И только от всего осталась

В висках привычная усталость,
Легчайшая, как трепет крыл, —
А я влюблен в такую малость,
Что и признаться нету сил.

14.03.1979 г.

НАД КНИГОЙ

Густо-черная вязь — шум ушедшего века,
То несметное воинство пробует реку.

Даровитая книга домчала молву,
Что арабская конница топчет траву.

Этот дымный закат нагадала колдунья,
Закусил удила жеребец новолунья.

Ночь-сиротка, обряд поминальный храня,
Верховодит в обозе ушедшего дня;

А персидские стрелы беспомощно-зримы,
Хоть нацелены мелко, да пущены — мимо.

И во мраке встает покоренный Багдад,
Всех столиц богоданных оставленный брат.

28.04.1980 г.

М. Драчинский — инженер; активист еврейского движения в СССР; репатрировался в Израиль в 1986 году, живет в Иерусалиме.

СТИХИ

Любое вожделение тяготит,
Избави Бог от суеты и бега,
Верни меня опять в то царство снега,
Где снег еще летит, еще летит.

Где мир заморозило белизной,
Где тишина и медленность, и снежность,
И где жива еще простая нежность,
Не оттого ль, что все грозит бедой.

* * *

Все кончилось.

Теперь издалека
Вдыхать я буду этот запах росный,
Качнулось солнце, закружились сосны,
И облака. Какие облака!

Пейзажи детства — зелень, теплый дым,
За лесом сразу — быстрая река,
Колодец старый, марево над ним,
И облака, какие облака...

Тогда

Там ласточка плыла
В безумии зимы,
И я с тобой была,
И вместе были мы.

И плыл туман земной,
И к облаку взмывал,

Каким ты был со мной,
Ты больше не бывал.

Ночной фонарик плыл
И таял в белизне,
Такой, каким ты был,
Ты снишься мне во сне.

И таяла звезда,
И в мир другой плыла,
Такой, как я тогда,
Я больше не была.

* * *

Три шага в сторону, а там —
Зеленым озером просвечен,
Струится воздух по плечам,
И свежесть обтекает плечи.

Мое русалочье житье
Могло бы быть теплей и слаще,
Но счастье не приходит чаще,
Но солнца блик в соседней чаще —
Чего мне спрашивать еще?

* * *

Простимся до невестри
У берегов других,
Закоченеют плечи
Мои без рук твоих.

Без твоего дыханья
Остынет губ тепло.
Душа осиротеет
Без сердца твоего.

Я видела, как рассветало,
Как, медля, уходила прочь,
Не горестная, как сначала,
И не таинственная ночь.
Как непонятно голубело,
И таяло, и в глубине
Просвечивало, и несмело
Тянулось утро вновь ко мне.

Песенка о сверчке

Ах, было — не было.
Гостил
Сверчок за старенькой оградой,
Звучал смычок, несло прохладой,
Но кончилось.
И след простыл.

И музыки секретный пыл,
И темный свет, и мы в обнимку.
Я скрипку слышала, волынку.
Но кончилось.
И след простыл.

И жалобно скрипел настил,
Под сиротливыми шагами.
Как пело — двигалось кругами,
Но кончилось.
И след простыл.

*Р. Левинзон — поэтесса, автор нескольких стихотворных сборников,
живет в Иерусалиме.*

Было много света, и он пульсировал. Люди топтались и делали то, что нужно было делать, но извне это выглядело нелепо. Лежать было холодно, и ждать было тоже холодно. Правая икра затекла, а ощущение было довольно сомнительное, как в детстве, когда она делала что-нибудь нехорошее. Полминуты молчания, когда один ходил около ее ног, а другой развалился в кресле так, что она его не видела, тянулись долго, гораздо дольше, чем ей хотелось. Но дело было не в терпении и не в нетерпении, а в том, что телега медленно скрипела и почти не двигалась, и запах сена пронизывал ее и весь воздух и почти не чувствовался, и соломинки кололи ей ягодицы и спину. Она слышала, лежа с полузакрытыми глазами, что они возятся со своими железками и лампами и еще ощупывают ей грудь, ноги и живот снизу доверху. И она с нетерпением ожидала возгласа "хватит", и тогда бы они кончили с этим оцепенением, а его все не было и надо было лежать. Конечно, за это ей платили деньгами, и не их вина, что это ей неприятно, да, впрочем, тогда она об этом и не думала. А кроме того, если бы на это все были согласны, то и деньги было бы платить не за что, потому что у нас деньги платят только

Давид Юст

КРАСОТА

тогда, когда хотят, чтобы что-нибудь было сделано, а само по себе оно сделаться не может, вот и надо заставить кого-то, а так как иначе заставить нельзя, то приходится платить. Она лежала и ждала, зная, сколько ей за это причитается, и знала еще, что деньги получит очень скоро, как раз тогда, когда она уже сделает свое дело и им уже не нужно будет заставлять ее, а значит, и вознаграждать. Ее всегда удивляло, почему после окончания работы ее не выгоняют, пусть даже совершенно беззлобно, просто как чужеродное тело, ничего не понимающее в том, что они делали и чему, наверное, придавали очень большое значение, а платят деньги, как они договорились. И еще ей было очень жаль себя и очень хотелось взять деньги и убежать, не отработав, и больше не появляться, но только она понимала, что тогда ей денег больше не дадут. И поэтому она все-таки ложилась, и все, что хотелось, они могли с ней делать. А потом, обычно через два месяца, когда фильм выходил на экраны, она, не удержавшись, все ж таки шла и смотрела на себя, голую, или даже избитую, и ей казалось, что все это действительно происходило, что в то время, когда она лежала, широко раздвинув ноги или наоборот, свернувшись в клубок, она спала, а во время сна с ней проделывали разные вещи. И хотя она знала, что актриса — это общественная плевательница, ей все-таки было приятно, что в титрах тысячи людей читают ее имя, и это было бы еще приятней, если бы они не отождествляли ее с голой женщиной на экране, с которой десятки рук проделывали все, что хотели, начисто отшибая всякое удовольствие от секса, наималейший интерес к мужским рукам. После этого ей все начали завидовать и временами она сама себе завидовала, так как никак не могла понять, с ней ли это происходило на самом деле.

А руки, которые она не видела, так как ей велели лежать с полужакрытыми глазами, довольно грубо раздвинули ей бедра, и по надвинувшейся громаде желтого света она поняла, что ее снимают и зажмурилась слегка, чтобы не ослепнуть и для того, чтобы не видеть своих глаз в кино, потому что это было единственное, что она могла спрятать. "Сесиль", пробормотал кто-то, а она услышала свое имя и поняла, что уже все и можно одеваться, но самое мучительное было еще впереди, так как одеваться надо было тут же, при них, хотя это и не входило в программу, просто потому, что никто не собирался оставлять ее, голую, в одиночестве, а пробегать голой между ними через

длинный коридор в туалет она не могла, так как знала, что это еще хуже.

Толстый Дикки, помощник режиссера по всяким гнусностям, хлопнул ее по задку, но она не обратила на это внимания и только всплакнула в душе. "Ладно", — думала она с отчаянием, но почти вслух, шевеля совершенно сухими губами и надевая чулки, потому что стеснялась больше всего одевать при мужчинах трусики и оттягивала эту процедуру, сколько могла. — "Как глупо и гнусно, но сейчас это кончится, и я получу деньги и уйду, и даже если вечером разыграется астма, самое худшее уже", — тут она одела их, — "позади".

На самом деле на нее уже никто не обращал внимания. Режиссер, которому на нее вообще было наплевать, уехал минут пятнадцать назад, когда вбил в голову Толстому Дикки, как нужно организовать освещение и как использовать ужасно хитрый эффект, когда камеру поворачивают направо, надвигая, и выходит, что женщина уже голая, а ты ее по-прежнему раздеваешь. Толстый Дикки, который никогда раньше не пропускал момент, когда она заканчивала одеваться, и интерес которого, наверное, ей льстил, вышел вместе с оператором в курительную, а всякая мелочь, разбиравшая декорации, во-первых, ко всему привыкла, а кроме того, вовсе не интересовала ее. Она пошла за деньгами, медленно перебирая длинными ногами, с наслаждением натягивая в коленях узкую юбку. Она отлично знала, что Сесиль одетая это совсем не то, что Сесиль голая, но оттого-то ей и было горько, когда она чувствовала, что к ней одетой относятся так же, как к голой. Она думала, что, одевая юбку, перестает быть выставленной напоказ, хотя, впрочем... И застегнув верхнюю пуговицу на кофточке, как посылают патрон в ствол ружья, она ускорила шаг и впала в оцепенение, томительное, как тяжелый сон. К ней подошел Веселый Мартин, но она глянула на него тяжело и замученно, и он опустил в кресло и отгородился от нее газетой. Она попыталась забыть, что видела его, но это у нее не получилось, и она начала размышлять, то есть рассуждать, потому что думать очень трудно, легче говорить, а когда не с кем говорить, или не умеешь ни говорить, ни думать, она принимается рассуждать.

Правда же, между людьми не может быть ничего общего и они не любят друг друга, а когда любят друг друга, то все равно нет. Все это лишнее-прелишнее, да, и она отлично понимала,

что все это бессмыслица, но бессмыслица бывает разная, и если преступно иногда выйти за пределы своего неумения делать что-либо, то и способность, даже способность совершить чудо тоже может быть нелепой. Люди, они такие чужие, и злые, и всегда люди, которые ей хотя бы чуточку интересны, встречаются ей, когда она раздета. Какая жалость!

Ее слегка качнуло, как неожиданный порыв ветра качает океанские лайнеры, и за чашкой кофе ей захотелось есть. Булка, лимонная долька да еще мраморный столик — уныло, наверное, это и есть кино. Когда снимаешься в фильме, понимаешь, почему это такая унылая штука. И она не обедала по-человечески много дней, с самого начала работы, а у этих болванов из "Лайонз", чертей, кроме кофе ничего, а до города — мили три, а у нее нет машины. Она взяла грейпфрут и стала его чистить. Если бы люди хоть чуточку меня любили, или хоть кого-нибудь любили, или верили во что-нибудь, или у нее был бы миллион и она бросила работать. Или если бы у нее был муж, хотя нет, он наверняка был бы мужчиной и у него были бы точно такие же руки. Вот если бы выйти замуж за женщину, которая была бы совсем не женщина, но чтобы знать, что у нее нет того, что заставляло ее раздеваться. Однако, на самом деле лучше всего никогда не быть женщиной, и как следует пообедать, а потом курить трубку и играть в бильярд. Ее движения, на редкость точные и спокойные, когда она работала, были резки и бестолковы, но грейпфрут она съела не без удовольствия. После него осталась зеленоватая корка, и на нее она долго глядела, пока глаза не стали слезиться и руки дрожать, и тогда она взяла коктейль покрепче пожалуйста и продолжала ненавидеть весь род людской, все время намекая невидимому собеседнику на нечто неведомое ему, скорее всего, на силу, которая ее, наконец, оторвет.

Так как намеки присущи всякой органической жизни, даже богам и инфузориям, ее никто не слушал. Долговязый официант открыл глаза и посмотрел ей неожиданно прямо в лицо, но тут блеснула оправа ее очков и туловище его заколебалось, и она увидела, что он протирает два столика сразу.

А люди действительно очень злые, а когда хочется есть — не до положительных эмоций. Самое удивительное, это когда что-нибудь происходит неожиданно, когда мгновенно ты понимаешь, что это то, а это не то.

Ворочая дурацкие, но никому до нее неведомые глыбы, Сесиль,

относившаяся к ним, как к маленьким камешкам, и совсем не падкая на деньги, и зная только мучительный страх перед будущим, в котором собиралась их тратить, сидела и грустно смотрела на свое отражение в блестящей мраморной поверхности стола, не понимая даже, что это отражение смахивает на чудесное произведение искусства, пожалуй, лучшее, чем фильмы, в которых она снималась, и стертостью, смазанностью некоторых деталей напоминает какие-то нидерландские полотна, в которых волшебное разнообразие бликов, а воздух написан как спокойная вода, плещущая чуть-чуть лишь у твердых предметов.

Из-под опущенных, черных, почти насурьменных бровей на нее глянул Веселый Мартин, и не совершив ни одного движения, коснулся ее и тут же, по-прежнему оставаясь совершенно неподвижным, осел назад.

Самым ненавистным был такой взгляд, и она похолодела внутри, но сдержалась и не ответила, хотя закипела вся и с бешеной злостью впилась в черную сумочку. Потому что там ей хотя бы платили, и была она уже готовая ко всему, а случайные взгляды раздевали ее прямо на улице, и как дикий зверь, который скорее сам бросится под пулю к старому, из сезона в сезон знакомому охотнику, чем позволит приблизиться к себе случайному городскому хлыщу, она ненавидела всех, кто появлялся на студии, но по служебному положению не должен был изо дня в день наблюдать и ощупывать ее и получать за это деньги. Официант, кажется, еще более тощий и долговязый, все же подошел к ней, и преодолевая бешеное, смертельное сопротивление, получил по счету, ухмыльнулся и, поправив фартук, исчез за дверью. Она со странным, сильным облегчением встала и быстро выскочила в другую дверь, рванулась через сад к скамейке под липой и скрылась на ней от обидных прикосновений и злых смешков, жалкая, но менее жалкая, чем минуту назад, когда огрызалась, обнажая белые зубы. Тронув рукой спинку, поняв, что недавно наложенная краска высохла, окинув мгновенным взглядом себя и опасливо уставившись в группу деревьев, она решила, что может преобразиться, села, поправила юбку и медленным, плавным, нервным жестом открыла сумочку. Если бы сидеть тут вечно, всегда с этим легким чувством голода, глотать теплый воздух, шевелить ногами, и тут ей пришла в голову мысль сбросить туфли, да, сбросить туфли, туфли лежали перед ней, повернувшись боком, и греться на солнышке, высовывая нос из кружевной

тени деревьев, принимая вместе с теплой массой солнечных лучей тяжесть чистоты на свои колени. Верещать, как воробей в иссушенно-пыльной земляной кучке, и Сесиль умиротворенно закрыла глаза, птичья беззаботность, кошачья нежность, детская безалаберность, как будто бессильное ликование слабой женщины способно остановить тление. Бледный мир забот и огорчений растворился в воздушной прозрачности, шевеля время от времени ее ресницами, и когда снова придется раздеваться, но это никогда не произойдет, или по крайней мере очень нескоро, и солнце так высоко в небе, что вряд ли опустится когда-нибудь. Власть оцепенения, как власть тьмы, власть тела, величайшая единственность замкнувшегося человека всесильна в такой час, как судебный исполнитель.

Ее кольнула дурацкая мысль, запертая до того наглухо в скучной тесноте, ослотившей, а потому цепкой в своей разъединенности с миром. Неоткуда было определить, сколько сейчас времени, если не повернуть голову, не поднять руку и не поднести ее, вместе со стальным, слегка цокающим циферблатом, к глазам. Было пять часов дня, и до вечера было еще долго и до ночи долго, а до утра, к сожалению, не так долго, и новая юбка, наверное, так и висит в шкафу у тети Клары, и надо ее одеть, но только не сюда, и странно, резинка в трусиках ни разу не лопалась, с тех пор, как новый режиссер появился, когда цветы распустились и их уже не нужно так часто поливать, листики стали такие зеленые, совершенно не согласуясь с английской грамматикой, и куда человечнее иероглифическое письмо, которое не унифицирует мысли и даже эмоции всякий раз рисуются по-другому, скажем, любовь, этакая завитушка — любовь, и этакая завитушка — любовь, и никто не прочтает, кроме другого китайца, что бы ты ни написала, но только у них глаза раскосые.

Зелено, горячо и хочется спать, нет, у нее на уме нет ничего неприличного, глаза слипаются, уже слиплись, нет, я уже сплю, нет, не сплю, медленно поворачивается захваченный порывом ветра ствол, и скамейка, нет это я скольжу, ах, хорошо, но спать она не будет, потому что не хочет, потому что нельзя спать на скамейке, где много мужчин будет глазеть на нее, на ее ноги... Спать или не спать, но она подлетела в воздух, подбросила сумочку и сама подброшенная сонным, но сильным порывом, и уже спящая, во сне, полураздетая, хлестала рубашкой по лицу Веселого Мартина и плыла потом на спине в теплом море, будоража

дыханием воду, и уже ничем не мучимая: Солнечный диск, совершавший свое движение независимо, медленно смещался к западу, погружая спящую Сесиль во все более глубокую тень. Она плыла все дальше и дальше, все медленнее и медленнее, и никому не позволяла трепать себя за плечо, а когда она открыла глаза и сбросила со своего плеча руку Толстого Дикки, впрочем, добродушно смеявшегося, он вытер ладонью губы и сказал, и она противно фыркнула и поднялась.

Толстый Дикки сказал, что режиссер приехал, и сцену придется переснять, и телега и солома теперь другие и надо торопиться, потому что она не поняла почему и пошла к студии, и Толстый Дикки, направившись за ней, проклинал режиссера и всех, вплоть до Президента страны, за то, что сегодня он попадет домой и не сможет смыться к Елене до утра, потому что жена позвонит наверняка на студию и застанет его там, и стерва Маргарет, наверняка, заявит, что он здесь и немного занят, но если она подождет, а она подождет, и тогда он возьмет трубку и фальшиво заверещит, и она скажет, что ждет его с утра, как будто он сам это не знает, и потом придется звонить Елене и на глазах у Маргарет переносить деловое свидание, и она тоже обзовет его идиотом. Если бы Сесиль могла читать его мысли, она бы бешено ему позавидовала, потому что дома ее никто не ждал, а любовники то появлялись, то исчезали и никогда не любили ее и не собирались на ней жениться.

Разговаривая, они добрались до павильона, и свет, куда более противный, чем солнечный, снова стал разъедать глаза, и привычное беспамятство, закруглившее привычное мучение, подступило близко, и она медленно — так французы, капитулировавшие под Мантуйей, выходили из ворот города — медленно, еле шевеля деревянными пальцами, с вновь вспыхнувшим чувством голода принялась расстегивать пуговицы. Одна, затем другая, ах, почему их не пятьдесят, солома гнусно пахнет при такой жаре, а Толстый Дикки врет, телега та же самая, просто им захотелось еще раз на нее посмотреть, или нет, цвет не вышел, болван оператор, ну конечно, режиссеру на нее начхать, хотя за эту досьемку ей заплатят, все-таки почему он уехал и позволил им запороть столько денег, дурак, ей-то наплевать — и — нет, она почти издала крик боли, ей не наплевать, она все врет, а так бесполезно мучиться, а зачем ей больше денег, чем нужно, ведь она опять голая, и ничего не изменилось, солома колючая, телега скрипит,

и ее все щупают и щупают, и такой же навал света, зачем же переснимать, если ничто не меняется, ах, она закрыла глаза и перетерпела, и как в кино, когда снимают медленно, а пускают быстро, замелькали мучения, и когда Толстый Дикки хлопнул ее по заду, она открыла глаза и оделась, ни на кого не смотря.

“Сегодня очень хорошо”, — сказал Толстый Дикки.

Она посмотрела на него устало. К ней подходил Веселый Мартин. Когда только Толстый Дикки стоял около нее, они друг на друга и не смотрели, каждый думал о своем, как два бревна, и качались в разных плоскостях, не перетягивая другого на свою сторону и начисто не подозревая, о чем он думает. А теперь подошел третий и нежеланный, и им пришлось в голову друг на друга взглянуть, и сразу став прозрачными, они с легкостью различили множество знакомых деталей. Сесиль ни капельки не была виновата в том, что Толстому Дикки надо будет ехать домой, а он только самую малость был виноват в сегодняшней пересъемке, и у каждого из них было свое — у него была жена, а у нее не было никого, каждому свой крест, и хотя ей многое в нем не нравилось, они понимающе посмотрели друг на друга, потому что ему нравились ее бедра. Потому что многое сближает богатого с бедным, а про женатого мужчину и незамужнюю актрису нечего и говорить. “Сесиль”, — сказал Веселый Мартин, — “я тебе хочу кое-что сказать”. Он невесело посмотрел на нее и мотнул головой, а она, привыкшая делать все, за что можно получить немного денег, одинокая женщина, буркнула: “Так говори же”, — достала сигарету, подождала немного, поняла, что никто не даст ей огонька, чиркнула спичкой, затянулась и нахально выпустила дым.

“Мы идем сегодня в ресторан. И в театр”, — сказал Веселый Мартин. — “Вот что я хочу тебе сказать”. Но Сесиль не удивилась, потому что давно уже привыкла к мысли, что от мужчины никогда не услышишь ничего нового. Она задумалась, но Веселому Мартину от нее ничего не должно бы перепасть, и вряд ли ему что-нибудь нужно. Толстый Дикки усмехнулся и медленно, раздосадованно отошел, оставив их наедине, хотя она разрешала препротивнейшую задачу, а ему, казалось, было ни жарко, ни холодно. “У меня машина”, — добавил он, как будто это решало все вопросы, — “так что поехали, кроме нас здесь никого нет”. И кивнув напоследок Толстому Дикки, он победоносно зашагал к выходу, а она шла за ним, опустив голову и неизвестно о чем

думая. На одной туфле у нее стерся лак, значит надо покупать новые, чтобы не быть оборванкой. А чтобы не быть дурой, следовало бы прогнать нахала и не ехать, но какой смысл? Нахалов много, и куда ни ткнись, всюду они есть, даже если принять во внимание, что театров тоже много. У изгороди к ним шагнула фигура, и она шарахнулась в сторону, но Веселый Мартин даже не повернул головы, а только пробурчал: "Это Джек", — и направился к машине. Сесиль села вперед, и он тоже, за руль, а Веселый Мартин сел сзади, и когда он дал сто миль в час, у нее глаза на лоб полезли. А впрочем, ехать было недалеко, и машина только-только успела разогнаться и затормозить, и они были уже в самом центре, и машина почти закружилась, но встала прямо против двери ресторана.

Они прошли мимо согнувшегося в отвратительном поклоне швейцара по очереди, сначала Веселый Мартин, потом она, потом он, щегольнув весьма неподходящими для такого места нарядами, но никто не сказал им ни слова, потому что ресторан был уж очень дорогой и в нем позволялось все, что угодно, только от внешности сильно зависели размеры чаевых. Когда она была здесь в прошлый раз, столики стояли по-другому, но это если она не ошибается, а впрочем, здесь очень недурно, но тогда она была с другим, и он напоил ее допьяна, но она помнит, что в решительный момент он напился и захрапел, а она подумала и примостилась рядом и только утром это произошло. А в последний раз ее водил сюда Чарли Чаплин, пожилой импотент с "XX век фокс" и она так и не поняла, чего он от нее хотел, и поэтому отказалась. Она тогда твердо решила, что больше никогда сюда не придет, но сейчас ей уже было приятно, что она нарушила это обещание.

По-видимому, они зачем-то сюда ее вели, но ей не хотелось сейчас об этом думать, и против воли наслаждаясь великолепием, заполнившим ресторан, она украдкой взглянула на своих спутников и на закованного в черное стройного официанта, комически не похожего на тощего верзилу в буфете, вздохнула, шагнула к свободному столику и села рядом с Веселым Мартином, который успел снять под столом ботинки и затянуться сигарой.

Когда начали приносить заказанное, она тихо мяукнула про себя, уставившись на густо подкрепленные спиртным блюда, в то время, как из-под соседнего столика вытаскивали молодого человека в смокинге, нализовавшегося до крайности и отбивавшегося коньячной бутылкой. По старой привычке она начала высчи-

тивать в уме, во сколько им это обойдется, дошла до сорока девяти и ошиблась, хотя ей было приятно, когда на нее много тратили, потому что она никак не могла отделаться от страха, что у них может не хватить денег и придется уговаривать. Но сегодня этот страх почти не посещал ее, даже когда она дошла до сорока девяти, вряд ли потому, что у них был очень солидный вид, скорее наоборот, потому что один из них часто встречался ей и наверняка никуда не делся бы и дальше, а значит ни за что не позволил бы себе так осрамиться.

Мужчины ели много и быстро, а она нет, еда была острая, и они совершенно не стеснялись, цепляли мясо вилкой, а то и рукой, но ничего не рассыпали, не разбивали и не проливали и ни в чем не вымазывались, и она поняла, что такое возможно только в очень дорогом ресторане и мысленно удвоила свои сорок девять, и они, пока ели, не обращали на нее никакого внимания, а она потому и могла смотреть на них, что почти ничего не ела, а только лихорадочно пила, как будто ее нарочно подпаивали, и смотрела, как они едят, и не замечала, что они тоже пили довольно основательно, пока не опорожнили последнюю бутылку. Тогда Джек щелкнул пальцами над головой и принесли еще, а потом еще, и они откинулись на спинки кресел и довольно переглянулись, и одновременно схватили салфетки и тщательно вытерли уголки ртов, а она тоже наполнила бокал и оперлась на подлокотник и уставилась на них. И нестерпимый бег минут притормозил. Она слушала, как они разговаривали между собой, как волки, и потом ответила, что бывала здесь, и они похвалили и сделали ей комплимент. "Увы", — сказал Веселый Мартин, — "прошли хорошие времена".

Она согласно кивнула, но на сердце уже скребли кошки, и она очень засомневалась, потому что трудно было поверить, что он склонен к мистицизму. Впрочем, когда она начинала работать манекенщицей, ей тоже казалось, что дальше будет лучше, и она пела песенку о хороших старых временах. Она смотрела на них, и ей было очень интересно, и выдавая жгучее любопытство, она безразлично, не опуская глаз, уставилась на них с бокалом шампанского в руке и положив правую руку на горлышко бутылки с виски. Джек под столом ногами приподнял ей юбку и положил ноги в носках ей на бедра, и она сдержалась, и не сбросила, хотя хотела, и он начал щекотать большими пальцами ее живот. Сопротивляться было бессмысленно, потому что он был совер-

шенно беззащитен и ни капельки не насильничал, только действовал без спросу, и одним движением она могла опрокинуть его вместе со стулом. И она попыталась прислушаться к истории, которую рассказывал, безбожно привирая, Веселый Мартин, и очень довольная собой, придвинулась ближе к столу, и пятки Джека уперлись ей в живот.

Она отказалась, когда ее пригласили танцевать, и только сейчас расслышала дикий виолончельный визг, которым оглашали зал необычайно, непропорционально создаваемому ими шуму унылые оркестранты. Вино ударило ей в голову и, поплыв перед глазами, бокал изменил свои очертания, и она замолчала.

Она спросила, сколько времени, хотя на руке у нее был золотой "Ролекс", а на стене висело электротабло. Ноги Джека неожиданно соскользнули с ее коленей, и он, схватив ее за руку, ответил, блеснув совершенно трезвыми глазами, и выпрямился.

Ее мысли, запутанно вившиеся, изменились до неузнаваемости, хотя она не была пьяной, и блаженнее всего было ощущение тепла и сытости, и она уловила мгновенный приступ благодарности, и почувствовала, что хочет отблагодарить и испугалась этого, примерно как откормленная свинья должна остерегаться даже аромата признательности человеку, который приносит ей еду. Она актриса, а актриса обязана все время купаться в такой грязи, что не всякая свинья согласится, и все-таки, что им от нее надо, и она ярко вспыхнула при мысли, что он, может быть, ее поклонник, и снова побледнела, почувствовав, что благодарна им. Если бы она не была актрисой, она еще могла бы чувствовать себя женщиной и могла бы даже влюбиться, или обижаться, а так ее единственной защитой, да и основным занятием было улыбаться, особенно если ей говорят гадости или гладят по руке, и еще когда предлагают раздеться, чтобы посмотреть, может ли она играть Дездемону, которая почти все время ходит в закрытом платье. И в конце концов, открытое платье или закрытое, если отшибают всякую веру в справедливость, и к сорока годам сгораешь, как пакля, если не успеваешь накопить денег. Одному Богу известно, чего хотят от нее мужчины, но никогда она не поверит, что они ничего не хотят, и она вспомнила дурака, который так и не смог переспать с ней, оттого ли, что был пьян, оттого ли, что был глуп, но так и не получил свое. "Но в конце концов", — сказала она себе. — "Да, что в конце концов?" На мгновение ей все стало безразлично.

“Пора”, — сказал Веселый Мартин. Она поняла, что это худший случай, и они едут к ней, но покорно встала и пошла к выходу, и сразу же пожалела об этом, и о том, что не подождала чуть-чуть и не узнала, во сколько же им все это обошлось, потому что Джек остался сзади и сунул какие-то бумажки официанту, и, отмахнувшись от него, пошел за ними, а официант поклонился. И она чуть не упала со ступенек, и уже в машине закрыла глаза, а когда открыла, сориентировалась не сразу, и с удивлением поняла, что они, несмотря на странный лаконизм, едут не к ней, а в пригород, где небольшие дома, все одинаковые, по 45—50 тысяч, и маленькие сады и много цветов, и тут ее швырнуло вперед, так как Веселый Мартин затормозил очень быстро, и ей стало ужасно интересно, кто из них главный, и Джек, выскочив, открыл дверцу машины, и она вылезла и опять качнулась, и только сейчас поняла, как темно, и от непривычки не могла сначала шевельнуть рукой, и чувствовала, что ее, как бархат, одел черный теплый воздух, и она бодро зашагала к дому, но ее остановили, схватив за руку, и она поняла, что идет не туда, и ее повели, по-прежнему держа за руку, делая огромные шаги, так что ей на каблуках приходилось прыгать, к другому дому, который она даже не разглядела, потому что он был совершенно черный, и ни одно окно в нем не горело. Звякнув, дверь открыли, или она открылась сама, и сразу загорелся свет, и, слегка ослепленная, она вошла, и сразу вспыхнул свет в комнатах, и она даже не услышала, как щелкнул выключатель, и осмелев, вошла и села в кресло, и, увидев выключатель и полупрозрачный висячий шкафчик, встала и достала огромный бокал и бутылку, и, выпив, откинулась в кресле, вытянув ноги, и Джек что-то сказал Веселому Мартину, и они тоже сели, вытянув ноги и запрокинув голову, и долгую минуту все трое были погружены в себя и ничего не замечали, и она поняла, что сейчас, но без особого отвращения, и ожидала, что один из них выйдет, и хотела, чтобы это был Веселый Мартин, и действительно, он встал, но не вышел, а подошел к ней и поднял ее из кресла и провел рукой по ее руке от локтя до плеча, и затем страшным движением почти сорвал с нее кофточку, но она его оттолкнула, и, возмущенная, сказала, что не сразу, но никто из них не хотел выходить из комнаты, и Веселый Мартин толкнул ее на огромный диван, к Джеку, и в одно мгновение они сняли с нее кофту, блузку, лифчик, и тогда она перестала сопротивляться и змеиным движением дотянулась и погасила

свет, и тогда сняла юбку и остальное, и он навалился на нее и сдавил ей ноги, и в голове у нее помутилось, и ей уже было все равно кто, и она покорно развела в стороны бедра и прижала его к себе, и через секунду тяжесть, давившая на нее, исчезла, и она сжала его так, что ребра затрещали, а когда он встал, место его занял другой, а ей было все равно, и когда он встал, она, чувствуя горькую обиду, сказала "еще", и это прозвучало так грозно и по-женски издевательски, что кто-то, вздохнув, сразу оказался на ней. И в ее пьяном мозгу поплыло и загрохотало, и было очень хорошо, и она неизвестно почему даже во сне чувствовала ход времени.

Лежать было холодно. Она проснулась совершенно голая на этом диване и, оглядевшись, не поворачивая головы, только стрельнув глазами, поняла, а рядом спали преспокойно они оба, и все трое они были накрыты коричневым пледом, из-под которого торчали руки и ноги, и она была трезва как стеклышко и увидела свою одежду, в беспорядке в кресле, и медленно, как могла тихо, приподнялась, и диван скрипнул, и Веселый Мартин перевернулся на другой бок, а она в страхе бросилась на шершавую мягкую поверхность, и потом снова осмелела, и единственным кошачьим движением соскользнула на пол, затрепетав при мысли о диване, и мгновенно натянула на себя одежду, ругнула тихонько туфли и спокойно села, с трудом вытягивая ноги, так что они стали прямые как стрелы и тут же, вроде гимнастики, сгибая их так, что они принимали привычное ленивое положение. Диван, кресло, еще один стул, а все остальное подвесное, так что можно кататься на полу, как по песку, не рискуя на что-нибудь натолкнуться, и попыталась понять, кто же они такие, и внимательно всмотрелась, раздирая пленку, покрывавшую стены, и в бешеной попытке выяснить что-нибудь мысленно учинила жестокий обыск, и, улавливая нечто необычное, не решалась его заподозрить, как если бы она узнала, что она наследница миллионера, и, гадая, какого именно, не решалась назвать самую соблазнительную возможность. Еще не успокоившись и ощущая следы их пальцев на теле, она твердо решила не уезжать и ждать, но было холодно и она надела кофту и решила, что хочет есть, так что мелькнула мысль выйти из комнаты и поискать, и переборов ее, она уселась и закрыла глаза, то ли притормозив в нетерпеливом ожидании, или же в прострации, и решив быть неприступной, да и как быть враждебной после всего, и безо вся-

кого повода подступивший к горлу комок надо было подавить, проглотить и забыть о нем, и улыбнувшись, вспомнив, о да, хорошо, величественная вертихвостка пробудилась от мрачноватого сна, мгновенно посетившего ее и ушедшего, как вчерашнее опьянение, и она не понимала многого, ждала и, как сон, неудовлетворенное любопытство, как неоплаченное счастье, не мучило, она, да, конечно, нельзя быть неблагодарной, и лучше всего было то, что терять было совершенно нечего. И ей опять стало холодно, жаль, может быть, она должна была бы об этом подумать, кутаться было уже не во что, и она съежилась, открыв колени и слегка пощелкивая зубами, соскочила с кресла босиком и закрыла огромную, в пол-окна, форточку, и выскочила из комнаты сразу, даже не подумав вернуться в кресло и, набив полный рот и наливая в стакан молоко, от сознания собственной неуклюжести схваченная и отпущенная легким облачком грусти, почувствовав, что совершенно непонятно зависит от своей грусти и вообще, всего ей предшествовавшего, которое она могла попробовать и даже потрогать рукой, на ощупь, слишком хорошо это было угадано тем, кто дирижировал, и оскопленная необычно тесным объятием, она поджала губы, еще белые и влажные от молока, и, почувствовав легкую царапинку под нижней губой, обмерла от досады и неуловимого, пушинкоподобного отвращения, и поняв, что входит в свой ежедневный цикл омерзения, попыталась оттолкнуться от необычайного, и огорчительно не сумев с собой справиться, полезла в холодильник, звякнув бутылкой о стакан из очень тонкого стекла, и вообразив, что осколки впиются ей в руку и ужасно боясь что-нибудь разбить.

Когда ей уже не хотелось есть и она вернулась, Веселый Мартин сказал, что они сейчас будут завтракать, и, натягивая носки, пробормотал что-то нечленораздельное, и от всего этого попыхивало таким уютом, и она, когда почувствовала это, испугалась, что отшатнулась от него и не позволила хлопнуть себя по заду, но тут же овладела собой и позволила, но на большее он не отважился, памятуя об аппетите. Тогда Джек, одетый и даже причесанный, соскочил с подоконника и как обезьяна запрыгал вокруг нее, и Сесиль, польщенная, почти околдованная, отправилась на кухню готовить завтрак.

Они втроем взгромоздились на диван, но как только она откинулась на подушку, они затихли, и она сначала удивилась, а потом не удивилась, потому, что они когда-нибудь должны были

сказать ей, зачем она им понадобилась, и хотя она предпочла бы, чтобы ей это сказали потом, или тогда, или вообще ничего не говорили, но почему-то она не решалась сейчас капризно снять юбку и заставить всех их прерваться, а зарылась молча в подушки и ждала спокойно и невинно.

“Так вот”, — сказал Веселый Мартин, — “тебе не составит труда переспать с кем-нибудь из нас, ну, так мы люди свои, правда”, — но заметив, что она слегка дернулась, добавил: — “скажем, с Джеком”.

Ее охватили противоречивые чувства, потому что она не поняла смысла этой фразы, и особенно непонятно было ей, хотя, в общем, что тут непонятного, но отчего он пускается в разговоры о любви, вместо того, чтобы заниматься ею, и если речь идет о том, чтобы она переспала с Джеком, что он сам тут делает, и может быть он все-таки собирается убраться. Она будет только рада. Мужская порода очень загадочна, и все это только значит, что они в ту минуту могут чего-то хотеть, и никогда не отключаются и по сути дела асексуальны они, даже безразличны к наслаждению, потому что для них это всего лишь прилив бешенства, а потом провал и усталость, и то глубокое и острое, что дает любовь, они не понимают, и чувственность их слабое место, и их нельзя завести наслаждением как меня или любую женщину, и она на секунду остановилась и похрустела суставами, но неужели они напоили ее и заставили заниматься любовью ради иного, чем она сама, и если это так, она глубоко презирает их дела, потому что они специфически мужские, а мужчине присуще свойство быть слегка импотентом. Веселый Мартин посмотрел на часы, и когда они блеснули, отразив солнечный луч, Джек беспокойно заерзал и забарабанил пальцами по колену, и до нее, кажется, дошло, кто из них главный.

“Слушай”, — сказал Веселый Мартин, — “тебе действительно надо только переспать с Джеком, но, понимаешь”, — тут глаза его сузились и приняли нехорошее, отмщающее выражение, — “сделать это надо будет не здесь, а в другом месте”.

Она хотела спросить, “где”, но не спросила, потому что понимала, что сделает все, что они скажут, так как опять оказалась раздавленной тяжестью мужского отношения к сексу, безразличия, в котором и коренится секрет их понимания жизни и преуспевания, и подумав, что на этом свете хорошо только импотентам, она, на редкость безразличная к волнующей тайне, в кото-

рую ее должны посвятить, поправила юбку, и этот жест подогрел в Веселом Мартине мелкую злость, и он потянулся к ней и скользнул по ней руками, но она оттолкнула его плечи и опять поправила юбку, и он не решился настаивать, и стал громко и точно насвистывать песенку, и стало ясно, что идет время, и оно — минута или час — только отделяет ее от дела, и ожидание было нелепо, поскольку ей казалось, что не может произойти ничего такого, что не было бы ей уже известно, и она открыла бутылку виски и налила только себе и жадно выпила, а когда поняла, что не остановится, полуобернувшись к ним и все-таки хотела спросить, но опять раздумала и налила снова, и теперь уже пила не переставая, пока не опустела бутылка, и тогда закатила ее под диван и открыла новую, и ее никто не отнял, и она выпила больше половины, когда, наконец, загудело в голове, и от этого гула ей стало легче, и пропало легкое беспокойство, но теперь уже мужчины не проявляли никакого интереса к ней, хотя она уже хотела, и когда она поглядела на них внимательно, неожиданно поняла, что они нервничают, да так, как она, при всей своей психованности, не нервничала никогда в жизни, и ей сразу стало гораздо спокойнее, и она оставила бутылку и села между ними, и тогда они переглянулись, и Веселый Мартин кивнул и они вдвоем допили все, что она оставила, но больше не стали, и Джек начал ходить между окном и дверью, но пройдя пару раз, остановился, махнул рукой и тоже посмотрел на часы, и что-то уразумев, снова улегся и закрыл глаза, и самое смешное, что она, слегка пьяная, разговорила с Веселым Мартином, который так и не смог успокоиться.

Ей казалось, что стрелки на часах, на руке, сошли с ума, потому что их пляска стала дурацкой и лихорадочной, совершенно независимой от ее привычки к последовательному ходу времени, и в воспаленном и немного пьяном сознании, как ей казалось, оно должно было бы двигаться очень торжественно, вопреки ожиданию, вопреки тому, что это ожидание ей осточертело, они то бросались вперед наивно и стремительно, то тормозили не только свое собственное движение, но и медленно совершаемые движения других.

Кино отличается от театра еще и тем, что в нем невозможны омерзительные эффекты, связанные с воспоминаниями о будущем, так например, когда во второй раз смотришь фильм, в котором герой убивает себя в последнем кадре, не возникает в мозгу воспоминание о том, как через минуту он выйдет на сцену

совершенно живой всего лишь для того, чтобы раскланяться, и если не всплывет невероятное, предательское воспоминание о другой его смерти, он так и останется благополучно убитым, как Рональд Стерн, который был лучшим любовником, чем актером, но все равно она его тепло вспоминала, и если бы Веселый Мартин захотел, она устроила бы его в следующую картину, но ей уже все равно, он никогда для нее ничего значить не будет, а поэтому она позволит ему в тысячу раз больше, чем человеку с улицы, и затем, подумать только, он ее любовник! И ей был по-настоящему неведом страх перед будущим, хотя она и была уверена, что кроме него ничего не боится, и неуверенность в ходе часов смущала ее меньше, чем распутившиеся на чулке петли, и блаженное ощущение скорости, которую она оседлала благодаря природному чутью, вращавшему ее то в одном, то в другом направлении, было главным, чем притягивало ее виски, и возможно, даже не было сильнее ее.

Веселый Мартин, тяжело дыша, лежал на нескольких подушках, и так как человек может многое совершить неожиданно, почувствовал прилив нежности, которая захватывала его тем сильнее, чем меньше было времени, и когда осталось десять минут, он чуть было не выругался, и посмотрел на Джека уже без прежнего ощущения, и когда она прочла это чувство жалости, то закрыла глаза от редко дающегося удовольствия, и ввиду невозможности разделить это чувство с ним, порадовалась лишь комичному унижению, и если унижение в глазах мужчины еще не означает унижения в глазах женщины, то обратное, к счастью, верно, и ее презрение всегда стоит мужского и влечет его за собой, и может быть поэтому в критические моменты не мужчины, а женщины правят миром, но он и этого не заслуживает. Он еще ухмыльнулся, тяжело, грустно ухмыльнулся, но она сейчас его почти поняла, и если не могла истолковать его поучения, то только потому, что их смысл был прост и сух, ибо впереди ожидало нечто недозволенное, для чего нужен Джек, потому что гордая своим пониманием она вычеркнула себя из списка вещей, в то время как Веселый Мартин сделает то-то и то-то, тут началось гадание, и у нее хватило ума его не продолжать, для того, чтобы понимание не унизило благодать ее женской природы.

Когда ничего не осталось, Веселый Мартин встал и она встала тоже, и он кивнул Джеку, и она, скользнув пальцами по многочисленным пуговицам и убедившись почти с сожалением, что

все в порядке, с той же мгновенной грацией расправилась со своей прической. Веселый Мартин сказал "Пора" и в этом была искренняя уверенность, и они сразу ей подчинились, как будто сами не знали, что следует делать. Она медленно вышла из комнаты и слышала, как они набивают карманы звенящими предметами, и тогда пошла вниз, когда услышала стук захлопнувшейся двери. От конца коридора — пять ступеней, но для нее это было дьявольское путешествие, почти изгнание. Она всегда тянулась к нереальному, здесь и крылась главная ошибка, но именно этому она была обязана почти всем, что как-то скрашивало жизнь, и только когда спустилась совсем, поняла, что провожала каждую ступеньку с чувством обиды, и легкая пружина икр, сокращаясь при каждом шаге, рикошетиrowала в нее струей боли.

"Что со мной?" — но у нее хватило сил не ответить, и внутри нее воцарилось молчание, и она ухитрилась не думать, разделившись на две неравные, неспособные думать части.

Она оглянулась и зашагала дальше, потому что они уже догнали ее, и Джек открыл перед ней дверцу машины, и по тому, как он закрыл другую дверцу и сел, она поняла, что ехать далеко, а далеко — это в другой город, и порадовалась, что там ее не узнают, потому что видели голой в кино, и она выдернула эту мысль, как занавеску, решив готовиться к худшему. В это время Веселый Мартин посмотрел на Джека, а тот сидел в углу, хмурый и нездорово красный, и изменившись, рванул с места. Ее тряхнуло, но не сильно, и высвободив руку из сетки, она подняла стекло и радостно почувствовала ветер, горячие волны которого были все-таки холодными, и принося свежесть, смягчали белую, причудливую гримасу зноя. Она и сама скорчила гримасу, но кто-то пронесшийся мимо заставил ее улыбнуться, и она попыталась испугаться, но это у нее не получилось. Она все-таки не боялась будущего, и вообще, боялась только холода, и в горячем помещении, наверное, было бы легче сниматься. Белое, слегка смешанное с зеленым, мелькало у нее перед глазами, и вместо сладкой дремы она обрела сладкое оцепенение, витиеватое, лабиринтоподобное, в котором кружилась, не засыпая и не просыпаясь. Если бы машина ехала совсем прямо, она заснула бы, но повороты шевелили ее, слегка бросая из стороны в сторону, и не пробуждали. Время от времени она видела знакомую массу и даже узнавала знакомые таблички, но путаность дороги все при- тупила, и она не удивилась бы, оказавшись в окрестностях Нью-

Орлеана. Она заснула бы, когда машина остановилась, но Веселый Мартин не дал, и она машинально сжевала бутерброд, слегка пожалев, впрочем, что не взяла из холодильника пирожные. Потом она лежала на траве, и через десять минут ее подняли, и они опять ехали по шоссе, слегка виляя то вправо, то влево, и чем дальше, тем быстрее он гнал машину, орудуя со спокойной профессиональной уверенностью, так классный гонщик уверен, что никогда не разобьется на шоссе. Пустота властно звала ее, и она приготовилась откликнуться, вся подобралась и тяжелее задышала, и застыв, увидела далеко впереди контуры большого города.

Веселый Мартин вышел из машины и сказал ей: "Раздевайся", и не зная стыда, она подчинилась и сняла с себя все, но Веселый Мартин не обращал на нее внимания, а все смотрел на часы, и что-то заметив, сел в машину и погнал с бешеной скоростью, так что все задребезжало, и в городе появился вовремя. Затем он сделал нечто удивительное — откинул верх и машина сразу раскрылась, и прохожие, случайные и неслучайные, увидели ее, и она даже не попыталась прикрыться. И прошептав что-то успокоительное, Джек схватил ее и вытащил наружу, положил на длинный багажник и в одно мгновение разделся сам. Веселый Мартин, отвернувшись, скучающе склонился за рулем и смотрел на быстро скапливающуюся толпу и людей, заполнивших балконы и прильнувших к окнам.

Когда Джек сдавил ее, она тоже посмотрела вокруг, и увидев мужчину с большим, нацеленным на нее фотоаппаратом, по старой привычке закрыла глаза, чтобы они не получились, и в найденной темноте смутно покорилась происходящему.

Еще раз беспокойно посмотрев на часы, Веселый Мартин дал гудок, и Джек, сбросив ее в машину, прыгнул сам, и одновременно захлопнулся верх, и Веселый Мартин рванул вперед, унося их с этого места. Он гнал, как будто их преследовали, как будто было совершено нечто преступное, и тут она вспомнила, что видела физиономию Джека на примерно такой же фотографии, когда ограбили квартиры зевак, выбежавших на такое изумительное зрелище. Ей стало безумно смешно, но Веселый Мартин, охваченный невероятным чувством жалости, остановив машину у автобусной остановки, сунул ей в руки пачку бумажных денег и сказал: "Уезжай".

Д. Юст (псевдоним) — активист еврейского движения в СССР; в Израиле с 1986 года.

ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ ПРОЗА

Все изложенное до сих пор, включая историю Мосада до мюнхенской трагедии, было, в сущности, лишь затянувшимся предисловием. События, о которых мы действительно намеревались рассказать, начались через полтора месяца после Мюнхена. Можно даже назвать точную дату — 16 октября 1972 года. В этот день был убит первый человек из намеченных к ликвидации по плану операции "Возмездие". Его звали Вадал Цвайтер.

Познакомьтесь с убитым. Вот он идет через Пьяцца Аннибалиано, приближаясь к семиэтажному зданию на углу, где расположен бар "Триесте", — невысокий, худощавый человек тридцати с лишним лет. В одной руке у него бумажный мешок с продуктами и бутылкой вина. Эти продукты и вино он купил в лавочке на углу. Он покупает их там каждый вечер, вот уже несколько лет подряд, это его привычка. Он забыл, что привычки опасны — они помогают выследить человека.

Вот он возвращается к себе домой. Подмышкой у него зажат томик арабского издания "Тысячи и одной ночи". Он в хорошем настроении. Только что он побывал у старой знакомой, которой читал свой перевод арабских сказок на итальянский язык. Сейчас он еще позвонит

Рафаил Блехман

**МОСАД, АМАН
И ВСЕ ТАКОЕ**

(продолжение)

из бара "Триесте" по двум-трем номерам (телефон в его квартире испорчен) и отправится домой ужинать. Он неторопливо пересекает площадь, наслаждаясь вечерней тишиной и прохладой. Взгляд рассеянно скользит вокруг, не задерживаясь на привычных деталях. Зеленый "Фиат", стоящий на углу Виале Эритреа, не привлекает его внимания. Человек за рулем "Фиата" читает газету — видимо, кого-то ждет. Рядом с ним дремлет другой. Возле дверей бара "Триесте" стоит коричневая машина спортивного вида. Девушка за рулем о чем-то спорит со своим спутником, парнем в белой рубашке, подчеркивающей смуглое лицо. Наверно, убеждает его заглянуть в бар. Вот она выскакивает из машины, машет кому-то рукой и исчезает в дверях бара. Человек с бумажным мешком входит туда вслед за ней. В ту же минуту водитель зеленого "Фиата" дает резкий гудок — вероятно, ему надоело ждать.

Человек с бумажным мешком выходит из бара и направляется к своему подъезду. Следом за ним бредет какая-то пожилая пара. Подойдя к двери подъезда, пара резко останавливается, шарахается и круто поворачивает назад.

Что их испугало? Сквозь застекленную дверь пробивается тусклый свет. Ему показалось или там действительно движутся какие-то тени? Человек толкает дверь ногой, придерживает ее плечом и входит в вестибюль. Он забыл, что тускло освещенные подъезды опасны — они помогают подстеречь человека.

— Господин Цвайтер?

Человек с бумажным мешком оборачивается. Он хочет сказать: "Да" — но что-то его удерживает. Может быть, эти двое подозрительно одинаково одеты. Может быть, они как-то странно стоят. Может быть, их вопрос кажется ему настораживающим. Как бы то ни было, он хрипло отвечает: "Нет!" — и делает шаг назад, к двери. Но двое у лифта одновременно, как на учении, поворачиваются к нему вполоборота, их ноги раздвигаются в боевой стойке, правые руки исчезают в карманах и появляются оттуда с револьверами, левые поднимаются для упора. В гулкой тишине подъезда даже почти беззвучные выстрелы кажутся оглушительными.

Человек с бумажным мешком опрокидывается спиной на дверь, в его глазах ужас. Он сползает спиной по стеклу. Его глаза уже остекленели. Он лежит в луже крови, как растерзанная ватная игрушка. Один из стрелявших наклоняется к нему, всматривается и удовлетворенно кивает головой. Второй осторожно переступает

через тело, открывает дверь, прислушивается. Потом они оба выходят.

Парень и девушка в коричневой машине увлеченно целуются, не обращая внимания на небольшую толпу зевак, которые окружили влюбленную пару и оживленно комментируют их поведение. Никто не замечает появившихся из подъезда людей, которые неуклюже прижимают на бегу правые руки к телу, чтобы скрыть оружие. Дверца зеленого "Фиата" открывается, пропуская их на заднее сиденье, "Фиат" резко стартует с места и тут же исчезает за поворотом Виале Эритрея. И почти тотчас коричневая машина с "влюбленными" с ревом устремляется вслед за ним. Зеваки разочарованно расходятся. На площади снова пустынно и тихо. Никто не услышал выстрелов, никто не заметил внешности людей, появившихся из третьего подъезда. Единственный свидетель произошедшего лежит в вестибюле, продырявленный двенадцатью пулями. Бумажный мешок лежит рядом с ним, из разбитой бутылки сочится вино, смешиваясь с ручейком крови, который медленно течет из-под двери на тротуар.

К тому времени, когда итальянская полиция обнаруживает труп, а потом — брошенную зеленую машину и в ней — единственное "вещественное доказательство", стреляную гильзу, выпавшую, очевидно, из кармана стрелявшего, люди, встретившие Вадала Цвайтера в его подъезде, давно уже в воздухе. Они летят рейсом Неаполь—Париж — два смуглых молодых человека в одинаковых костюмах, с одинаковыми деловыми чемоданчиками вместо багажа. Один из них дремлет, полуприкрыв глаза, другой что-то подсчитывает на клочке бумажки. Потом второй отрывается от своих подсчетов и говорит:

— Знаешь, во сколько он нам обошелся?

— Кто? — не открывая глаз, переспрашивает первый.

— Цвайтер. Я подсчитал — ровно триста пятьдесят тысяч долларов. Если так пойдет дальше...

— Дальше пойдет легче,— успокаивает его первый.

Но в его голосе нет особой уверенности.

Меир Амит вышел в отставку в конце 1969 года. Его сменил генерал Цви Замир — высокий, худой человек с продолговатым, узким лицом немецкого офицера. В действительности Замир был родом из Польши, и за его плечами была блестящая карьера в армии обороны Израиля. Это многообещавшая карьера была пре-

рвана в 45 лет назначением на пост руководителя Мосада, "мемуне". Многие в Мосаде считали, что "Цвика" никогда не сумеет дотянуть до уровня Меира Амита. Но точно так же говорили об Амите, когда он сменил Исера Харэля. Три года спустя даже самые заядлые скептики признавали, что Цвика ни в чем не уступает легендарным Харэлю и Амиту, а в чем-то, быть может, даже превосходит их. Израильской разведке, как правило, везло на блестящих руководителей. Впрочем, это могло быть не только везение.

Именно Цвике Замиру выпало на долю присутствовать при последних атаках мюнхенской трагедии. Он прибыл в Олимпийскую деревню, когда террористы "Черного сентября" уже вывезли захваченных израильских спортсменов на аэродром. Замир добрался до аэродрома в машине министра иностранных дел Геншера. Там, стоя в диспетчерской башне, он был беспомощным свидетелем гибели заложников. В тот же день он вернулся в Израиль. На следующий день он уже отчитывался перед кабинетом министров. Вместе с ним на заседании присутствовал руководитель военной разведки генерал Аарон Ярив.

Разгневанная Голда Меир обрушилась на руководителей Мосада и Амана, обвиняя их в преступной непредусмотрительности. Она требовала немедленно положить конец палестинскому террору. Ей вторили другие министры. Замир отвечал последний. Он сказал:

— Мы делаем все возможное, чтобы защитить израильские самолеты, их пассажиров и вообще всех израильтян за границей и в пределах страны от нападения террористов. Но полностью исключить эти нападения невозможно. Для этого следовало бы окружить Израиль сплошной стеной и не высовывать из-за нее носа. На это не пойдет ни один уважающий себя народ. Поэтому я вижу единственную альтернативу...

— Какую? — нетерпеливо перебил кто-то из присутствующих.

— Сыграть с террористами на их собственном поле их собственными методами. Выйти им навстречу...

Два дня спустя Голда Меир утвердила план операции "Возмездие", представленный Замиром. В помощь Цвике был назначен генерал Ярив. Вдвоем они должны были подготовить и провести эту самую большую в истории Мосада операцию.

— У него имя на "А", у тебя — на "Зет", — сказала Голда. — Вы вдвоем покрываете весь алфавит, так что у вас есть все необходимое для успеха...

Это была одна из нечастых попыток Голды сострить. Обычно шутки ей не удавались. Эта тоже не была из самых блестящих.

В те времена мы еще были в России, и только первые, начинавшие еврейское движение в СССР, уже прибыли в Израиль. Впрочем, многие их соратники были далеко не только от Израиля, но и от Москвы — они отсиживали свои сроки в лагерях и тюрьмах, еще не зная своего будущего. Ни до них, ни до нас не донеслись отзвуки "Великой охоты", начатой израильской разведкой на гигантском пространстве Европы и Ближнего Востока. Ни до них, ни до нас не доходили западные газеты, пестревшие в те дни заголовками: "Израильские агенты уничтожают террористов в Риме и Париже! Террористы наносят ответный удар! Великая охота продолжается. Еще одна жертва израильского возмездия! Месть "Черного сентября"! И направляясь в Вену, мы не знали и не могли знать, что в это время люди Мосада гибнут в европейских столицах, защищая и нас, будущих израильтян. И не только в косвенном, но и в прямом смысле, — потому что одна из операций "Черного сентября" предусматривала захват замка Шенау и всех находившихся в нем репатриантов.

Мне никогда не довелось встречать генерала Замира. Но Аарона Ярива я видел неоднократно. Последний раз это было во время недавней международной конференции по терроризму, которая происходила летом минувшего года в Тель-Авиве. Шло пленарное заседание, посвященное вопросу: как действовать в ситуации захвата террористами заложников? — погрузневший, почти квадратный Меир Амит, сидя в президиуме, рубил воздух ладонью в такт своим отрывистым фразам: "Не уступать... Никаких компромиссов... Использовать переговоры лишь для подготовки операции по освобождению... Использовать прессу для создания "дымовой завесы" ложных слухов... Атаковать..." Невысокий, сугубо штатского вида Ярив сидел рядом с Амитом и медленно, молча кивал после каждой фразы, словно соглашаясь с коллегой. Потом, в перерыве, его окружили западные эксперты по борьбе с террором, и Ярив, известный своей словоохотливостью, начал с ними оживленно что-то обсуждать. Я не решился подойти поближе. Эти люди были заняты делом — быть может, одним из важнейших в наши дни: попыткой обуздать стоглавую гидру международного терроризма. Тем самым делом, которое Ярив и Замир начали своей операцией "Возмездие" четырнадцать лет назад.

Впрочем, это не вполне верно. Ни одна операция не начинается на пустом месте. У всех у них есть корни, уходящие в прошлое. Вот и в данном случае нити будущей "Великой охоты" вели далеко назад, в ставшие уже баснословными 50-е годы.

В пьесе Нелли Гутиной "Шоу" есть замечательная фраза. Ее герой, Террорист, говорит журналистам: "Вы думаете, в начале было Слово? Черта с два! В начале был Взрыв!"

У истоков нашего мира действительно был взрыв — во всяком случае, так считают физики, предпочитающие Эйнштейна евангелиям. Они даже придумали для этого взрыва свое профессиональное название — в их теориях он именуется "Биг-Банг". Но сейчас речь идет о другом взрыве — о том, который и должен иметь в виду профессиональный Террорист. Потому что в начале нашей истории действительно был взрыв. А точнее — даже два.

Давид Шауль был родом из Ирака и, может быть, поэтому внешне весьма напоминал араба: те же черные усы на смуглом лице и та же маслянистая волоокость в выпуклых глазах. Иошафат Гаркави был иерусалимцем в бесчисленном поколении и внешне напоминал еврейского интеллектуала, каким и был в действительности: высокий лоб под полукругом седеющих волос и умные, живые глаза под четко очерченными бровями. Давид Шауль был лейтенантом израильской армии, а генерал Иошафат Гаркави по прозвищу "Толстяк" был руководителем израильской военной разведки Аман, так что единственным сходным у них было, пожалуй, лишь одинаково блестящее знание арабского языка и обычаев. Шауль приобрел это знание за годы жизни в Ираке, а Гаркави — за годы учебы в Еврейском университете и последующей работы, которые принесли ему репутацию одного из лучших арабистов Израиля.

В этот день Гаркави был озабочен. Он только что принял руководство Аманом и перед ним стояла тяжелая задача. В последние месяцы палестинские фedaины, базировавшиеся в Газе, резко активизировали свои диверсии на территории Израиля, и Гаркави было поручено отсечь руку, направлявшую действия диверсантов. Беда была в том, что он не знал, чья это рука.

Он пригласил Шауля сесть и начал долго, пристально его рассматривать. Шауль сел и начал пристально рассматривать ленточный дымок своей египетской сигареты.

— Я хочу предложить тебе перейти в Аман,— сказал наконец Гаркави.— Мне нужен свой человек среди фedaинов.

— Они недоверчивы, — помолчав, заметил Шауль. — Они хорошо знают друг друга и не доверяют чужим.

— Вот именно, — кивнул Гаркави. — Поэтому нашему человеку придется внедряться постепенно. Очень постепенно. На это могут уйти годы.

— Ну, что ж, — спокойно согласился Шауль, — годы, так годы. У меня как раз сейчас нет никаких срочных дел...

Одиннадцать месяцев спустя, в июле 1956 года, в израильскую полицию в Ашкелоне явился палестинский диверсант. Его звали Тавлука, он только что перешел границу в районе Газы и у него в кармане был шифрованный отчет сержанта египетской армии Ваддада, который Ваддад приказал доставить "Толстяку". Пока Тавлука беседовал с тремя офицерами Амана, отчет Ваддада—Шауля двигался своими путями. Вскоре он уже лег на стол к Йошафату Гаркави.

Шифровка сообщала все, что Гаркави хотел знать о действиях федаинов, и даже немного больше. Кроме фамилий федаинских руководителей — полковника Мустафы Хафеза с египетской стороны и полковника Салеха Мустафы с иорданской, она излагала подробности разработки и организации операций, сведения о главных федаинских группах и даже некоторые полезные детали личного свойства. Шауль докладывал, что полковник Хафез, например, отличается стремлением лично вмешиваться во все детали штабной работы, а полковник Мустафа имеет близких знакомых в штаб-квартире ООН в иорданском Иерусалиме. Шауль сообщал эти детали "на всякий случай" — а вдруг они окажутся полезными. И они такими оказались.

12 июля того же года Тавлука был послан в обратный путь через границу с пакетом, адресованным (по-арабски, конечно) лейтенанту эль-Ахаби, начальнику египетской комендатуры в Газе, и с устными инструкциями во что бы то ни стало добиваться личного свидания с лейтенантом. Как и ожидалось, полковник Хафез немедленно заинтересовался странным поведением и требованием вернувшегося "с операции" федаина. Он затребовал подозрительный пакет к себе. Он решил лично вскрыть этот пакет.

На следующий день египетские газеты "с прискорбием" сообщили, что "герой борьбы за освобождение Палестины полковник Хафез погиб при выполнении боевого задания, подорвавшись на израильской mine". В его честь улица Французская в Александрии

была переименована в улицу Хафеза. В тот же день сержант Ваддад выехал по делам в Иерусалим. Но об этом газеты, конечно не сообщали. Мало ли в египетской армии сержантов и мало ли у них дел в Иерусалиме!

Две недели спустя, ранним утром 25 июля, полковник Мустафа приказал подать к своему дому машину, чтобы отправиться в генеральный штаб. Двигатель уже прогрелся, когда полковнику подали в открытое окно машины пакет, только что прибывший от его давнего знакомого из иерусалимской штаб-квартиры ООН и запечатанный всеми положенными ооновскими печатями. Полковник вскрыл печати и развернул бумагу. В пакете оказалась вышедшая недавно по-английски книга бывшего гитлеровского фельдмаршала фон Рунштедта "Полководец и человек". Полковник Мустафа заинтересованно раскрыл книгу. Это было последнее, что он успел сделать в своей сорокалетней жизни. Взрыв поднял его машину в воздух. Гулкое эхо еще долго грохотало в узких переулках Аммана.

Начавшаяся вскоре Синайская кампания вытеснила эти события из памяти современников. Но они до сих пор непременно упоминаются во всех книгах об израильской разведке, как первая попытка Мосада "выйти навстречу" противнику и сыграть с ним "игру" его же методами. Эта попытка имела продолжение, непосредственно связанное с "Великой охотой".

Весной 1968 года Шауль-Ваддад, теперь уже капитан при штабе ООП в Аммане и герой недавних сражений с "сионистским агрессором" на полях Шестидневной войны, получил из Бейрута телеграмму, сообщавшую, что его отец тяжело заболел. Присутствие сына у постели больного крайне желательно,— заканчивался текст. В тот же день, получив отпуск по семейным обстоятельствам, Ваддад вылетел в Бейрут и вечером уже был в тайной явочной квартире Мосада в ливанской столице. Телеграмма была ответом Амана на недавнюю просьбу самого Ваддада о срочной встрече, переправленную через один из тайных каналов связи.

Гаркави к тому времени давно уже не было в Аммане. Израильскую военную разведку возглавлял генерал Ярив. Просьба Ваддада привела Ярива в немалое замешательство. Его агенты, осуществлявшие связь с Ваддадом и "страховавшие" его на случай опасности, имели строгий приказ избегать личных контактов с этим

бесценным израильским агентом в рядах ООП. Только крайние обстоятельства могли заставить Ваддада просить о такой встрече.

Обстоятельства действительно оказались крайними. В руках Ваддада находились документальные данные о только что состоявшейся встрече руководителей ООП с советскими лидерами. Во время этой встречи ООП была предложена широкая советская военная и логистическая помощь в обмен на ее обещание максимально усилить террористическую деятельность против Израиля. После поражения в Шестидневной войне Советы уже не доверяли арабским державам. Они решили сделать ставку на террор. И первые террористы Хабаши и Хаватме уже отправились на тренировки в Чехословакию и Крым. Удара можно было ожидать в любую минуту, — такова была суть сообщения, переданного Ваддадом.

И удар не замедлил последовать.

22 июля 1968 года невысокий человек в монашеском одеянии вошел в помещение израильской авиакомпании "Эль-Аль" в Риме. Он предъявил три паспорта — свой, индийский, и двух своих друзей из Ирана — и попросил три билета на рейс Рим—Тель-Авив, отправлявшийся на следующий день.

23 июля, за несколько минут до конца посадки, трое смуглых молодых людей заняли свои места в салоне первого класса. Через двадцать минут после взлета они поднялись и направились в сторону кабины пилотов. Помощник командира корабля, повернувшийся на звук открываемой двери, был убит выстрелом в лицо. Командир, подчиняясь приказу, подкрепленному дулом револьвера, развернул машину в сторону Алжира. Спустя несколько часов самолет совершил вынужденную посадку в алжирском аэропорту. Все пассажиры-израильтяне были увезены с поля в военной машине. Трое террористов, укрывшиеся под покровительством алжирских властей, объявили пассажиров заложниками и потребовали в обмен на их освобождение выпустить арестованных бойцов ООП, содержавшихся в израильских тюрьмах. Израильское правительство вынуждено было уступить. Пятнадцать опасных террористов были доставлены в Алжир. Сорок дней спустя заложники были возвращены в Израиль.

Это была первая из растянувшейся на четыре года серии воздушных террористических операций, запланированных и осуществлен-

ных группами Хабаша, Хаватме и Джибриля. Целью этих операций было блокировать Израиль на суше и в воздухе, уничтожить израильтян, где только удастся и как только возможно, и доказать им их уязвимость даже на их собственной территории.

Такое положение было бы нетерпимо для любой страны. Израиль должен был ответить. С этого момента события приняли характер необъявленной войны: палестинский удар — израильский ответ — новый удар — новый ответ. Через пять месяцев после римского похищения двое террористов Хабаша атаковали израильский самолет на летном поле в Афинах: один пассажир был убит, две стюардессы получили легкие ранения. Четыре дня спустя израильские вертолеты высадили группу десантников в бейрутском аэропорту. Пока их командир, полковник Рафаэль Эйтан, проследовал в зал ожидания, где попросил у буфетчицы чашечку кофе, десантники методично и неторопливо уничтожали все арабские самолеты, стоявшие на летном поле. Допив кофе, Эйтан вышел из зала ожидания, осмотрел догорающие фюзеляжи и, удовлетворившись результатами операции, скомандовал возвращение. Вертолеты с десанниками ушли в сторону Израиля. На следующий день арабская печать истерически взвыла, и этот вой продолжался до тех пор, пока не сменился воплями восторга в адрес террористов, которые в начале февраля 1969 года атаковали израильский самолет в Цюрихе. Атакующие были встречены огнем мосадовских агентов, с недавнего времени защищавших все израильские самолеты, и покушение удалось сорвать. Но в августе террористы сумели похитить и посадить в Сирии самолет авиакомпании "Тивизэй", следовавший на Израиль, и с этого момента успех изменил израильтянам. В сентябре были брошены бомбы в израильские посольства в Гааге и Бонне, в ноябре бомба взорвалась в очереди к стойке "Эль-Аль" в Афинах, а в феврале следующего, 1970 года была атакована стойка "Эль-Аль" в Мюнхене. В тот же день был взорван в воздухе — вместе со всеми пассажирами — следовавший в Израиль швейцарский самолет и была предпринята попытка взорвать самолет австрийских авиалиний, следовавший аналогичным рейсом. В мае было захвачено израильское посольство в Бангкоке. На сей раз израильтяне проявили предельную твердость, и террористы сдались, освободив заложников. Но в июле они взяли реванш, похитив самолет авиакомпании "Олимпик", а в сентябре добились самого впечатляющего за три года этой необъявленной войны успеха, похитив и посадив в Иорданской пустыне одновременно три

авиалайнера, общее количество пассажиров на которых превышало четыреста человек.

Это переполнило чашу терпения иорданских властей. Террористы распоряжались в Иордании, как у себя дома, и были близки к тому, чтобы свергнуть короля Хуссейна и объявить страну своим владением. Через несколько дней после взрыва захваченных террористами самолетов бедуинская армия Хуссейна, поддерживаемая танками и авиацией, обрушилась на базы террористов и лагеря палестинских беженцев. Десятки тысяч палестинцев, все террористические банды и их главарь бежали в Ливан. Это кровавое изгнание 1970 года вошло в историю палестинского движения под названием "Черного сентября".

Год спустя иорданский премьер-министр Таль, прибывший с официальным визитом в Египте, был застрелен неизвестными на ступенях каирской мечети. Ответственность за убийство взяла на себя доселе неизвестная палестинская террористическая группа "Черный сентябрь".

В течение нескольких последующих месяцев "Черный сентябрь" быстро выдвинулся на одно из первых мест в списке самых опасных террористических организаций мира, — наряду с группами Хабаши, Хаватме и Джибриля. Только в феврале 1972 года люди "Черного сентября" взорвали нефтехранилища в Гамбурге и Роттердаме, атаковали западногерманскую фабрику, производившую электромоторы для Израиля, предприняли два похищения самолетов (одно из них удачное, второе нет) и казнили пятерых иорданцев в подвале одного из домов в Бонне, подозревая их (по всей видимости, справедливо) в том, что они являются агентами короля Хуссейна. Для начала "Черный сентябрь" предпочитал "упражняться" в Европе, опасаясь атаковать собственно израильские цели. Но 8 мая 1972 года четверо "сентябристов", двое мужчин и две женщины, захватили самолет авиакомпании "Сабена", следовавший рейсом Вена—Тель-Авив, заставили капитана посадить его в аэропорту Луд и, объявив пассажиров заложниками, потребовали освобождения сотен палестинских террористов, находившихся в израильских тюрьмах.

Израильские командос, переодетые авиамеханиками, атаковали самолет. Они убили террористов-мужчин и захватили женщин. К счастью, те не успели взорвать приготовленные заряды. Пассажиры были спасены. "Черный сентябрь" потерпел сокрушительное

поражение. Было очевидно, что террористы попытаются взять реванш.

Неделю спустя Ваддад попросил об очередной неотложной встрече. На этот раз он сообщил, что Хабаш созвал в лагере беженцев под Триполи конференцию нескольких террористических групп для координации антиизраильских действий. Со стороны группы Хабаша руководство этими действиями поручено члену Центрального командования этой группы Хассану Канафани (западные журналисты в Бейруте знали его как "безобидного" арабского "интеллектуала", выступившего со статьями в защиту "палестинского дела") и его заместителю Басаму Абу Шарифу. Со стороны "Черного сентября", который подчиняется непосредственно соратнику Арафата Абу Ийаду, возглавить разработку совместных операций должны были руководитель группы Мохаммед эль-Наджар, его заместитель Камаль Адван и начальник "оперативного отдела" Али Хасан Саламе.

Спустя несколько лет сведения Ваддада о "Черном сентябре" оказали Мосаду громадную службу. Но в данный момент они не смогли предотвратить удары террористов. У Мосада уже не оставалось времени. 30 мая 1972 года произошло побоище в аэропорту Луд. Три молодых японца, прибывших самолетом "Эр Франс", атаковали пассажиров в зале прибытия, и убили 25 человек, в том числе 16 католиков-пилигримов из Пуэрто-Рико. Еще 78 человек получили серьезные ранения.

Потрясенный мир не мог оправиться от шока. Японцы, убивающие пуэрториканцев в Израиле, — это не укладывалось в сознании. В этом было что-то от безумной бессмыслицы. В действительности, однако, за этим скрывался глубокий смысл. Группа Хабаша и "Черный сентябрь", нанявшие убийц из "Сикегун" (организации, известной также под названием "Японская Красная армия") и наметившие план их действий, прекрасно понимали, чего хотят. Удар, нанесенный в самом Израиле, был эффектным ответом на провал с "Сабеной".

Через два дня последовал ответный израильский удар. В Бейруте, с помощью дистанционно управляемой бомбы, была взорвана машина Хассана Канафани вместе с ее владельцем. Еще через 6 недель пакет, доставленный в бейрутскую виллу его заместителя Абу Шарифа, взорвался, когда хозяин виллы начал его распаковывать. Но у террористов был в запасе очередной ответ: в начале

августа они успешно осуществили свою следующую совместную операцию, на этот раз в Риме. Две молодые английские туристки, направлявшиеся в Израиль, получили в подарок от своих "случайных" римских знакомых-арабов небольшой японский магнитофон, в корпусе которого — о чем они, конечно, не догадывались — находились 800 граммов пластиковой взрывчатки и манометрический взрыватель, который должен был сработать по достижении самолетом определенной высоты. К счастью, туристки сдали магнитофон в багаж, а багажные отделения израильских самолетов с недавнего времени стали предусмотрительно обшивать бронированными плитами. Поэтому когда в брюхе лайнера раздался оглушительный взрыв и самолет начал терять высоту, капитан — в прошлом боевой летчик — сумел выиграть несколько драгоценных минут. Он немедленно дал сигнал тревоги в римский аэропорт, и пока там спешно расчищали воздушный коридор для идущей на экстренную посадку машины, пошел в пике, как будто управлял своим прежним истребителем. Через шесть минут изуродованная машина благополучно приземлилась на летном поле в Риме.

А еще через две недели, 5 сентября, разразилась мюнхенская трагедия.

Когда Голда Меир заявила с трибуны кнессета, что Израиль будет со всей решительностью преследовать террористов всюду, где сможет их обнаружить, это было воспринято, скорее, как утешительная декларация. Только посвященные — и прежде всего, Замир и Ярив — знали, что это был в действительности официальный сигнал начала "Великой охоты".

Задача "Охоты" состояла не только в том, чтобы выследить террористов. И даже не просто в том, чтобы их уничтожить. Главное было в том, чтобы разрушить их оперативную сеть, которая позволяла террористам планировать и осуществлять свои кровавые операции. А это требовало ликвидации не второстепенных, не случайных исполнителей, а главных организаторов террора.

Сами лидеры террористических групп были надежно укрыты на территории арабских стран. Они вели себя с крайней предусмотрительностью, были окружены телохранителями, их маршруты держались в глубокой тайне, местонахождение их штаб-квартир было величайшим секретом. Атаковать их "в лоб" означало послать атакующую группу на верное самоубийство. Кроме того это не имело особого смысла — кроме, разве что, чисто демонстративно-

го. Главные лидеры терроризма не занимались планированием операций — они делали "большую политику". Разумеется, их неплохо было бы изловить и предать открытому суду, и Мосад в течение ряда лет предпринял несколько попыток перехвата арабских самолетов, на которых, как предполагалось, должны были бы следовать Хабаш, Хаватме и другие главари, — но все эти попытки окончились неудачей: агентурные данные оказывались ошибочными. Любопытно, что Ясер Арафат никогда не был объектом подобных планов, хотя он не раз похвалялся, что находится на первом месте в израильском "списке на уничтожение".

Такой список действительно лежал перед Замиром и Яривом, когда они приступали к планированию операции "Возмездие", но в нем не было не только имени Арафата, но и имен Хабаша, Хаватме, Джибриля и других им подобных. Список включал лишь имена террористов "второго эшелона", — но зато именно тех, кто по израильским данным, с величайшим трудом собранным за истекшие годы, непосредственно отвечал за организацию террористических операций таких групп, как "Народный фронт освобождения Палестины", "Черный сентябрь" и другие.

Открывали список руководители операций "Черного сентября" — Мохаммед Наджар и Кемаль Адван, отвечавший за террористические акции внутри Израиля. За ними следовали Али Хасан Саламе и его помощник Абу Дауд, которые вместе планировали мюнхенскую операцию. Данные о них были получены благодаря Шаулю-Ваддаду и его сети "информаторов" в арабских странах. Далее шли имена людей, роль которых в палестинской террористической сети стала известной Мосаду из других источников. Источники эти были разнообразны. Какие-то крохи информации доставили европейские евреи, добровольно сотрудничавшие с агентами Мосада на местах. Кое-что удалось узнать благодаря сотрудничеству израильской разведки с разведками и полициями других стран. Многие установили агенты Мосада, специально посланные для наблюдения за подозрительными палестинцами, обосновавшимися в Европе. Информация из всех этих источников стекалась в Мосад. Тут она анализировалась, сопоставлялась и уточнялась. Постепенно перед Замиром и Яривом начала вырисовываться картина сложной и разветвленной террористической сети, охватившей почти все главные европейские столицы. В каждой из них находились один или несколько резидентов палестинского террористического движения, в задачу которых входила подготовка порученных им опе-

раций, подбор людей, снабжение их оружием, взрывчаткой и фальшивыми документами, организация "выхода" убийц на террористическую акцию и путей отступления. Резиденты имели широкие контакты с европейскими террористическими группами, вроде "Красных бригад", группы Баадер-Майнхоф или ИРА. Кроме того, как уже было известно из донесения Ваддада, они находились в постоянном контакте с резидентами КГБ, и местом этих контактов был, прежде всего, Каир.

Следовало нанести удар по узловым точкам этой сети. Для этого нужно было тщательно продумать список "кандидатов".

Когда в июле 1968 года итальянская полиция занялась делом угнанного в Алжир израильского самолета, она задержала множество обосновавшихся в Риме арабов. Все они были допрошены, проверены и — выпущены на свободу. Против них не оказалось никаких серьезных улик.

Данные этого расследования вскоре стали известны Мосаду. Внимание израильтян привлекла личность одного из задержанных палестинцев. Это был молодой поэт, проживавший в Риме вот уже 12 лет и служивший в последнее время переводчиком в ливийском посольстве. Он был весьма активен в европейских левых и палестинских кругах, а кроме того, как выяснилось на допросе, "имел честь" быть близким родственником "самого" Арафата. В Риме он был чем-то вроде неофициального представителя ООП и с немалым успехом пропагандировал идеи этой организации в итальянских радикальных кругах.

Начиная с 1968 года, Мосад установил негласное наблюдение за этим человеком. На всякий случай. Время от времени людям Мосада, оказавшимся в Риме, давалось задание проследить за маршрутами его перемещений, его связями и знакомствами. Удалось кое-что установить, выяснилось, в частности, что у него есть постоянная любовница, которая довольно регулярно посещает Москву. Выяснились и другие любопытные подробности. Но главное приоткрылось лишь много позже, в августе 1972 года, после неудавшейся попытки террористов взорвать израильский самолет над Римом. Было установлено, что в дни, предшествовавшие этой акции, "Объект" вошел в тесный контакт с ее исполнителями — тремя молодыми террористами, позднее скрывшимися в Алжире.

Так, в результате четырех лет терпеливой слежки Мосад вышел, наконец, на наиболее вероятного резидента террористов в Риме, —

невысокого, худощавого палестинского поэта тридцати с лишним лет, Вадала Цвайтера.

Данные Ваддада заставили руководителей Мосада обратить более пристальное внимание на Кипр. Ни для кого не было секретом, что палестинские террористы довольно свободно орудуют на острове, пользуясь контактами с греческими кипристами. Новым в сообщении Ваддада было то, что Никозия используется как место контактов между террористами и их советскими покровителями. Это предположение надлежало тщательно проверить.

Здесь на помощь Мосаду пришла счастливая случайность. Эту случайность звали Шмидт. История Альберта Шмидта, романтична и загадочна, как на заказ. Утверждают, что он родился в еврейской семье, но в раннем детстве потерял родителей, отправленных в нацистский концлагерь, и был усыновлен семьей немецких христиан. Он вырос, не зная своего происхождения. В студенческие годы он увлекся, как многие, политикой и вскоре оказался в кругах, связанных с группой Баадер-Майнхоф. Затем последовал удар: приемные родители рассказали ему, что он еврей. Утверждают, что именно это было причиной произошедшего в нем душевного перелома. Так или иначе, он отправился в Израиль и здесь предложил свои услуги израильской разведке. Мосад направил Шмидта обратно в Европу — на этот раз уже как своего информатора. Его неутомимая кротовья работа вскоре позволила израильтянам собрать — и передать западногерманским коллегам — обширные сведения о группе Баадер-Майнхоф и, в частности, — о ее широких международных связях, включая советские. Следуя за этой ариадниной нитью, Мосад в конце концов вышел и на главного палестинского резидента на Кипре, осуществлявшего связь с КГБ. Им оказался Хуссейн Абад аль-Шир, постоянно проживавший в отеле "Олимпик" в Никозии.

Слежка за аль-Широм вскоре подтвердила подозрения Мосада. Она позволила также установить личность помощника аль-Шира, Зайяда Мухейси, часто курсировавшего между Никозией, Бейрутом и Афинами.

Но самая серьезная группа организаторов палестинского террора обосновалась, как выяснилось, в Париже. Выявление и ликвидация этой группы были делом рук одного-единственного человека — Баруха Козна.

Барух Козн родился в 1935 году в Хайфе. Он вырос в тесном

соседстве с местными арабами и с детства научился понимать и уважать их язык и обычаи. Его старший брат Иуда погиб во время Войны за Независимость. В 17 лет Барух начал свое сотрудничество в Мосаде. К 1970 он уже считался одним из самых блестящих мосадовских агентов. В июле этого года его, вместе с женой и двумя детьми, послали в Брюссель. В штате тамошнего израильского посольства он числился на незначительной дипломатической должности под именем Моше Ишая. Истинной его задачей была координация действий всех мосадовских агентов в Европе, занятых выявлением палестинской террористической сети. Коэн быстро сумел наладить контакты с некоторыми не очень принципиальными арабами, которые — за соответствующую плату, разумеется — согласились добывать для него нужную информацию.

Говорят, что любая, самая хорошо законспирированная подпольная организация становится уязвимой, когда выходит на операцию. Именно это произошло в марте 1971 года, когда парижское палестинское подполье вышло из укрытия, чтобы провести атаку на израильские объекты. Сведения о готовящейся атаке вскоре поступили к Баруху Коэну через одного из его "информаторов" в Брюсселе. Долгие месяцы, в течение которых он "культивировал" свои арабские контакты, окупились с лихвой. В Иерусалим ушло сообщение, что в ближайшие дни две девушки должны доставить в Израиль взрывчатку на одном из самолетов авиакомпании "Эр Франс". Увы, ни имен, ни внешности "курьеров" Коэн не знал. Две девушки приятной наружности — вот все, что сумел сообщить ему "информатор".

В течение нескольких последующих дней паспортная и таможенная службы в аэропорту Луд дотошно проверяли всех мало-мальски симпатичных женщин, прибывавших в Израиль из Европы. Наконец, 11 апреля эти усилия принесли плоды. Среди прочих пассажиров, прибывших рейсом "Эр Франс" из Парижа, выделялись две ослепительные красавицы, очень похожие друг на друга и даже одевшиеся как будто в одном магазине. Что особенно насторожило сотрудника Мосада, стоявшего на паспортном контроле, — эта та старательность, с которой они подчеркивали, будто не имеют никакого отношения друг к другу. Быстро перебрав в уме возможные варианты действий, сотрудник остановился на "гамбите" — стандартной процедуре, предусматривающей жертву одной фигуры для атаки на другую. Он пропустил одну из девушек беспрепятственно, но — придравшись к какой-то мелкой формальности — задержал

другую. Расчет оправдался: первая красавица вернулась выяснить, что произошло со второй. Тогда была задержана и она.

Согласно паспортам (конечно, фальшивым) они были француженки — Даниэла Риве и Мартина Гарсиа. В их чемоданах были обнаружены сотни фунтов взрывчатки. Пакеты со взрывчаткой были прикреплены пластырем также на их телах, под одеждой.

Они оказались сестрами, Марленой и Надией Барделли, из богатой марокканской семьи. Изобличенные обнаруженной у них взрывчаткой, обе сестры стали давать показания с такой скоростью, что за ними едва поспевал магнитофон. Согласно этим показаниям, они должны были встретить в Тель-Авиве пожилую французскую пару, Пьера и Эдит Бургхалтер, чтобы передать им свой "багаж". В тот же день супруги Бургхалтер были арестованы. С их помощью удалось выйти на руководителя этой странной террористической группы, 26-летнюю Эвелин Бараджи, известную своими связями с группой Баадер-Майнхоф и причастностью к многочисленным террористическим акциям в Европе.

Но главной "добычей" Мосада в истории Барделли было имя человека, который запланировал и организовал эту неудачную операцию. Им оказался известный в парижских артистических кругах алжирский интеллеktуал, директор независимого авангардистского театра Мохаммед Будия. Он давно уже был знаком французской полиции, как участник алжирского Фронта Национального Сопротивления в 50-х годах и близкий друг руководителя Фронта Бен-Беллы. В 1959 году он был арестован французами в Алжире, но в 1962 году, когда Алжир получил независимость, вышел из тюрьмы и был немедленно назначен директором алжирского Национального театра. Однако в 1965 году, когда соратник Бен-Беллы Бумедьен совершил в Алжире государственный переворот, Будия вынужден был бежать из страны. Он отправился в Буэнос-Айрес, где, по всей видимости, вступил в контакт с советскими агентами, потому что несколько месяцев спустя оказался в Москве, среди "студентов" университета имени Лумумбы. Из Москвы Будия вернулся в Париж, где быстро обрел репутацию талантливого режиссера-авангардиста и блестящего левого интеллеktуала. Свою театральную и "интеллеktуальную" деятельность он совмещал с тщательно скрываемой работой главного резидента ООП во Франции.

Получив эти сведения, Барух Козн направил своих людей по следам Будии. Вскоре ему удалось установить имена других членов

парижской группы — доктора Махмуда Хамшари, который осуществлял связь между Будией и Бейрутом, и профессора аль-Кубайси из Американского университета в Бейруте, который, под прикрытием своих лекционных поездок в Европу, регулярно доставлял в Париж взрывчатку и другие "высоко интеллектуальные" материалы.

Осенью 1972 года, через пять дней после мюнхенской трагедии и через три дня после разрешения действовать, полученного от Голды Меир, Замир и Ярив окончательно согласовали список "кандидатов". Кандидатов на что? На уничтожение, разумеется. На ликвидацию.

Не было ли это превышением полномочий разведки? Не было ли это преступлением против закона? Имеет ли право правительство суверенной страны санкционировать "охоту за людьми"? Не противоречит ли это нормам государства, объявляющего себя демократическим?

Вопросы эти обсуждались не только в израильском руководстве. Они сотни раз ставились впоследствии в западной печати, поднимались в дискуссиях, снова и снова предъявлялись израильским представителям за рубежом. Левоевропейские радикальные круги отвечали на них однозначно. В лучшем случае они проводили знак равенства между "группами уничтожения" Мосада и террористами: и те, и другие убивают, пользуясь одними и теми же методами.

Методы действительно были сходны. Израильтяне первыми взяли на вооружение изобретенный еще в 1910 году неким шотландским инженером "почтовый пакет со взрывчаткой". С помощью таких пакетов были ликвидированы в 1956 году организаторы федаинских диверсий полковники Хафез и Мустафа. Позднее этот способ использовал Харэль, когда пытался вынудить немецких ученых отказаться от участия в египетской ракетной программе. В конце 60-х годов террористы перехватили этот прием у израильтян, и с тех пор Мосад отказался от "взрывающейся почты". Но палестинцы от него не отказались — 19 сентября 1972 года они использовали его для убийства израильского дипломата в Лондоне.

Мосад однако перешел к иной технике, впервые опробованной в Бейруте, против Хассана Канафани, — к дистанционно управляемым бомбам. Разумеется, палестинцы быстро освоили и этот прием. Они стали применять его широко и неразборчиво, в основ-

ном — против гражданских целей и мирных людей, выдавая их затем за "военные объекты" и "израильских агентов".

И все время на вооружении обеих сторон оставался старый, испытанный метод уничтожения — выстрел из револьвера.

Да, методы были одинаковые. Разными — принципиально разными — были мотивы. Террористы нападали. Израиль защищался. И все это происходило на глазах равнодушного мира, который полагал, что "его это не касается". А когда "касалось" — как в случае захвата западных авиалайнеров — винил, прежде всего, Израиль. За "неуступчивость". За "излишнюю жестокость". Мало ли в чем можно обвинить евреев. Обвиняли же их позже в нефтяном кризисе.

Конечно, можно сказать, что палестинцы вели "национально-освободительную борьбу". И так говорили. Особенно в советской, арабской и левой европейской прессе. Эта словесная дымовая завеса сбивала многих с толку. Она заслоняла тот простой и очевидный факт, что "борцы за свободу" почему-то упорно избирали своими мишенями мирных людей — женщин, стариков, туристов, просто прохожих. Детей в Маалоте. Паломников в Луде. Здравый смысл не мог найти никаких оправданий этим бессмысленным убийствам. Но газеты продолжали называть обыкновенных убийц "революционными борцами за освобождение Палестины".

В этих "объяснениях" была изрядная доля лицемерия и цинизма. Например, знаменитая британская радиовещательная корпорация Би-Би-Си, всегда и охотно декларировавшая свою "независимость", вменяла в обязанность всем своим новым сотрудникам изучить специальный "Словарь радиожурналиста корпорации", в котором указывалось, что ирландских боевиков, убивающих английских граждан, следует именовать "террористами", а вот палестинских убийц из Маалота — "партизанами". "Герильей". Я видел этот словарь, я сам его читал — он оставался в силе даже в конце 70-х годов.

Мир был равнодушен, — как и в дни еврейской Катастрофы. И опять, как в те дни, евреи чувствовали себя защищающими свою жизнь в одиночку. Их преследовали и убивали на Ближнем Востоке, в Европе и в самом Израиле, с дьявольской изобретательностью и кровавой изощренностью, без разбора и сожаления, с садистским удовольствием и торжествующим злорадством. Казалось, что вернулись времена гетто и погромов.

Могут сказать: "Вы преувеличиваете! С одной стороны, целое

государство, как-никак, с армией, полицией, разведкой, а с другой — банда плохо вооруженных террористов...” Но человеческая психология не принимает такие аргументы. Люди воспринимают ситуацию применительно к себе, своим близким, своим детям. Они испытывают унижение, отчаяние, страх, бессилие, и им нет дела до того, что убийцы немногочисленны, а Армия обороны Израиля насчитывает десятки тысяч человек. На счету трех (!) японцев в Луде было 25 убитых и 78 раненых!

Недавно, в одном из русскоязычных израильских журналов, мне довелось прочесть психологическое свидетельство, в какой-то степени отражающее то унижительное состояние отчаяния и страха, которое тогда владело — если не умами израильтян, то их сердцами. Автор, телекомментатор и радиожурналист, описывал свои ощущения после нескольких (подряд) убийств, совершенных израильскими арабами в Афуле и других подобных местах в разгар 85-го года. Он писал что-то вроде: “В своей собственной стране мы ощущаем себя как загнанные жертвы. Нас подстерегают за углом, нас отстреливают, как бешеных собак, мы боимся высунуть нос из своих домов. Когда я сидел со своими детьми в лесу и поблизости медленно прошел белый арабский “Мерседес”, у меня по спине поползли мурашки...”

Ни один народ не может жить в таком унижении и страхе. Он перестает “звучать гордо”. Чтобы не сломаться окончательно, он должен распрямиться. Вернуть себе веру в то, что преступники могут быть найдены, опознаны и наказаны. В те годы западный мир еще не понимал той жгучей жажды возмездия, которая владела тогда буквально всеми израильтянами — от рядовых граждан до премьер-министра. Сегодня, зализывая собственные раны, западный мир это уже, кажется понимает. Впрочем, многие на Западе и сейчас еще трогательно — или трагически — наивны. Они демонстрируют на улицах своих столиц под лозунгами: “Рейган, руки прочь от ливийского народа!”

Так обстояло дело с моральной стороной вопроса. Практическая же его сторона была куда более очевидна. Государство имеет не только право, но и долг защищаться от банды взбесившихся преступников. Демократическое государство — тем более. Ибо эта банда — сознательно и бессознательно — работала и работает и сейчас на подрыв демократии в мире. Защищая себя, Израиль защищал демократический Запад. Сегодня, оглядываясь назад, можно с уверенностью сказать, что если бы не отчаянная, в одиноч-

ку, сцепив зубы, борьба израильтян с международным терроризмом, успехи этого терроризма были бы ныне гораздо серьезнее.

А что касается методов — что ж, они диктуются обстоятельствами. В данном случае их выбрал сам противник. Террористы создали высоко профессиональную, тщательно законспирированную международную сеть убийства и уничтожения, на счету которой к концу 1972 года числилось уже несколько тысяч (!) жертв. Эту сеть необходимо было любой ценой ликвидировать.*

Оставались технические детали. Наметить подлежащие ликвидации "узлы", создать "группы уничтожения", разработать план каждой "операции" — и начать "охотничий сезон".

Много лет спустя Авнер, израильский "шпион, который пришел с холода", бывший руководитель одной из таких групп, рассказал об этой "Великой охоте" американскому журналисту Ионасу. Если вы помните, с этого мы начали весь наш рассказ. С этого мы его теперь продолжим.

Человек, в распоряжение которого Замир на следующий день откомандировал Авнера, был высокий, худой, профессорского вида мужчина лет сорока, с ранней сединой в густой шевелюре. Губы его были изломаны трагической гримасой, но в глазах играло насмешливое веселье.

— Ты можешь называть меня Эфраим,— сказал он.— Я буду твоим куратором. У тебя, наверно, сотни вопросов, я даже не знаю, смогу ли на все ответить. Поэтому не начать ли нам с кофе?

Они начали с кофе в небольшом кафе на тель-авивской набережной.

— Поговорим о деле,— сказал Эфраим, откинувшись на стуле.— Мы создаем несколько ударных групп для действий в Европе. Их задача — разрушить террористическую сеть. Идея тут простая. В

**) В некоторых книгах об израильской разведке можно прочесть, будто Мосад руководствовался исключительно жаждой мести: отсюда, мол, и название операции — "Возмездие", и количество намеченных целей — по числу погибших в Мюнхене израильтянских спортсменов. Жажда справедливого возмездия, действительно, была существенным — но не главным мотивом: по разным данным, число убитых в "Великой охоте" ведущих террористов варьирует от 11-ти до 15-ти, так что принцип "око за око", при всей его журналистской эффектности, был в данном случае подчинен весьма прозаическим военно-разведывательным соображениям.*

чем сила террористов? Они не составляют регулярную армию, их невозможно атаковать и разбить в открытом сражении. В чем слабость? В том же самом...

Авнер подумал, что у Эфраима не только вид профессорский. Он подходил к делу издалека, основательно, словно читал лекцию студентам.

— Их сеть,— продолжал Эфраим,— держится на нескольких центральных узлах и соединяющих эти узлы линиях связи и доставки. Удали один узел — ты нарушишь всю сеть. Убери одного узлового человека, и ты надолго сорвешь им игру.

— Появится другой...— заметил Авнер.

— Это требует времени. Профессиональный террорист-организатор — это умный и искусный фанатик. Большинство людей не фанатики. И большинство фанатиков не умны и не искусны. Чтобы подготовить профессионального организатора, нужны годы. Вдобавок, если появится новый, ему придется налаживать нарушенную сеть. А для этого ему придется открыться. Тогда мы сможем убрать и его... И вообще, ты не думал о ногтях?

— О каких ногтях? — растерянно переспросил Авнер.

— Ну, ногти ведь тоже отрастают. Но это же не причина, чтобы их не подстригать...

Авнер пожал плечами. Это соображение ему не приходило в голову.

— Теперь — о группе. Вас будет пятеро...

— Специалист по взрывчатке,— задумчиво начал перечислять Авнер,— специалист по документам, один по связи, я и еще один, который будет стрелять... Так?

— Что значит — "который будет стрелять"? — удивился Эфраим.

— А ты сам не умеешь стрелять, что ли? Тебя в армии не научили стрелять?

Авнер сконфуженно молчал.

— Мы учим людей стрелять, — безжалостно продолжал Эфраим.

— Мы учим их пользоваться автоматом, подкладывать бомбы, орудовать ножом. Но мы никого не учим убивать. У нас нет специалистов по убийству.

Авнер опустил голову. Только теперь он до конца осознал, что ему предстоит.

— Я понимаю, это нелегко, — опять заговорил Эфраим. — Не думай, будто я не понимаю. Но я вот что хотел тебе сказать... Ты помнишь Гутфрейнда, тренера по борьбе, которого они убили в

Мюнхене? Здоровый такой мужик... я с ним был знаком. У него были две дочери. В 67-м он спас в Синае дюжину египетских солдат, которые умирали от жажды. В Мюнхене они всадили в него четыре пули. А перед этим связали, понимаешь? Представь себе, что ты нашел человека, который это сделал. Скажем, в Амстердаме. Он сидит в кафе и пьет кофе, а ты стоишь у окна и у тебя в руках револьвер. Понимаешь, я не могу приказать тебе выстрелить. Никто не может, верно? Я не виню тебя. У тебя трясутся руки, ты не в состоянии. Ну, что ж, нет — значит нет. Только не говори мне, что для этого надо быть "специалистом по убийству". Если ты можешь это сделать, если ты сознаешь, что это нужно сделать, тебе не нужна никакая тренировка.

— Я понял, — сказал Авнер, впервые поднимая голову и глядя ему в лицо. — Я думаю, что я смогу.

— Я знаю, что ты сможешь, — улыбнулся Эфраим. — Я ни минуты в этом не сомневался. Иначе ты бы здесь не сидел...

20 сентября Авнер вылетел в Женеву. Он снял комнату в отеле "Дю Миди", заказал в гараже место для своей будущей машины и открыл в банке два счета. На один он положил чисто номинальную сумму, на другой — израильское банковское распоряжение, открывавшее ему кредит на четверть миллиона долларов. С этого счета он немедленно снял пятьдесят тысяч наличными и закрыл их в заказанном для этого личном сейфе. Первый счет был для его зарплаты и личных расходов, второй — для расходов на операции группы. Никто не мог заранее предсказать, во что выльются оперативные расходы. Сколько стоит убить человека? Кажется, что для этого достаточно девяти граммов свинца. Но иногда к ним нужно добавить десятки тысяч долларов — на информаторов, на разъезды, на машины, на документы, на слежку...

"Меня не устраивает просто убийство, — говорил Эфраим на встрече с группой. — Убийство одного террориста должно запугать других. Если вы просто стреляете в человека, когда он открыт, доступен, не защищен, этого недостаточно. Другие скажут: э, Ахмед был дурак, он был неосторожен, израильцы его хлопнули, но я — я не такой, я буду осторожен, меня не поймаешь... Но если вы ликвидируете своего человека в таком месте, где он ощущает себя в безопасности, в неожиданном месте, в необычных обстоятельствах — это другое дело. Тогда другие скажут: смотри, у этих евреев длинная рука! Если уж они сумели укокошить Ах-

меда в таком месте, таким способом, то они, пожалуй, могут добраться и до меня...”

Кажется, чего проще: идет по улице намеченный человек; подойди к нему сзади и выстрели в него. Выстрели дважды для верности. И все.

А как узнать, что это — именно тот человек. Как подойти к нему незамеченным? Как обойтись без лишних свидетелей? Как покинуть место убийства, не оставив следов? И вообще, начнем с начала — как разыскать нужного человека в огромном городе? Ведь не стоит же он на центральной площади с плакатом: ”Я Ахмед. Ты — Авнер?”

Это значит: нужна предварительная слежка. Знакомство с маршрутами. Изучение привычек. Анализ всех возможных ситуаций. Выбор самых оптимальных. Разработка наилучшего варианта. Обеспечение транспорта. Выяснение путей отхода. Расстановка в нужных местах своих людей и запасных машин.

На все это нужно множество людей, времени — и денег. Деньги у Авнера теперь были. Людей он должен был найти сам. Времени у него не было.

И вдобавок, были еще эти бесконечные ограничения, которые Эфраим терпеливо вдалбливал в головы членам авнеровской группы. ”Хорошо, допустим, вы все подготовили, все предусмотрели. Вы вышли на цель. И в последнюю минуту рядом с ней оказываются посторонние люди. Вопрос: что делать? Ответ: ничего! Я хочу, чтобы вы меня хорошо поняли. Ответ: ничего. Операция отменяется. Ликвидация не состоится. Запомните: вы не террористы, которые из убийства мирных людей делают театральное представление. Вы даже не пилоты, которые должны отбомбиться — и ничего не поделаешь, если при этом погибнет несколько лишних людей. Ваша операция должна быть чистой. Она должна быть хирургически безупречной: один выстрел — один маньяк, садист или убийца детей. Если при этом погибнут невинные люди, все ваше дело пойдет насмарку. Запомните это. Если вы увидите рядом с ним его девушку — не трогайте его. Если рядом с ним стоит хозяйка лавочки, где он покупает продукты, — не трогайте его. Даже если вы готовились несколько месяцев и сегодня ваш величайший шанс, но рядом с ним оказался случайный прохожий — не трогайте его. Вы найдете его завтра. А если не его, так другого...”

”А что, если этот случайный прохожий вытащит револьвер”? — спросил кто-то из группы.

"Тогда он уже не случайный прохожий, не так ли?" — И Эфраим улыбнулся своей трагической улыбкой. — "Есть еще вопросы?"

У Авнера был вопрос. Последний.

"Вот этот список, который ты нам дал... Мы — единственная группа, которой поручено всех их ликвидировать?"

Эфраим пристально посмотрел на него.

"На этот вопрос я не уполномочен отвечать, — сказал он после небольшой паузы. — Впрочем, я и не знаю ответа на него".

Через три недели после мюнхенской трагедии "группы уничтожения", подготовленные Замиром и Яривом, были готовы к открытию "охотничьего сезона".

(окончание следует)

Р. Блехман (псевдоним) — журналист, постоянный автор "22"; живет в Тель-Авиве.

ZESZYTY LITERACKIE

Nr 14 (WIOSNA 1986)

W numerze 14 (WIOSNA 1986): PROZA I POEZJA: STANISŁAW BARAŃCZAK, Dziewięć wierszy; ADAM ZAGAJEWSKI, Tajne przemówienie przewodniczącego; EWA LIPSKA, Do Karola Dedeciusa; PIOTR MITZNER, List z podróży. **SPOJRZENIA:** ADAM MICHNIK, Książę i żebrak. **EUROPA ŚRODKA:** J.Z., Listy troiste; MARYNA CWIETAJEWA, BORYS PASTERNAK, RAINER MARIA RILKE, Listy (1926). **LISTY Z PARYŻA:** WOJCIECH KAPIŃSKI, Nicola Chiaromonte i jego „Notesy”. **PREZENTACJE:** NICOLA CHIAROMONTE, „Notesy”; JAMES MERRILL, Poranki w operze. **O KSIĄŻKACH:** RENATA GORCZYŃSKA, Szkic wieczności; JAN ZIELIŃSKI, Ogrodnik wśród barbarzyńców **NOTATKI. LISTY DO REDAKCJI. NOWE PUBLIKACJE. NOTY O AUTORACH.**

Numer 14 Zeszytów Literackich ukazał się w kwietniu 1986.
Do nabycia w redakcji (CAHIERS LITTÉRAIRES, 44, rue Tiquetonne
75002 PARIS).

Cena pojedynczego egzemplarza wraz z przesyłką 50 FF
(6,50 \$USA); pocztą lotniczą 56 FF (7,5 \$USA)

Prenumerata roczna — 170 FF (22 \$USA); pocztą lotniczą 210 FF
(27,50 \$USA)

ИЕРУСАЛИМСКИЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ

15 лет назад, в мае 1971 года, состоялся т.н. "второй ленинградский процесс" по делу сионистской организации Ленинграда. Ему предшествовал знаменитый "первый ленинградский", или "самолетный" процесс, а за ним последовали антиеврейские процессы в Кишиневе и Риге. Эти групповые процессы открыли — и во многом породили — период массового выезда из СССР. Сейчас, 15 лет спустя, этот выезд насильственно прекращен и ситуация в еврейском движении качественно изменилась. На повестке дня — поиски путей борьбы за возобновление массовой репатриации. Думается, публикация приуроченной к 15-й годовщине ленинградского процесса серии интервью с давними и нынешними активистами еврейского движения, сопоставляющими тогдашнюю и сегодняшнюю ситуации, может помочь в таких поисках.

Виктор Богуславский

У ИСТОКОВ

— В начале 70-х годов в России существовал Координационный Комитет, который руководил деятельностью всех — или почти всех — молодых сионистов. Что представлял собой Комитет?

— Строго говоря, органа с таким названием не было. Сие громкое наименование относилось к периодическим встречам представителей еврейских групп разных городов. Чуть не сказал "сионистских групп", но мы этим термином практически не пользовались. Вот и у упомянутого Координационного Комитета не было в названии этого прилагательного. Движение тогда только зарождалось, точнее было бы сказать — только еще само себя придумывало. И громкое название полуслучайных встреч пяти-шести человек из разных городов тоже было элементом такого самопридумывания.

Движение придумывало себя, но не было в состоянии придумать свои цели. Выезд, алия виделись абсолютно нереальными, неосуществимыми. Посему именовать себя сионистами мы никак всерьез не могли. Скорее, нас можно было бы назвать "любителями Сиона", Ховевей Цион...

— Эти периодические встречи, этот "Координационный Комитет", появились, стало быть, уже на фоне сложившихся еврейских групп?

— В Ленинграде, в Москве, в Риге еврейские группы сложились уже в середине 60-х годов. Но они тоже не были первыми. Мне представляется, что еврейское движение существовало в России всегда, даже в годы самых суровых репрессий. Уже образование Израиля, в 1948 году, вызвало массовые аресты поднявшихся тогда российских евреев — это известно. Я думаю, что именно эта неистребимость еврейского движения и породила в конце 1952 года чудовищную подготовку "окончательного решения", начавшуюся с "дела врачей". Мне было тогда 13 лет, но я по сей день помню ту жуткую атмосферу тотального погрома — и ни звука протеста: евреи были скованы смертельным ужасом. Кто мог представить себе, что через 15 лет появятся коллективные письма правительству Израиля, что через 18 лет евреи будут устраивать голодовки в Президиуме Верховного совета СССР, а через 20 лет западные корреспонденты будут приходить к евреям на дом, чтобы участвовать в пресс-конференции на тему: "Отпусти народ мой"?!

Когда сегодня из России приезжают взрослые, сорока-пятидесятилетние люди и начинают говорить о "невероятном росте антисемитизма", мне это кажется странным. Они что — разучились сравнивать, разучились помнить? Забыли 1953 год? Говорят, рожавшая женщина не помнит родовых мук — так "природа захотела". Чтобы не страшно было рожать снова. А что мы такого родили в той боли, чтобы ее не помнить?

— А потом, после Сталина, наступило затишье?

— В более благополучные годы "оттепели" еврейские группы начали появляться снова, об этом говорят тогдашние судебные процессы. Борис Подольский и Тина Бродецкая могли бы подробнее рассказать об этом периоде. Таких процессов было много, может быть, десятки, но с информацией в те годы было плохо. Только стали появляться коротковолновые приемники, Израиль вещал на Россию всего два раза в неделю по 15 минут, и самым трогательным в этих передачах были позывные, все остальное практически не удавалось услышать — глушили.

— Но это все были разрозненные группы. Когда же появились начатки массового движения?

— Я думаю, обстановка резко изменилась в 1967 году. И дело было не столько в израильской победе в Шестидневной войне, сколько в реакции на нее российской власти и общественного

мнения. Реакция властей, то есть официальной пропаганды, была совершенно истеричной. Волна неудержимой "поливыв" на крошечный Израиль, заполнившей все каналы радио, телевидения и прессы, была абсолютно несоизмерима с масштабами глобальной политики великой державы. Бесконечные вопли о коварстве израильских агрессоров и мощи всемирного еврейского заговора, казалось, должны были подготовить новый еврейский погром в общегосударственных масштабах. Должны были — но не подготовили. Дело в том, что простому русскому человеку очень импонировала победа Израиля. Во-первых, он, простой русский человек, любит победителей и глубоко убежден, что победитель должен быть жесток, свиреп и беспощаден. А посему все бредни официальной пропаганды об израильских "зверствах" он воспринимал с благодушной усмешкой. А во-вторых, он, простой русский человек, — расист. Арабы для него — "черножопые". Евреи же в этом конфликте были для него свои, "наши". И евреи России в результате "высоко заторчали". Русский интерес к Израилю и к еврейским делам стимулировал затаенный, задавленный еврейский трепет. До этого советский еврей привык отчасти мириться со своим еврейством, отчасти его скрывать — в общем, воспринимать его как "инвалидность пятого пункта", как это называлось. И вдруг на него обрушилась такой силы атака непрерывной, тотальной пропаганды, к тому же несправедливой — ведь, в конце концов, маленький этот Израиль все-таки победил! — такой силы атака, что у него, у советского еврея, появился интерес к этому самому Израилю. А симпатии русских еще больше стимулировали такой интерес...

— И на этом фоне началась история вашей организации? Что она собой представляла?

— Ну, ленинградская организация была, пожалуй, самой конспиративной и самой организованной из всех. В других городах это было попроще. В Москве, например, инициаторами были люди, уже отсидевшие в лагерях, как Свечинский, Хавкин, Меир Гельфонд. За Меиром была вся конспиративная деятельность, за Хавкиным — вся публичная, демонстративная, а Свечинский, в основном, занимался связями с внешним миром и некоторой координацией всех остальных дел, в том числе координацией связи с другими городами. При всем этом они как-то уживались, у них не было таких четко определенных функций, устава, как в Ленин-

граде, обязательства решать все вопросы так или иначе. В Риге вообще ситуация была иная, там они сразу же заявили, что у них вопрос о "пробуждении национального сознания" вообще не стоит. Сознание у них есть, а вопроса нету. Они охотно занимались печатанием и распространением литературы, но не для "пробуждения", а просто потому, что это им доставляло удовольствие. Они ждали выезда. У них там был выезд, после Шестидневной войны, хотя и небольшой, они помнили также выезд евреев 50-х годов, через Польшу, у многих были родственники в Израиле, в общем — там была совсем иная ситуация.

— А чем же занималась ваша, ленинградская организация?

— Вот этим самым "пробуждением национального самосознания"... В основном, с помощью распространения литературы, переводов, организации еврейских праздников, кружков. С литературой тогда было хуже всего. Обсуждали, что у кого есть, кто что может достать, кто может заняться размножением и распространением. Тиражи были небольшие. Тираж в сотню экземпляров считался фантастическим. Изготовить его, в принципе, было не трудно, проблема была распространить. Мы радовались, когда такие тиражи расходились. Это означало, что у нашего "движения" есть потенциал.

Вообще-то в потенциал верилось слабо. Собственно "функционары", то есть наша организация, несколько десятков человек, и человек пять-шесть знакомых вокруг каждого — это и было поначалу все "движение". Но одно дело — "функционарство", а другое — еврейский душевный порыв. Функционарство, я бы сказал, даже снижает этот порыв: ты уже занят, ты действуешь, ты при деле. А настоящее массовое движение — за выезд, за алию — возникло за счет людей, у которых был этот порыв. Не за счет "функционаров", а за счет тех самых мальчиков и девочек, которые вокруг них крутились и понятия не имели о существовании конспиративного центра. Просто, почувствовав некую тягу, они вдруг осознали, что готовы на такой акт, как отъезд. Акт, надо сказать, фантастический. Ведь никто тогда этот отъезд не представлял себе как конкретный, бытовой, практический шаг. Да и сам Израиль воспринимался тогда фантастически, нереально. Так что это было что-то вроде прыжка в неизвестное.

— Я хотел бы вернуться на несколько лет назад. Организация, ты говоришь, возникла уже в конце 60-х годов. Что представляли собой эти первые, как ты их называешь, "функционары"?

— Сегодня почти все они находятся в Израиле. Каждый может ответить сам за себя. Поэтому я обрисую только в самых общих чертах. Группа функционеров была, в среднем, старше, чем ее окружение. Это были люди, перевалившие за 30, у всех у них пик советского антисемитизма 1948—53 годов пришелся на период созревания, заострив чувствительность в этом вопросе. Все — люди с высшим образованием (Бутман — даже с двумя). В общем, обыкновенные ленинградские евреи, отличительной чертой которых было, разве что, полное отсутствие карьеризма, столь принятого в кругах советско-еврейской интеллигенции. Поэтому-то они все свободное время отдавали еврейским делам.

— *Более модными были, кажется, дела "демократические"?*

— Нет, через увлечение демократическим движением, общим диссидентством никто из этих людей не прошел. Думаю, именно потому, что в молодости они прошли через шокотерапию антисемитизма, так что чисто "российские" дела их особенно не занимали. Некоторая симпатия и интерес, естественно, были у многих, но такие интересы настоятельно требовалось отделять от собственно еврейских. Это называлось у нас "соблюдением кошера"...

— *Что же привело этих людей к Израилю? Как произошло их "еврейское становление"?*

— А по-разному. Кое-кто случайно оказался в связи с людьми из прежних сионистских центров. В Ленинграде еще оставалось несколько стариков, которые сохранили именно сионистскую, а не просто еврейскую вдохновенность. В целом евреи 60-х годов очень смутно представляли себе сионизм. Советская пропаганда тоже тогда о нем не кричала. Я помню, что когда в детстве услышал слово "сионизм" и спросил отца (который происходил из бедной кременчугской еврейской семьи), что это такое, он мне ответил: "Это фантазии разных богатых евреев, которым нечего было делать..." А когда я спросил о том же его друга, который, напротив, происходил из богатой кременчугской еврейской семьи, тот сказал: "Сионисты? Это были голодранцы, которые не умели работать и поэтому занимались политической болтовней..."

Вот такое представление о сионизме было передано нашему поколению. При всем при этом, однако, какая-то эстафета, какая-то тоненькая струйка все-таки сохранялась. Были люди, которые еще в 50-е годы искали связей с израильским посольством. Но что могло тогда предложить израильское посольство? Журнал "Шалом" и еще более тощенький журнальчик "Ариэль", вот и все. Иногда

нам удавалось разыскать какую-нибудь старушку, у которой случайно завалялись ивритские тексты начала века.

— Значит, кроме общего интереса к Израилю у вас был и интерес к ивриту, к национальным "корням"?

— Был интерес. Создавались кружки иврита, кружки еврейской истории. В те времена можно было повесить на доске горсправки объявление: "Даю уроки иврита"... Другое дело, что уровень преподавания был конечно низок. И сами кружки устраивались, честно говоря, не столько для изучения иврита, сколько для общения желающих его изучать. В самом изучении не уходили дальше двух-трех сотен слов. И не потому, что не было желания. Просто не выросло еще поколение учителей, не было учебников. Я помню, как мы мучились, отснимая фотоспособом учебник "Элеф милим", пока Изя Шмерлер (ныне Шамир) не придумал простой, но гениальный ход: за три бутылки водки отпечатал в новосибирской типографии несколько сот экземпляров, потом "охмурил" стюардессу Аэрофлота и лично доставил нам в Ленинград два чемодана шикарных, типографским способом отпечатанных книг...

— А интерес к традиции, к религии тоже был?

— Нет, эти слова, в их прямом смысле, даже не употреблялись. Все без исключения функционеры, все их окружение были людьми, весьма далекими не только от религии, но даже просто от еврейской традиции. И символика еврейских праздников, которые мы тщательно отмечали, привлекая к этому делу как можно больше евреев, была символикой национального, а не религиозного возрождения. Я помню первое столкновение с "вернувшимися в лоно" религии. Это выглядело совершенно анекдотически. Я тогда организовывал в Ленинграде встречу с представителями Риги и Москвы для совместного издания нашего первого самиздатского журнала "Итон". На конспиративной квартире, где должны были происходить "заседания" и где гости должны были прожить эти несколько дней, я приготовил запасы еды — консервы, сыр—колбаса, хлеб—масло. Гостей было двое — Карл Малкин из Москвы и Иосиф Менделевич из Риги. Доставив их в квартиру и выставив на стол еду, я зачем-то вышел в соседнюю комнату, а когда вернулся, передо мной была немая, но изумительная сцена! Эти двое стояли под лампочкой, сомкнувшись лбами (оба были страшно близоруки) и держа в руках рыбку-шпроту, тщательно ее рассматривали. В ответ на мое недоумение они сообщили, что пытаются

определить, есть ли на шпроте чешуя. То есть, кошерна ли она. Можно ли представить себе еврейского мальчика, который не был бы знаком со шпротой с раннего детства? Сей чешуйчатый анализ явно свидетельствовал о свежести их новообращения. Я им посоветовал проверить, не раздвоены ли у шпроты копыта, а Менделевич на это огрызнулся, что если мы когда-нибудь окажемся в Стране, то будем по разные стороны баррикад. Сегодня мы оба в Стране, но к счастью тех баррикад пока вроде нету...

Однако в общем такие "возвращенцы в религию" были в те годы весьма малочисленны, и не только в Ленинграде, но и в той же Риге, и в Москве. Мы в достаточной мере ощущали себя евреями, не испытывая никакой нужды в каких-либо "курсах повышения" своей еврейской квалификации. Да и сам пульс тех дней был так напряжен, так насыщены были те дни конкретными событиями, что никак не мог возникнуть настрой для размышлений о трансцендентных сторонах бытия.

— Что же объединяло всю эту массу — только чувство израильского патриотизма?

— Я бы не сказал даже, что это был израильский патриотизм. Это был, скорее, некий поиск душевного равновесия. Когда на тебя обрушивается тотальный шквал антисемитской пропаганды, возникает необходимость внутренне что-то этому противопоставить. И по мере нарастания этого шквала нарастало такое вот внутреннее сопротивление, внутренняя симпатия к самому еврейству и к Израилю. Причем, я думаю, что больше именно к Израилю. Если бы нам тогда сказали, что Израиль вообще отошел от иудаизма, нет такового, в наших глазах он ничего бы не потерял.

— То, что мы слышим сегодня от еврейских активистов из России — в основном, религиозных — это прежде всего связь именно с еврейством, с традицией, с иудаизмом, а не с Израилем, как таковым. Это прямо противоположная картина.

— Я думаю, сегодняшнее религиозное возрождение среди молодых советских евреев — явление, в известной мере, действительно противоположное тому, что было в 70-е годы. Сионистская направленность этого возрождения мне кажется сомнительной. Ведь сионизм изначально относится к еврейской традиции довольно прохладно. Более того, в нем, я бы сказал, был даже известный элемент "антиеврейства". Если под еврейством понимать только традицию, галутный образ жизни. Сионизм считал, что все это нужно сломать...

— Ну, и как же развивалась эта ваша деятельность?

— Круг людей, которых мы вовлекали, становился постепенно более широким. Стали проводиться целые сборища, на которые приглашались и все эти "мальчики и девочки", и просто случайные люди, и даже русские друзья. Движение — если это называть "движением" — из подпольного кружка стало превращаться в массовое, открытое, даже я бы сказал, "салонное" явление. Мне-то в этом виделся как раз наш основной успех. Я не верил, что у конспирации есть будущее. К тому времени, к началу 70-х годов, мы переросли конспиративные рамки. Уже было достаточно мальчиков и девочек, готовых в свободное время попечатаать учебники, распространить еврейский самиздат, для этого не нужна была узкая конспиративная группа. Когда Бутман затеял свой "поиск кандидатов" для похищения самолета, он эту акцию предлагал десяткам людей. Если в нашем окружении было к тому времени несколько десятков людей, которым можно было предложить участие в такой исключительной акции, значит, выбирать их можно было, по крайней мере, уже среди нескольких сотен.

Конспирацию пора было кончать. Она становилась бессмысленной. Хотя в возможность выезда, во всяком случае — при нашей жизни, тогда не верил никто, зато в возможность загреметь в лагерь верили все. Но считали все-таки, что главная задача — как можно дольше продержаться. Я помню такое любопытное совпадение: 14 июня 1970 года в Ленинград приехали "самолетчики" из Риги и в тот же день съехались на очередной "съезд" Координационного Комитета активисты разных городов, ничего не зная о "самолетной акции". И вот в ту ночь у меня сидели Виля Свечинский из Москвы, Фима Спиваковский из Харькова, ребята из Риги, конечно, ленинградцы — и почти всю ночь мы обсуждали: смотри, мы, можно сказать, совсем обнаглели, мы уже почти в открытую прем, забыли о всякой конспирации — а они нас не сажают. Что же это происходит, братцы?

Ну, на завтра посадили...

— И это был конец "конспиративного этапа" движения и начало "массового"?

— Я бы сказал так: в России всякое движение мысли начинается — так было, по крайней мере, последние 200 лет — с подпольной организации. В России это неизбежная стадия самосознания любого общественного процесса. Почему так происходит — вопрос сложный. Вопрос, как любили выпендриваться в те годы, подлежащий

изучению в экзистенциальном и бихевиористском плане. А проще говоря — в плане мировосприятия и поведения: человека и власти (всегда сильной и тоталитарной), человека с себе подобными в силовом поле этой власти. Во всяком случае, это факт — в начале было слово, и слово это было конспиративно, и слово это было "организация". И у этой стадии общественного движения, стадии подпольной и организованной, есть любопытная особенность — весьма постоянный во все времена период полураспада. Именно "полу-", а не полного распада. Это период, в течение которого, как правило, возникают вполне легальные, открытые течения, отвергающие методы своих предшественников и меняющие общественную атмосферу настолько, что подпольная стадия начинает выглядеть странной и ненужной. Период этот в российских делах на удивление постоянен — он составляет полтора десятка лет.

— *Например?*

— Пожалуйста, декабристы — подпольное общество, заговор, восстание — 1825 год. А "люди 40-х годов" уже преспокойно обсуждают все эти проблемы на всех уровнях, от студенческих кружков до светских салонов, без всякой конспирации, заговоров и тайных обществ. Народовольцы — тайные общества, жуткая конспирация, бомбы — 90-е годы. А в 1905 году "вся страна" преспокойно обсуждает достоинства и недостатки манифеста, реформ и прочего. Имела место, правда, дурацкая попытка бунта (Московское вооруженное восстание), но это относилось исключительно к личным амбициям большевистских лидеров, а не к общественным устремлениям. Такое всегда бывает. У нас, в ленинградской организации, такие личные амбиции тоже сыграли свою роль.

Я думаю, это явление "полураспада" делает понятным и столь странный, на первый взгляд, и столь смущающий по сию пору души русских правдолюбцев поворот в мировоззрении Достоевского. Он был членом подпольной организации, счастливо избежал в последний момент казни, провел более десяти лет на каторге и в ссылке, вернулся в столицу, занялся сочинительством и огляделся вокруг. Прошли те самые полтора десятка лет. И он увидел, что все те идеи, что обсуждались в его "тайном обществе", давно стали общим достоянием здравомыслящей части общества. И люто ненавистна, я думаю, стала ему его подпольная "бесовщина", которой он отдал огромную часть своей жизни...

— *Увы, конспирация неотделима от "бесовщины". Я видел это в еврейском движении в 70-е годы, уже после ленинградских процессов.*

— И заметь — когда сравниваешь подпольщину с открытым движением, сравнение всегда не в пользу подполья. Прежде всего, отбор людей в подполье происходит не столько по личным достоинствам, сколько именно по склонности к подпольной деятельности. Поэтому открытые движения всегда ярче блещут талантами. Во-вторых, взаимоотношения между людьми, связанными круговой порукой конспиративного "братства", весьма далеки от братских, они бесконечно хуже нормальных отношений, ибо естественные чувства симпатии и антипатии, дружбы и вражды здесь подчинены, прежде всего, самой конспирации и некоему надуманному общему долгу. Общность же этого долга подавляет всякую иную общность либо разобщенность.

— *Короче, как сказал марктовеновский нищий: мне не повезло — я вынужден протягивать руку к людям, которым я бы ни за что не подал руки...*

— Теперь — что произошло в наше время? Все эти российские дела, знакомые нам по 19-му веку, вернулись на круги своя после сорокалетнего перерыва в середине 50-х годов. В широких, прежде всего — молодежных кругах ожили движения мысли и возникли конспиративные организации. Это, во-первых, — движение общедемократическое, в очень значительной мере состоявшее из евреев, затем — движение русского национального возрождения, в значительной мере юдофобское, но и там тоже, как ни парадоксально, случаются евреи — и движение еврейского возрождения.* И обрати внимание: все эти три движения "русское", "демократическое" и "еврейское", начавшиеся в середине 50-х годов как движения подпольные, пришли к 1970 году, через те самые полтора десятилетия, к завершению "подпольного полураспада", что и было обозначено судебными процессами тех лет. Эти процессы, разгромив конспиративные организации, убедили их последователей покончить с подпольными методами и перейти к открытым формам.

— *Какие именно процессы ты имеешь в виду?*

* Кстати, термин "возрождение" в данном случае никакого отношения к французскому "Ренессансу" не имеет. Ренессанс, на самом деле, ничего и не возрождал. А то, что мы называем "возрождением", точнее всего соответствует итальянскому "Риссорджименто", обозначившему эпоху национально-духовного подъема итальянской нации. На иврите аналогичное слово служит названием партии "Тхия".

— В русском движении переломным моментом был процесс Огурцова и его группы ВСХСОН в Ленинграде в конце 60-х годов и процесс Осипова и его журнала "Вече" в Москве в начале 70-х. То, что эти процессы несколько расходятся во времени, характеризуют, по-моему, известную неопределенность отношения властей к русофильскому движению. С движениями демократическим и еврейским власти расправились решительней. Подпольное демократическое движение было сломлено процессом Якира и Красина, а наше — вторым ленинградским процессом. Они и прошли-то сходно. И последствия у них были аналогичные. После процесса Якира-Красина ведущим в диссидентстве стало движение правозащитное, массовое, открытое, провозгласившее своим девизом гласность. Этот девиз отрицал, естественно, методы предшественников-демократов, но он же явился боевым кличем новой оппозиционности. Ведь ни для кого не секрет, что советская власть, этот мичуринский гибрид органов партийных с органами безопасности, — самая подпольная организация в России. Такой власти гораздо труднее противостоять требованиям гласности, чем подавить десяток конспиративных ячеек. В этом был залог многих успехов правозащитников, привлекательность их методов. И евреи в начале 70-х годов тоже — я думаю, в значительной мере под влиянием этих успехов — обратились к открытым методам гласной борьбы.

— В чем же все-таки было сходство вашего процесса с процессом Якира-Красина.

— Ну, во-первых, оба были процессами над многолетними "функционерами". Во-вторых, оба готовились как процессы разгромные и тотальные, с целью подавить движение и дискредитировать его полностью. В этом, кстати, их отличие от сегодняшних процессов. Сегодня это, как правило, процессы одиночек, проводимые с целью запугать других одиночек. Но не с целью уничтожить движение в целом. Тут уже идет, так сказать, не стратегия, а тактика.

— Но и здесь, как будто, берутся люди, представляющие основное направление движения...

— Не знаю, не уверен. Во всяком случае, это не лидеры. Лидеров сохраняют и, более того, — их в последнее время, по-моему, выпускают. Берут одиночек. Быть может, самых дерзких, быть может — в чем-то переступающих границы "дозволенного", которые власти сами же и устанавливают...

— *Может быть, тех, кого считают возможным сломить?*

— Это было всегда. Тут КГБ всегда работал по стандарту. Но я думаю, сейчас у них иные заботы: избежать большого внешнего шума и не брать слишком популярных и известных людей. Сейчас известными эти арестованные становятся, в основном, после того, как их сажают, до того о них почти ничего не знают...

— *Значит, ваш процесс ты считаешь вполне, так сказать "закономерным"?*

— Это была закономерность слишком затянувшейся конспиративности. Как только появился потенциал массового движения и как только наша организация на этом фоне развернула широкую деятельность, она фактически вступила в период своего "полураспада". Пока в ней было полтора десятка человек, конспиративная форма придавала некую остроту их общению. Но когда деятельность этого кружка расширилась на многие десятки и сотни людей, когда в организуемых нами празднествах стали участвовать сотни евреев, тут уже не было места для конспирации. К 70-му году, когда наладились связи с другими городами, когда "подписантство" пришло и в Ленинград, когда все члены руководства (кроме Бутмана, упорно твердившего: "Мы пойдем иным путем") подписали открытые письма с заявлением: "Мы хотим в Израиль" — конспирация стала парадоксом. Вполне можно было уже "рассекретить" кружки иврита и истории. Сами собой рассекреченными стали организация праздников и распространение литературы. Ведь главной целью всех этих акций было как раз идти в открытую на максимальный охват еврея. Рассекретить, по сути, можно было все... кроме Бутмана.

— *При чем тут Бутман?*

— Именно в этот момент Бутман занялся подготовкой к захвату самолета. Это и был его "иной путь". Сам он, правда, лететь на этом самолете не собирался, но стал "искать для этого людей". Все члены комитета отчаянно сопротивлялись тому, чтобы эта акция готовилась в рамках организации, и никто из них эту идею Бутмана не поддерживал. Но само сопротивление требовало глубокой секретности, а обстановка секретности благоприятствовала, в первую очередь, тому же Бутману. Тогда решили создать (это было весной 1970 года) пресловутую "конференцию организации" — по сути, исключительно ради того, чтобы уломать Бутмана. Конференция должна была принять "Устав", определяющий права и обязанности членов. Парадокс — именно в тот момент, когда

вся обстановка требовала "выхода с открытым забралом", на активную легальную деятельность, именно в этот момент мы формально стали "подпольной организацией" — и все по воле одного честолюбца! Но даже "уставом" усмирить его амбиции не удалось. За то, чтобы отказаться от своей "руководящей роли" в затее с самолетом, он потребовал от Комитета ни больше, ни меньше, как... запросить правительство Израиля! Ни у кого — включая самого Бутмана — естественно, не было ни малейшего сомнения в том, каков будет ответ на сей идиотический "запрос", но... Бутман хотел "уйти с честью". Маразм! Подпольная организация, запрашивающая правительство иностранной державы о желательности проведения террористического акта на территории СССР! Ситуация, весьма украсившая в скором времени положение обвиняемых как по "самолетному", так и по второму ленинградскому процессу и его ответвлениям в Риге и Кишиневе.

— *Как вообще возникла эта идея с самолетом?*

— Тут есть один момент, по сию пору вызывающий сомнения. Дело в том, что идея, строго говоря, возникла не у Бутмана, а у Марка Дымшица, летчика-профессионала. А на Бутмана Дымшиц вышел через какого-то "Веню", причем, как потом оказалось, этот "Веня" не был знаком ни тому, ни другому! Позднее, в ходе многомесячного следствия, когда на страницах 44 томов следственного дела (на 2 тома больше, чем на Нюрнбергском процессе!) КГБ обсасывал буквально каждый "эпизод" нашей деятельности, он почему-то совершенно не заинтересовался ни самим фактом этого поистине судьбоносного знакомства, ни личностью загадочного "Вени".

Надо сказать, что идея Дымшица была предельно проста и вполне осуществима. Собираются 12 евреев, закупают места на 12-местный самолет из Ленинграда в какой-нибудь районный центр поближе к финской границе — тогда еще не нужно было при покупке билетов предъявлять паспорт, это стало нововведением после "самолетного" процесса, — после взлета связывают летчика, его место занимает Дымшиц. Пять минут полета над Финляндией, посадка в Швеции, пресс-конференция...

— *Что же нового предложил Бутман?*

— План Бутмана был совершенно идиотский. Он предложил похитить не маленький самолет, а целый лайнер, на 50—60 пассажиров! Мало того, что на таком самолете экипаж составляет 6—8

человек, и кабина пилотов отделена от салона двумя перегородками и помещением стюардесс, так что пробраться в нее почти исключено, — но ведь нужно еще собрать целую толпу в 50—60 евреев, каким-то образом скрыть, что они знакомы друг с другом, и придумать, почему они вдруг все решили лететь одним рейсом. Ну, он "придумал"... Двое должны были изображать "новобрачных", которые, якобы, решили зарегистрировать свой брак почему-то в Мурманске, а все остальные — их друзья, которые, мол, захотели слетать из Ленинграда в Мурманск на эту "свадьбу". Бутман упивался этим своим планом и этим названием — "Операция Свадьба"! Между тем, мало того, что весь план был усложнен до идиотизма, — он еще решил искать "клиентов" на этот рейс среди ленинградских еврейских активистов, то есть людей, заведомо известных КГБ. А это означало с самого начала идти на явный провал. К счастью, найти нужное количество людей в Ленинграде Бутману не удалось, и когда он увидел, что затея превышает его возможности (и его решимость), он предложил свой план рижанам — Сильве Залмансон и Эдику Кузнецову. Эдик, надо сказать, всегда опасался сотрудничества с ленинградским подпольем. Он понимал, насколько это мешает всему делу. Настолько же, насколько само это дело мешало всей ленинградской организации. Уже позже, на процессе, Эдик очень четко выразил свои тогдашние сомнения. Когда его спросили: "Чего вы опасались?" — он сказал: "Больше всего мы опасались двух комитетов — Комитета Госбезопасности и Комитета ленинградских сионистов".

Идея Бутмана была настолько же дебильна, насколько идея Дымшица была реальна. Но у меня до сих пор остается впечатление, что на самом деле осуществилась идея "неизвестного Вени", то есть, по сути, КГБ. Ведь покончить с сионистским движением в виде хотя и подпольной, но безобидной организации, занятой историей и ивритом, было сложнее, чем с организацией, замешанной в попытке осуществления террористического акта.

— Когда же они с вами покончили?

— 15 июня 1970 года, в день ареста "самолетчиков", КГБ начал свое грандиозное "Дело №15". Я в тот день, после многочасового обыска, проведенного на моей квартире гебистами, к великому своему удивлению остался на свободе. Выйдя на улицу, я увидел газету "Вечерний Ленинград" с крохотным сообщением в две строки: "Сегодня в аэропорту Смольный арестована группа лиц, пытавшихся захватить гражданский самолет..." Помчался обзвани-

вать знакомых. Постепенно картина стала проясняться. Проведено около сотни обысков, и не только в Ленинграде, но и в Москве, Риге, Кишиневе, Одессе. Арестованы все члены Комитета. (Позже, уже будучи "внутри", я узнал, что в те же дни были выделены в производство дела десятков еврейских активистов по всему Союзу и что в Ленинград были вызваны из всех крупных республиканских и областных центров десятки следователей КГБ для инструктажа и тренажа по проведению антиеврейских процессов. Но это я узнал позже.) Затем поползли хорошо запланированные "слухи". Инструкторы доверительным тоном сообщали на "закрытых собраниях", что доблестные органы вскрыли мощную сеть сионистского заговора, направленного на проведение массовых диверсий. Мне было ясно, что с момента арестов эпоха скрытой, конспиративной деятельности закончилась. Все наше "тайное" должно было отныне стать явным. Нужно было громко закричать о своих сионистских симпатиях, о невозможности открыто изучать историю и язык своего народа, о невозможности легального выезда в Израиль — только тогда всему миру станет понятна и подоплека попытки угона самолета, и вся деятельность "подпольных сионистов". Только когда раздастся такой крик, миру станет ясно, что происходит с евреями за тысячами затворов советской границы. В те годы мы уже знали о кликухе, приклеенной советским евреям Эли Визелем — "евреи молчания". Пора было кончать с молчанием. Аресты давали уникальную возможность вслух заговорить об антиеврейских преследованиях.

— Значит, ты один из немногих остался на свободе — и что же?

— Слежка за мной в те дни была непрерывной и открытой. Ходили внаглую, по-одиночке и группами, не отступая ни на шаг. Все-таки, после нескольких неудачных попыток, мне удалось в 20-х числах июня попасть в Москву и передать иностранным корреспондентам текст своего "открытого письма". Уже в Москве, среди самих "корров", оно произвело сенсацию и через час ушло сразу с четырех телетайпов. Позднее письмо это было опубликовано всеми крупными газетами мира, неоднократно транслировалось всеми радиостанциями, вещавшими на СССР. Стена молчания дала первую трещину.

Я прекрасно понимал, что за полученное удовольствие (и еще какое!) должен буду заплатить соответствующую цену. И чувствовал себя вполне к этому готовым. Если сидит весь Комитет, почему бы и мне не присоединиться к своей компании? В те же дни

письмо аналогичного содержания написал и Гилель Шур. Он тоже был вскорости арестован.

— Ты им предложил тебя арестовать, и они тебя арестовали?

— Меня взяли 8 июля. За 22 дня, прошедших со времени ареста "самолетчиков" и Комитета, я измотался страшно. Это был бег "наперегонки со временем". С момента отправки "Открытого письма" я был уверен в собственном аресте, но хотелось еще что-то успеть — поговорить с одним, подбодрить другого, получить новую информацию, раздать деньги женам арестованных (у меня оставалась "партийная касса" организации, которую удалось сохранить при обыске). К моменту ареста — утром, у входа на работу, после очередной бессонной ночи — у меня было лишь одно желание: выпить чашку кофе. Этой чашки мне пришлось ждать 15 месяцев — я получил ее у костра Мордовской зоны, из рук "самолетчика" Толи Альтмана...

Сам по себе арест я воспринял спокойно, даже с некоторым облегчением: вот камера, вот койка, можно лежать и никуда уже не нужно спешить — от моей поспешности уже ничего не зависит. Все, что мог, я уже сделал, а теперь можно читать простые книжки и думать о простых и приятных вещах. Да, именно простые книжки. Все деликатесное читиво, где подлость так тонко разведена розовой сентиментальностью, где поток душевной низости героя вдруг так красочно прерывается вспышками творческого восторга, где коварный расчет замешан на искренней страсти — все эти пряные специи хороши для чтения в шезлонге, на берегу Средиземного моря. А в камере, между вопросами, нет ничего лучше Дюма. Где черное — черное, белое — белое. Где благородство торжествует, подлость наказывается, а к восторгам любви прилагаются ящички бриллиантов. Такое читиво очень помогает сохранить оптимизм, помогает, идя бесконечными тюремными коридорами из камеры на допрос, напевать про себя русские вариации на мотив израильской песни "Бывали времена...": "мы пронесли свою мечту сквозь волчий вой, мы на допросы выходили, как на бой, вдали от родины мы жили лишь одним — айю зманим, айю зманим..." — и войдя в кабинет следователя, нагло "вешать лапшу" ему на уши.

— Такая сплошная эйфория?

— Да, несколько недель сплошной эйфории. Но затем мне начали предъявлять показания. Бутман в недавних его выступлениях в

прессе заявляет, что "вместе со Щаранским" показал "пример", как следует "держаться" против КГБ. Теперь он учит других, но мы-то все читали его показания, нам их предъявляли на следствии. "Являясь членом подпольной антисоветской сионистской организации... в целях подрыва и ослабления... с целью нанесения ущерба советскому государству... обсуждались варианты захвата гражданского самолета... послан был запрос компетентным органам Израиля..." "Что означает в письме к вам фраза: посетил твоего дядю Шалома Бутмана? Ответ — никакого дяди у меня нет, фраза — шифровка, означает, что он по моей просьбе посетил израильскую контрразведку Шин-Бет..."

В оправдание Бутмана должен сказать, что он не был единственным. Мне лично повезло. Функционально я был связан только с Давидом Черноглазом (ныне Мааяном), Львом Коренблитом и Левой Ягманом (Агмоном). Все трое вели себя вполне нормально, насколько это возможно в условиях, когда раскалываются "паровозы", и мне удалось пройти следствие с минимальным количеством "эпизодов". И вообще мое положение было легче — не потому, что я не был членом Комитета (к тому времени среди арестованных я уже не был единственным в этом качестве), а потому, что три недели, проведенные "дополнительно" на воле, позволили мне шире увидеть происходящее.

— Были "недозволенные методы"?

— Нет, яйца в дверях не прищемляли, ногти не вырывали и проводами по голым пяткам не били. Обращение было вполне вежливое — исключительно на "вы" и по имени-отчеству. Средства давления были иные: всем комитетчикам вклеили в обвинение статью об "измене родине", а это означало от 15 лет лагерей до расстрела. Помогите, мол, следственным органам сформулировать ваш "криминал" по статье "антисоветская деятельность" (от 3 до 7 лет), и мы снимем обвинение в "измене".* Усилия КГБ были

* Такая практика *следственной сделки* отнюдь не изобретение КГБ. И не его монополия. Большинство западных стран, включая Израиль, широко ее применяют. Тут такой добровольный помощник следствия именуется "государственным свидетелем". Тут это принято из прагматических соображений. Но в прагматической шкале ценностей нет места для морального определения добра и зла, есть лишь статистические оценки. Прагматическая шкала вполне может оправдать уничтожение шести миллионов ради блага сорока. В наше время многие западные "прагматики" вполне обоснованно

направлены не на то, естественно, чтобы "выявить криминал" — нет, им нужно было криминал "сформулировать", дабы квалифицировать произраильские эмоции как "деятельность, направленную на подрыв и ослабление советского государственного и общественного строя". Вот они от нас и добивались помощи в этом своем деле. И надо отдать им должное — на том этапе они свою задачу выполнили.

— Почему же все-таки раскалывались? Ведь это был процесс "функционаров". Вроде бы такие люди должны быть готовы к подобным вершинам?

— А почему раскалывались декабристы? Почему кололись практически во всех процессах подпольщиков? Потому что сама специфика "подпольщины" создает своего рода "комплекс вины": ведь если невинно, то почему тайно? Она же создает и "комплекс раскола" — если уж ты свое "тайное" сделал явным, ты уже предал, тебе уже не на чем держаться. И потом, функционеры к тому времени уже в течение многих лет играли с КГБ в кошки-мышки. У них возникла некая, я бы сказал, душевная усталость. И арест в этих условиях — это как конец большого, длительного, многолетнего напряжения. Ломается какая-то пружина. А кроме всего прочего, не вдаваясь в сравнения, надо сказать, что в массовом процессе очень многое зависит от личностей. Достаточно одного-двух признаний, чтобы сломить всех остальных.

— А наоборот?

— А наоборот нет. Потому что общения ведь нету. Общение идет только через показания. А предъявляют тебе на следствии только те показания, которые могут тебя подавить, а не те, которые могут подбодрить, поддержать. По ходу следствия единственное общение — с теми, которые уже сломались, с "паровозами", которые могут потянуть остальных. И когда один, двое из верхуш-

(с их точки зрения) утверждали, что существование трехмиллионного Израиля весьма осложняет положение ста миллионов жителей Европы в ситуации нефтяного кризиса. К счастью, нефтяные дела обернулись финансовым крахом для СССР и арабов, но будь у прагматиков больше силы, мы бы до этого просто не дожили.

Конечно, есть принципиальное различие между КГБ и западными следственными органами. КГБ сам себе и суд, и прокуратура, он сам решает, кого и когда арестовать, какое выдвинуть обвинение, как вести следствие и какие лепить сроки. Функции суда в СССР — чистая формальность.

ки ломаются... Очень характерна в этом отношении история Вити Штильбанса. Это очень грустная история, и в Израиле она осталась, боюсь, совершенно неизвестной. Бутман в своей книге излагает ее "в свою пользу". Штильбанс был молодой ленинградский еврей, лет двадцати с чем-то, готовил кандидатскую диссертацию в Военно-Медицинской академии, а к нашему кругу прилепился просто потому, что весь горел энтузиазмом. Почти ни к чему не был причастен, если не считать того, что в своей группе был библиотекарем, а проще говоря — старательно составлял списки всех еврейских самиздатских названий, всего и делов. На той самой ленинградской злополучной "конференции", где уламывали Бутмана, Штильбанс, по просьбе того же Бутмана, нес функции "наружной охраны". Бутман ему сказал, что он будет охранять "научно-теоретическую конференцию чрезвычайной важности".

Когда посадили лидеров Комитета, Штильбанса не тронули. О нем ничего не знали, -- пока о нем не заговорил Бутман. А заговорил он из-за бумажки, которую нашли у него в кармане. Это был машинописный текст под названием "Наши задачи". А было так. Штильбанс, под впечатлением слов Бутмана о "научно-теоретической конференции", решил позабавиться. Он переписал откуда-то давнюю ленинскую статью "Наши задачи", заменив всюду "большевизм" на "сионизм", и преподнес Бутману в качестве курьеза. Именно курьеза — я с ним мало был знаком, но у меня создалось впечатление, что он был мальчик с юмором. А КГБ за эту бумажку ухватился. Следователи ведь юмора лишены, они увидели заголовок "Наши задачи", под которым столь привычным, понятным для них языком говорилось о необходимости создания подпольного центра, и немедленно в это вцепились. Бутман показал, что это написал Штильбанс. И Штильбанса "привлекли". Вначале он держался прекрасно, отказался давать какие бы то ни было показания. Для него Бутман был в сионистской организации почти бог и вообще — высшее воплощение сионистской и человеческой справедливости. Но потом ему предъявили показания Бутмана о их ночном разговоре, на пустой станции метро, один на один. Бутман тогда предложил Штильбансу "идти на самолет". Штильбанс к такому делу не был готов, но просто отказать ему казалось неудобно, не хотелось выглядеть трусом, и он сказал, что хотя сам не берется, но хочет всячески помочь и в частности, чтобы облегчить задачу, а также из гуманных соображений, предлагает использовать для усыпления летчика препарат амизил, ко-

торый есть у них в Академии. Вот все это, вместе с амизилом, Бутман и изложил следователям, по собственной инициативе. А те изложили Вите Штильбансу. И мальчик сломался. А начав ломаться, он просто потерял всякое душевное равновесие и уже ломался до конца. Ему поначалу тоже предъявили "измену родине" плюс еще "разглашение государственных секретов" — они там в Академии что-то такое подписывали. В общем — ему угрожали расстрелом. Исключительно за этот ночной треп с Бутманом...

В конечном итоге он отделался всего одним годом, и его выпустили вскоре после суда — прошел как раз год. И он сошел с ума. Ведь он защищал своего "бога", а "бог" его утопил! Я его встретил перед своим отъездом, в ОВИРе — с ним отказывались говорить: "Как же, ведь вы во всем раскаялись, вы же сами заявили, что вы не сионист..." В общем, издевались, как хотели. Активисты тоже с ним не разговаривали, а жены арестованных, когда его встречали, отворачивались. Герои, которые его предали, остались героями, о них непрерывно вещало радио, писали газеты, а он превратился в сломленного затравленного человека, в дерьмо...

— *"Самолетный процесс" прошел лучше?*

— "Самолетчики" держались прекрасно. Но ведь они и так шли в открытую. Они шли на декларативную акцию, поэтому следствие и суд были тут просто одним из естественных вариантов ее развития. Практически вариантов у них было всего три: маловероятный отлет и вполне вероятные смерть или арест, причем каждый из возможных результатов наступал, как говорил Воланд, мгновенно. Последний — и осуществившийся — вариант, арест, чисто теоретически можно было рассматривать по-разному. По существу, была арестована группа людей, имевших билеты на самолет, но не успевших произвести ни одного закононаказуемого действия. Ну, что арестовали — это понятно: донос, слежка, оперативные данные. Но ведь доказательств никаких. Так казалось бы — что стоит представить свою затею в виде коллективной поездки, турпохода — и все дела?

Я неоднократно, уже постфактум, обсуждал со многими "самолетчиками" такую возможность и понял: психологически она была для них непредставима. Слишком велик был риск, на который они шли, слишком высокого душевного напряжения он требовал. Так что выйдя на поле аэродрома, они могли уже идти только до конца. До полного признания. Да, да, признания! Они ведь тоже кололись, и еще как! Когда я сказал, что они держались прекрасно,

я имел в виду именно их показания. Они не молчали, не скрывались, они открыто декларировали свое намерение похитить самолет, угнать его через границу, улететь в Израиль. При том, что за это им угрожал расстрел! И все равно никто из них даже не пытался извиняться, оправдываться, крутить. Их "признания" были, по существу, декларациями сионизма. Это и сделало их процесс героическим.

А процессу нашей организации просто повезло, что он прошел в тени "самолетного". Ему и в другом повезло — за то время, что шло следствие, обстановка в целом весьма динамично менялась. Я сказал, что КГБ выиграл свою битву с арестованными, это верно, но власти в целом свою битву проигрывали. Шум протестов и требований свободы выезда стал просто оглушительным. Даже находясь в камере, изолированный от всего мира, я ощущал, что у КГБ под руками разваливается задуманная им стратегия. "Самолетчиков" выделили в отдельный процесс, часть комитетчиков увезли в Кишинев, рижан не привезли в Ленинград совсем и выяснилось, что кишиневский и рижский процессы пройдут отдельно. Грандиозный спектакль не получался. Чувствовалось, что что-то меняется, но все равно — когда в конце следствия, в ноябре, мой следователь вдруг мне заявил: "Ну, вот, отсидите срок и уедете в свой Израиль" — я просто обалдел. Уеду?! Честно говоря, в реальность выезда мы никогда не верили. Израиль был для нас — ну, как Рио-де-Жанейро для Оси Бендера: голубая мечта, к которой нельзя даже прикасаться грубыми лапами реальности. И вдруг, после 5 месяцев допросов, услышать такое в кабинете следователя!..

Но в скорости я получил вести еще более конкретные. Ко мне пришел тишайший, зашибленный, обезьяноподобный еврей, назвавшийся моим адвокатом, и сразу сообщил, что помочь мне ни в чем не сможет, мою версию непризнания вины поддерживать не будет (ведь я единственный "не признающийся" во всей компании), но... и прижав палец к губам, протянул мне скомканную бумажку, на той бумажке было написано: "Свечинский, Гельфонд, Бродецкая и Спиваковский — выехали"! Я эту обезьяну чуть не расцеловал! Каждый день он приносил все новые имена... Список свидетелей, подлежащих вызову в суд, редел с каждой неделей. Евреи едут! Победа!

Грустно было только, что близящийся суд ничего хорошего к этой победе не прибавляет.

— Ну, дальнейшее, как говорится, известно. Я хотел бы задать последний

вопрос. Вся эта ваша деятельность — дала она какие-нибудь результаты? У вас были "продолжатели"?

— Мне кажется, что прямых продолжателей не было. С организацией КГБ все-таки покончил. Кто был строптив — получил разрешение на выезд, остальные — испуганные и разочарованные — отошли от всех дел. Но, может, я излишне пристрастен, возлагая всю вину на низкий уровень нашего процесса. Наверно, это ни чья ни вина, а естественная закономерность. Бывшие подпольщики, по-моему, просто не могут быть ведущими в эпоху открытых действий (диктаторы это хорошо знают: Сталин, Гитлер, Кастро перебили всех своих товарищей по подполью). Да и вообще — общественные движения, я думаю, описываются, скорее, уравнениями турбулентного течения, и попытки какой-либо ламинарной, линейной аппроксимации всегда недостоверны. Резкие изменения характеристик такого турбулентного течения могут зависеть от чисто местного, бокового завихрения. Ленинградское еврейское подполье, его арест и процессы создали такое завихрение. В каком бы виде это ни подавали газеты, сыграло роль российское недоверие к официальному печатному слову — не поверили, что все было так уж нехорошо, зато узнали, что была организация. Всех ведь все равно не посадили, остались люди, которые рассказывали, как это было, повысился интерес, стали расспрашивать: а что была за организация, а чем она занималась, а что — были кружки, изучение иврита, истории? — давайте будем продолжать. Поначалу, конечно, была некоторая растерянность, ждали массовых репрессий, но когда очухались — пошли уже в открытую. И потом — сами процессы вызвали поток писем протеста, вопли и требования, подняли еврейское лобби на Западе... Ну, все это вместе и пробило, в конце концов, брешь в советской стене. Но только все вместе, и главным образом — эти открытые, массовые действия. А не само по себе подполье.

Когда три года спустя я вновь оказался в Ленинграде, то в короткий трехмесячный период между освобождением из лагеря и отъездом мне довелось побывать на нескольких проводках "отъезжающих". Там я увидел сотни людей, на месте загорававшихся мгновенным энтузиазмом, желанием тоже уехать. Год функционирования подпольной организации не мог бы дать того, что давали одни такие "проводы".

— Это была уже новая эпоха?

— Это была уже совсем новая эпоха. "У каждой эпохи свои вырастают леса..." Я эти "новые леса" знаю лишь по-наслышке и судить о них не берусь. Но в целом, я думаю, эпоха массового выезда, которую я увидел лишь краешком не слишком трезвого глаза, дала неплохие результаты. Когда-то, лет 18 назад, мечтая об алии из Союза, мы пытались представить себе, каковы могут быть ее масштабы. Я тогда полагал, что максимальный потолок — 10%. Сегодня эти 10% уже здесь.

Я понимаю, что сейчас выросло уже новое поколение. И у них есть новые 10%. Дай им Бог удачи!

— *Могу только присоединиться к этому пожеланию...*

Вел интервью Р. Нудельман

Александр Этерман

ТРЕТЬЕ ПОКОЛЕНИЕ

(Если возвращение к еврейству станет массовым — будет большая алия...)

— *Я хотел бы расспросить вас о ситуации советского еврейства сегодня, в конце 1985-начале 1986 года, насколько вам это известно. Но прежде всего — немножко о себе: как вы пришли к этому движению, кто вы, какова ваша предистория?*

— Я должен сказать, что моя предистория совсем простая. Я всегда очень остро ощущал себя евреем. И по складу характера для меня был неизбежен какой-то вид участия в еврейском движении. Я, так сказать, "вращался" в нем, вошел в круги, где еврейский вопрос был основной темой, лет с семнадцати, как только вышел из школьных пеленок. Иными словами "прихода" в движение, осознания, что у нас нет иного способа самоидентифицироваться, кроме как в еврейском движении, у меня не было — это для меня было ясно на любом уровне понимания, даже когда был еще совсем мальчишкой.

— *У вас была еврейская семья?*

— Ну, семья у меня аксиоматически еврейская, мой отец — человек с сильными еврейскими настроениями. Совершенно без традиций, не соблюдающий мицвот, не знающий языка — но при

этом очень широко образованный и вообще сам по себе человек выдающийся, плюс — понимающий, что все, что он знает, каким-то образом, внутри него, еврея, подчинено его еврейской самоидентификации.

Кроме того, сам я очень страдал от антисемитизма — гораздо больше среднего. И в меня это было вбито настолько крепко — у меня есть шрамы, сломан зуб, — что для меня антисемитизм не исчезал ни на одну секунду... Может, у меня неудачный характер, не та внешность, не знаю. Но я страдал от этого всегда.

— Но для того, чтобы войти в движение и, как вы сказали "вращаться", нужно было знать, что такое движение существует. Вам было известно, что есть соответствующие люди, настроения, кружки?

— Я, разумеется, еще помню времена, когда никакого движения не было. То есть не то, что не было — мы знаем, что на самом деле что-то такое существовало уже в 60-е годы, — но почти всем представлялось, что в 60-е годы практически ничего не было и что люди тогда не очень думали об этом. Хотя, нужно признать, после войны 67-го года повеяло чем-то новым.

Переломный момент был в начале 70-х годов, хотя еще в конце 60-х замечательные люди, вроде Яши Казакова, Дова Шперлинга и других, уже стали "раскачивать" советский забор. Но брешь, я уверен, пробил все-таки самолетный процесс. И надо отдать должное всем, кто это сделал. Мы только теперь, ретроспективно, понимаем, что это было правильное решение. Изначально трудно было думать, что такое вроде бы неудачное мероприятие окажется самым замечательным из всего, что было сделано.

Но потом, когда люди тысячами зашевелились, даже человеку молодому и осторожному стало ясно, что существует движение. И не только евреи, но и нееврейское большинство было очень чувствительно к этой проблеме. Вся страна — ну, не знаю, двести ли миллионов, но сто, имеющих хоть какой-то нюх, прекрасно знали, что движение существует и является одной из самых важных сторон общественной жизни.

— Итак, вы пришли в движение. Как это происходило? Вы связались с какими-то "активистами"? Каков был ваш путь? Вы выехали в 85-м году, а вступили в движение, примерно, в 75-м. Значит, за вами десять лет участия. Что это были за десять лет?

— Я должен признаться сразу, что в 75-м году я был довольно далек от того, что могло бы называться "фронтом борьбы". Поэто-

му я могу рассказать только о том, как представлялось тогда это движение рядовому, массовому участнику.

В 75-м году в Москве это движение затрагивало довольно большую часть еврейской молодежи, причем в очень широком возрастном диапазоне — лет, скажем, до 35-ти. Почти невозможно было найти студента, который не знал бы, что есть встречи у синагоги вечером в субботу — на "горке", как это называлось, который так или иначе где-то не бывал, у которого кто-то не уезжал из родственников или знакомых, а если даже из далеких знакомых — чтобы он из любопытства не пришел и не познакомился ближе. Какая-то живая нотка жизни задавалась именно этим. В вопросе дискриминации при приеме в институт, прямо касавшемся молодежи, это были самые трудные годы, и все понимали, с чем это связано. Сейчас в институт принимают легче, чем тогда. Это связано с общим упадком интереса к высшему образованию в России, но это отдельная тема, а вот тогда мест, куда евреев не брали, было довольно много. И я прекрасно помню, как каждый год то один, то другой человек — если не из моей группы, то из соседней — подавал заявление на выезд и получал характеристику. Все знали до деталей, что для этого требуется. Возник "институт проводов" — если человек не засекречивал свой отъезд сознательно, то в его квартиру набивалось столько людей, что просто нельзя было войти — сотни людей собирались там, где и тридцать было не усадить. Это была часть жизни, праздничная часть. Многие люди, которые даже и не думали реально об отъезде, признавались, что если бы им сказали, что они никогда не уедут, жизнь для них потеряла бы смысл.

Вот таким было настроение в 75-м году среди молодежи, к которой я примыкал. Все знали, что есть проблемы, что людей сажают — это было время, когда сажали, были другие неприятности, но на общий оптимистический тон это совершенно не влияло. Масса успешно, наступательно ехала. Большинство людей ничего не боялось. Большинство желающих подавало и быстро уезжало. И эта вот светлая перспектива, когда человек только что находился в полном подчинении у советской власти и вдруг, через три месяца, становился свободным — о большем тогда не думали — эта перспектива действовала чрезвычайно зажигательно.

— Виктор Богуславский, с которым я беседовал до вас, говорил о первых шагах движения и подчеркивал, что они даже не мечтали всерьез о выезде. А спустя всего пять лет выезд стал чем-то обычным...

— Да, в этом было что-то невероятное! Ведь когда Кузнецов и другие пошли на "самолетное дело", им было как бы все равно — что на дело идти, что оставаться. И там, и тут выхода нет. А через пять лет обстановка изменилась совершенно. Возникло массовое движение за выезд. Но я хочу подчеркнуть — это сильное, массовое движение, будучи таким... очень душевным, очень позитивным, освободительным, едва ли имело хоть какую-то еврейскую черточку — вроде хотя бы той, которая сопровождает евреев, говорящих по-русски — этот неистребимый акцент. Еврейского в нем, по-моему, было тогда удивительно мало.

— Интересно — этот молодой человек, вошедший тогда в движение, этот оптимистичный юноша, еще не отпустивший бороду, не надевший "кипу", — он замечал, что движение кем-то приводится в состояние активности, кем-то руководится, что есть какие-то "островки кристаллизации", какие-то люди, имена — или это было просто общее настроение, этаким клуб, салон?

— Я был вполне в курсе. И большинство людей было слегка в курсе. Когда кого-нибудь сажали или что-то еще происходило, это сразу становилось известно. Но было ощущение, что сообщения доносятся издалека — хотя дело происходило в соседнем доме. Для большинства людей это было и плюсом, и минусом. Минусом потому, что они меньше могли поддерживать тех, кому доставалось. А плюсом потому, что они совершенно ничего не боялись. Что-то происходит? — ну, так это отзвуки далекой канонады, не на нашем фронте, — а общий поток людей живет, в общем, довольно безопасно.

— Можно согласиться с вами: чем шире распахивались ворота выезда, тем меньше еврейского становилось в этом потоке, потому что он размывался все шире и шире.

— Тут следует уточнить, по-моему. До 75—76-го годов в нем действительно становилось все меньше еврейского. Но некоторые сложные процессы, на поверхности не видные и в общем-то публике даже не очень затрагивающие, все-таки шли. И после 76-го года, хотя этот поток очень расширился, он начал постепенно принимать более еврейский характер. Я приведу самый простой пример. К 76-му году большинство активистов алии, люди, которые можно сказать, жизнь на это положили, не только говорить на иврите не могли, но даже алфавит толком не все выучили. То есть до какой-то степени это движение было странной разновидностью оппозиции — пусть не самому режиму, а его антиэмиграцион-

ной политике, но вряд ли чем-то большим, чем "голосованием ногами". В движении было много еврейских черт, но не духовных, а национальных — просто особенностей тех людей, из которых оно состояло, а не особенностей самого движения. Оно было еврейским, его нельзя было спутать с движением за украинскую или армянскую эмиграцию, но в точно таком же смысле, как еврейский акцент присущ еврею, который о еврействе даже не думает. Физические черты, не более.

До 75-го года значительную часть деятельности движения, на мой взгляд, можно было даже не считать еврейской, хотя его участники были евреи. Но после этого наступил перелом. Люди изучали иврит и до того, я знал людей, для которых это было важным жизненным моментом уже в 72-м году. Но это было даже не второстепенным, а третьестепенным на общем фоне. А религиозной части движения вообще не существовало. Люди уже были, а религиозной части движения не было.

— Я вас перебую, потому что хорошо помню именно эти годы. Я приезжал тогда в Москву из Владимира по делам журнала "Евреи в СССР" и мог видеть ситуацию со стороны. Создавалось впечатление, что внутри верхушки движения возникли некие "министерства", распределение "постов" — один занимался "внешними сношениями", то есть связью с иностранцами, другой, скажем, "наукой" — семинары ученых-отказников и тому подобное, третий — "культурой" (тогда впервые возникло движение "собственно культурников", направленное на развитие еврейской культуры в СССР, и началась бессмысленная внутренняя борьба: за выезд — или за культуру?). Все боролось за то, чтобы застолбить себе какой-нибудь участок деятельности, войти в какое-то "министерство". И ваш учитель, Илья Эссас, был тогда чем-то вроде "министра по делам религий" — у него был свой маленький семинар, он командовал собственным небольшим "приходом". Как же произошел следующий поворот?

— Вопрос "почему?" всегда очень сложен. Что, во всяком случае, бесспорно, — это то, что к году, так, 76—77-му — и чем дальше, тем больше — не переброситься при встрече несколькими словами на иврите стало уже как-то неудобно. До нынешнего уровня это было не то, что далеко — сравнивать нечего, но это был сдвиг. Раньше мы просто радовались жизни, радовались выезду, радовались какой-то свободе. Мы жили куда свободнее, раскованнее обычных советских граждан. Но от еврейства все это было далеко. Я помню, что у меня это было каким-то экзистенциальным угрызением совести — сознание, что есть великая еврейская лите-

ратура, которую я, конечно, никогда не прочту. Мне было очевидно, что это невозможно. И вдруг это стало как-то не совсем невозможно... даже вполне проходимо. Люди начали говорить на иврите — худо-бедно, но говорить, даже читать. Многие, не успев выехать в лучшие времена, оказались в отказе. В движении стал образовываться некий еврейский осадок. Он еще не приобрел ясного характера, его носители еще составляли меньшинство, о религиозной группе тоже еще нельзя было говорить всерьез. Но идея продвижения в еврейскую сторону — она уже как-то материализовалась.

— *Правильно ли сказать, что произошло некое разделение: на поверхности продолжались прежние формы активности, направленные на отъезд, на семинары, на просвещение, и тон еще задавали все те же старые, не успевшие уехать, лидеры, а где-то внизу стал собираться чисто еврейский "осадок" — люди, которые искали какого-то иного подхода?*

— Почти так. На самом деле практическая деятельность, направленная на технические стороны отъезда, сохранялась все время, пока была массовая алия. И это, конечно, затрагивало основную, подавляющую часть людей. Люди ведь не задерживались — они входили на несколько месяцев и уходили. Основную массу, десятки тысяч человек одновременно, составляли люди, которые проходили вообще незаметно — они просто уезжали. Но те, которые по каким-то причинам задержались, — с ними происходило иное. Даже в тех видах деятельности, о которых вы упомянули — в семинарах и так далее — даже в них появился какой-то специфически еврейский отпечаток. Ведь на самом деле: невозможно долгое время издавать книги типа "90 минут над Энтеббе" и совсем остаться в стороне от еврейских проблем, равно как и невозможно долго довольствоваться только такими книгами. Сдвиг произошел во всех кругах активистов. Другое дело, что в некоторых кругах этот сдвиг вызвал сильное отталкивание. Говорили, что не нужно привносить этот элемент, что нужно сосредоточиться только на отъезде и требовать только свободы выезда. Это говорили заметные и известные люди. В конечном счете они проиграли сражение, с этим трудно спорить. Но даже сам факт, что к 1975-му году они выступали против развития еврейской культуры в СССР, а не просто пожимали плечами, говорит, что эта проблема уже возникла.

Это происходило во всех кругах, но безусловно было ядро, которое сделало ставку на еврейскую культуру, которое уже тогда поняло — хотя еще не было никакого материального и организа-

сионного базиса, — что нечего надеяться, будто движение сумеет долго просуществовать в каком-либо виде, если мы не позаботимся о еврейской базе, которая даст нам возможность защититься от любых неприятностей, и одновременно — базе внутренней, которая уже не позволит людям вернуться к тому, что было раньше, если ворота закроются. И вот, повторяю, люди, которые поняли, что еврейское движение невозможно без еврейской культуры, к середине 70-х годов уже получили твердую опору. Вы упомянули Илью Эссаса — он работал над этим и раньше, но тогда он был один или с немногими сочувствующими, вы сами сказали о "небольшом семинаре". Ядро возникло тогда, когда у него появились единомышленники, ученики...

— Не было ли это связано просто с личной судьбой этих людей? Ведь значительная часть "просто сионистов" была вынесена волной эмиграции. Ко второй половине 70-х годов из тех, кто начинал алию, в СССР остались немногие. Зато появились отказники, которых задержали на долгие годы, на десятилетия, и эти люди, увидев, что у них нет никакого выхода, просто по личным причинам, пошли дальше — потому что надо же было что-то делать, природа, так сказать, не терпит пустоты. Человеческая природа — тем более...

— Я не думаю, что вы правы, хотя, конечно, без "отказа", как такового, ядро действительно вряд ли возникло бы. Но ведь часть людей, оставшихся в прочном отказе, не пошла по этому пути. Многие продолжали линию 70-х годов. Они находились, конечно, под некоторым притяжением культурно-религиозного ядра, но очень слабым. Можно сказать, что хотя их траектория несколько искривилась, в основном она и к концу 70-х годов оставалась той же самой.

— Вы говорите о старых активистах, которые не пошли за культурно-религиозным ядром. Что с ними произошло? Почему мы не слышим многих известных имен?

— Мне не хочется говорить ни о ком конкретно. Есть много людей, которые, так сказать, умерли для движения, потеряны для него, все интересы, вся активность которых остались в 70-х годах, в условиях относительно успешной борьбы за выезд, когда боролись не за открытие ворот — ворота были открыты, просто надо было толкать, чтобы они еще шире распахнулись. Другое дело, что многие из этих людей устали, сломались после тюрем и ссылок — но это частный вопрос. Важнее то, что люди, которые в 74-м или 75-м году были "на коне", но не прошли последующую духов-

ную эволюцию, сегодня не находят себе места в движении, им там попросту нечего делать. Они потеряли сторонников, влияние, они просто непригодны для работы в нынешних условиях, с нынешними людьми, они просто недостаточно еврейски культурны.

— *Вы сказали о тюрьмах и ссылках. Если попытаться осмыслить статистику арестов последних лет, то возникает ощущение, что зачастую сажают людей, далеких от центра движения, порой случайных. Так ли это? Некогда выдвигалось предположение, что сажают чаще всего одиночек, а выпускают, напротив, самых активных. Работает ли эта схема сегодня?*

— Я бы мог, в общем, с ней согласиться, но с актуальной поправкой. В большинстве случаев, если вы достаточно активны и не делаете глупостей, при волне вас обязательно захватит и вынесет из России. Но надо еще дожидаться волны. И надо быть активным в работе с людьми, быть задействованным на людей, а не просто производить шум. Впрочем, тут нет общих правил.

— *Так кого же все-таки сажают?*

— Кого сажают? Есть несколько наблюдений. Первое выглядит довольно дико, но его трудно оспорить: власти не стремятся прикончить движение. Это вроде противоречит их же пропаганде, судя по которой они спят и видят, как бы его прикончить...

— *Это можно объяснить тем, что отказники — валюта в торге с Западом...*

— Не только отказники, но и все евреи, так сказать, "интересный товар". А кроме того власти и сами хотят, чтобы евреи уезжали, и поэтому сохраняют движение на определенном уровне. Есть люди, буквально считанные, ударить по которым означало бы сильно ударить по движению. Власти этого не делают. Кого же они все-таки сажают? Во-первых, они сажают людей, которые ведут себя раздражающим образом, людей, с которыми у них счеты. Плюс к тому — тех, кто ведет себя неосторожно. Неосторожно — это не значит недостаточно скрытно. Осторожность в России — это не скрытность, наоборот — если неизвестно, что вы делаете, это только вызовет подозрения. Осторожность — это некий комплекс поведения, способ себя вести — понимать "их", учитывать "их" взгляд на вещи. Неосторожно ведет себя человек, который плохо соображается с "их" взглядом на вещи. В России сами понятия "осторожность", "безопасность", "секретность" меняют свой смысл.

Но тут я обязан упомянуть о человеке, дело которого как будто бы идет вразрез со всей этой теорией. Я имею в виду Юлия Эдельштейна, одного из, прямо скажем, активнейших участников

движения, которому множество евреев очень многим обязаны. Его дело приняло сейчас трагический оборот: в лагере с ним произошел несчастный случай, у него ужасное ранение, условий для хотя бы минимального лечения в тюремной больнице, всем ясно, нет, документы и заключения врачей это подтверждают, но его тем не менее не освобождают. И мы стоим перед угрозой страшного прецедента: узник Сиона может погибнуть в лагере! Этого ни в коем случае нельзя допустить! Я хотел бы здесь сказать, что верю в здравый смысл советского правительства и в то, что разумная гуманность ему не чужда. И поэтому наша задача — сейчас — как можно чаще напоминать им об Эдельштейне. Его должны лечить самые лучшие врачи, хотя даже и в этом случае он все равно может остаться инвалидом. Если это, не дай Б-г, произойдет, это будет страшным пятном на совести всех ответственных людей.

— Да, история Эдельштейна трагична, помочь ему — наш общий долг. И вы правы — она совершенно исключительна. Но вернемся к вашему "еврейскому осадку". Не получается ли так, что эта дальняя перспектива: устоять в случае изменения обстановки, устоять с помощью возврата к еврейским корням — была осознанным планом нескольких людей, которые уже в 75-м году что-то такое поняли?

— Нет, это не так. Я бы сказал иначе, — появились люди, у которых, наряду с внутренней потребностью в таком пути, упрочилось также ощущение, что это единственный способ решать возникающие проблемы. Но я бы не сказал, что они уже тогда сознавали, что через десять лет появится задача удержать позиции. Речь шла о текущих проблемах тогдашнего движения. Просто возникла уверенность, что на чисто еврейском пути открывается возможность решать проблемы — некоторые лучше, чем иным способом, а некоторые иначе и не решишь.

— И эти люди начали — что?

— Они ничего не начали. Они просто продолжали то, что делали. Вот вы сказали, что в 72-м, 73-м годах Эссас заведовал "министерством религии", — так вот, он в 77-м не делал ничего такого, чего не делал бы в 72-м или 75-м. Но то, что он делал, он уже делал на качественно ином уровне. Он превратился в человека, который владеет не только материалом, но и секретом его использования, который увидел наконец — что есть такого в иудаизме, что позволяет решать одновременно мировые и бытовые проблемы. Не просто слова: еврей спас субботу, а суббота спасла еврея, но и более глубоко — скажем, почему именно суббота, а не кашрут? В

сущности, он поднялся на уровень, на котором человек становится равом. Не в том дело, что он изучил какой-то трактат, — он стал равом в настоящем значении этого слова: он понимает происходящее, классифицирует его по Торе, знает, что надо делать, каково еврейское решение проблемы. Вот с этого момента начинается новая история движения.

— *И эта эволюция захватывала только ту часть, которая более длительно — по разным причинам — задерживалась в России?*

— Конечно. Тут даже не нужны комментарии. Люди, которые "пролетали насквозь", всю свою "проблему" видели в том, чтобы организовать отъезд, продать, купить, успеть. Кстати, я позволю себе маленькое отступление. Сейчас, по прошествии двенадцати лет, я встречаю здесь людей, которые уехали именно так. И очень многие из них представляют собой в определенном смысле грустное зрелище. Конечно, они живут в Израиле, работают среди израильтян, но по сию пору многие не абсорбированы духовно даже в минимальной степени. До сих пор многим в Израиле очень тяжело. Они не идут вместе с общеизраильским потоком — их удельный вес либо больше, либо меньше, их в этом потоке болтает, трясет, швыряет поперек, они до сих пор не живут общей жизнью со страной. Я считаю, что если бы им удалось хотя бы немного — но только немного — задержаться в России, вырасти там, как евреям, — им было бы проще понять Израиль. Здесь они пошли заниматься делами — устраиваться на работу, покупать квартиру. А там у них была возможность понять Израиль, понять самих себя.

— *Вернемся однако к истории. Ваш переходный период — это, в сущности 75—76-й годы, когда на первый план вышла идея развития еврейской культуры, выдвинутая Б. Файном и другими. Но тогда это была идея светской, секулярной еврейской культуры. Как же произошло перемещение центра тяжести к традиции, к религии?*

— Я хочу выдвинуть одну мысль. Идея светской культуры была "оборонительной" идеей. Евреи, чтобы не ассимилироваться, чтобы сохранить свою индивидуальность, должны что-то помнить, что-то такое знать из своей истории, прошлого, традиций. Нет никакого спора, что и это неплохо: продвижение от нуля к этому уровню тоже что-то дает. Но ведь на самом деле на этом уровне нельзя удержаться. Так же, как с языком — пока ничего не знаешь, его изучение может быть самоцелью, а потом начинаешь думать, к чему бы все это приложить? Ну, вот я уже что-то знаю. Постепенно

возникает вопрос: а для чего все-таки мне это нужно? А может, и не нужно — ни еврейство, ни знания о нем, раз они ни к чему не пригодны? И что это значит — быть евреем? Если быть евреем значит — помнить, что пекут на Хануку, а помнить, что пекут на Хануку — значит быть евреем, то не слишком ли это мало, узко? Еврейство оказывается чем-то, что почему-то надо сохранять, и чем-то, что почему-то надо помнить, причем — вырванным из контекста, бессмысленным. И получается — разговоры о еврействе вместо самого еврейства, иногда даже насаждение отдельных признаков еврейской жизни — без ясного понимания, что она собой представляет. Нельзя убедить человека, что нужно быть евреем и что в этом есть нечто ценное, если при этом не дать ему эти ценности, — это аксиома. Например, человек не хочет быть французом. Ему можно сказать: ты потеряешь принадлежность к уникальной культуре, уникальный взгляд, нечто важное. Как минимум, то же самое мы должны были сказать еврею. И тут сказать, что нужно знать традицию, чтобы не перестать быть евреем, уже недостаточно. Это все равно, что сказать: нужно есть устрицы, чтобы быть французом. Тогда уж давайте выясним, откуда взялся обычай есть устриц, какой в этом "глубокий смысл". Вот тогда мы, может быть, действительно заденем французскую культуру. Идея светской культуры не просто поверхностна — она не отвечает на главный вопрос: а зачем все это нужно? Что мы с этим будем делать? Вот в чем беда сторонников светской культуры. Хотя в свое время этот лозунг сыграл какую-то положительную роль.

— Вы правы — эта "светская культура" напоминала некий джентльменский набор, вроде обязательного портрета Хэмингуэя с трубкой, по которому в свое время узнавали — это "наш" человек... В качестве еврейской культуры предлагался некий набор определенных выражений, имен и так далее. Между тем многие евреи, ни на минуту не сомневавшиеся в своем еврействе, ощущали себя в то же время носителями большой "имперской", русской культуры и опасались потерять эту ценность, не получив взамен ничего равновеликого. Отказаться от прежнего — но во имя чего?

— Вы абсолютно четко это сформулировали. Но я уже говорил, что на этом фоне появились люди, у которых возникло ощущение, что с помощью последовательно еврейского, а значит — религиозного подхода можно решать многие проблемы. Появился новый, живой, конструктивный подход. Раньше он не мог возникнуть. Данте говорил, что любовь может двигать светила, — но может ли это сделать еврейская история, выполнение мицвот? И вот появи-

лись люди, которые поняли, что это возможно. Сначала, быть может, наощупь, полуверой, полуинтуицией, потом они увидели это оружие в своих руках — и тогда началось...

— *Иврит был в этом процессе промежуточной стадией?*

— Иврит был совершенно необходимым звеном. На каком-то этапе он был промежуточной стадией в том смысле, что тогда он был главной, едва ли не единственной задачей, позволявшей приобщить евреев к еврейским делам. На самом деле это была промежуточная задача, но тогда это было трудно видеть — он маячил перед нами, как некий Монблан. Я говорю, что я никогда не верил... у меня щемило сердце при мысли, что я никогда не прочту Талмуд.

— *Значит, тут встретились два движения — с одной стороны, сознательное движение тех одиночек, которые полупонимали, полудогадывались о своем назначении, призвании в новых условиях, а с другой — новые условия, когда все больше и больше людей задерживались на все большие сроки и, поскольку чем-то же нужно было заниматься, шли в ивритские кружки и создавали ту базу, на которой выросла "новая история"?*

— Да, в общем так оно и было, только я еще хочу дополнить — очень важно, что те люди, которые начали эту "новую историю" и сами продвигались, и пока другие учили иврит, они вдруг поднялись до качественно иного уровня. А "рядовые" в это время как раз поднимались с нуля к изучению иврита, которое стало массовым явлением — не то, что в 75-м году, когда ивритские кружки еще не играли заметной роли в массовом движении.

— *Да, я помню, как году в 79-м мы вдруг увидели, что говорят только об учителях иврита — как будто в России больше нет иных активистов, никаких семинаров, изданий, ничего — только учителя иврита. Тут, в Израиле, возникла даже федерация учителей иврита из СССР, которая боролась за своих коллег там, помогала им, издавала им в помощь учебники... Но потом и она как-то незаметно сошла на-нет.*

— Совершенно верно. Вдруг наступила эра учителей иврита — как в истории Талмуда эра таннаев или амораев. Учителя иврита владели массами. Это было, примерно, с 1977-го по 1981-й год.

— *Перевернутая история... Еврейская история началась с иудаизма и кончилась сионизмом, а в России началось с сионизма, а пришло к иудаизму.*

— Да. И учителя иврита обозначили этот переход. Они задавали живой тон, они были самым живым в те годы в движении. Преподавать иврит казалось самым главным. Это был тот канал, через

который приносилось еврейское. И развитие самого движения шло через этот канал. То, что было вне него, действительно было второстепенным.

Преподаватели были разные и придерживались разных взглядов, но в сумме они делали одно общее дело, и на том этапе было даже не очень видно, что это делалось немножко по-разному.

Годы были еще вполне оптимистичные. Но уже тогда появилось понятие "отказа". До этого его фактически не было — хотя отказы были. Дело в том, что до этого люди, в основном, знали, за что им дают отказ. Это были, в основном, люди, имевшие пусть липовую, но оформленную секретность. Конечно, были случаи, когда отказ давали "просто так", но обычно в таких случаях люди после полугода борьбы уезжали. Потом эти случаи стали учащаться, появился замечательный термин "немотивированный отказ", возникло ощущение, что есть реальный процент людей, которые имеют проблемы с выездом. Оптимизм несколько упал — прежде всего потому, что стал удлиняться срок рассмотрения заявлений. И как! Если году в 77-м он составлял, может, 4—5 месяцев, то в 78-м он достиг полугода, а в 79-м — 8—9 месяцев. А потом наступил 80-й год, и не получили ответа люди, подававшие в 79-м. И каждый месяц давал все больше оставшихся. Это, конечно, очень давило на настроение. Раньше человек мог позволить себе роскошь уйти с работы, все бросить, думать о том, что он будет делать в Израиле, а тут стали бытовать мысли вроде: вот, я хочу подавать, а такому-то уже 10 месяцев не отвечают... Это резко изменило настроение, и большинство людей перестали быть бездумными оптимистами.

— *Стали отходить от движения?*

— Нет, они не уходили, напротив, возникло новое явление: многие из них стали учить иврит уже не по идеологическим, а по практическим соображениям. Раньше люди просто уезжали — какой уж тут иврит? Только те, у кого были духовные запросы, шли изучать иврит. А тут пошли, потому что если у тебя в запасе 8 месяцев, то лучше приехать "с языком".

С 79-го года в движении началась "новая история". А заметной она стала году к 81-му. Произошла такая интересная вещь — я ее хорошо по себе помню. Для меня идея, что можно что-то такое не есть, чего-то такого не делать, была, как и для всякого человека, воспитанного в совершенно секулярной среде, дика до невозможности. Вот, я говорил, что не мог себе представить себя читающим

Талмуд. Точно так же мне и в голову не могло прийти, что я буду религиозным евреем — хотя я, пусть и поверхностно, знал, что это такое. И вдруг выяснилось, что сама эволюция понятий как-то неумолимо подводит нас к иудаизму, что еврейские ценности существуют на совершенно секулярном фоне, как некие духовные потребности. Например, если вы попадали учить иврит к религиозному учителю, он мог оказать на вас очень интересное интеллектуальное воздействие — ему было что рассказать, а вы сами в сравнении с ним были абсолютно еврейски неграмотны.

Я начал учить иврит в 78-м году, как сейчас помню, у Миши Нудлера. Он уже тогда был человеком религиозным, учеником Эссаса, и с его легкой руки стал подбрасывать нам кое-какие интересные мысли. Скажем, мы говорим о Рош-Ашана, о Йом-Кипур, и вдруг оказывается, что в Рош-Ашана Всевышний творит суд над всем остальным миром, а вот евреям Он дает еще некое послабление, десять дней, когда Он изучает сомнительные случаи, анализирует их, и в этот период на приговор можно повлиять, да еще тремя конкретными способами: благотворительностью, молитвой и "тшувой". В российских условиях, да еще в сопровождении комментариев из Талмуда это производит очень сильное впечатление. Я помню, что я слышал целый ряд таких историй, и они оказали на меня значительное влияние. Это еще не сделало меня религиозным, но если бы после нескольких месяцев учебы у Нудлера меня спросили, как у меня обстоят дела с иудаизмом, я бы уже не сказал решительно "нет", я сказал бы, скорее, "да", хотя и с некоторыми колебаниями. Вот это воздействие еврейских идей стало очень заметным к концу 70-х годов.

А с начала 80-х вдруг выяснилось, что эра учителей иврита уже отошла в прошлое. Это не значило, конечно, что вдруг весь еврейский народ выучил иврит...

— *Что же — задача изучения иврита исчезла?*

— Нет, она просто перестала быть Задачей. Ну, скажем, когда появились автомобили, то возникла специальная профессия шофера. Обычный человек не мог вести машину. Сейчас почти любой может это делать. Что-то подобное произошло и тогда. Появилось множество людей, способных и готовых преподавать иврит. Предложение превысило спрос. Раньше некоторые давали по три урока в день, а сейчас человек, если только он не стремился попасть именно к самому знаменитому преподавателю, мог выбрать учителя в своем районе, мог договориться, кто к кому приедет.

Возникла прослойка людей, свободно владеющих ивритом, появились люди с филологическими интересами в иврите, и такие, у которых еврейские интересы — при полном владении ивритом — пошли в другую сторону. Сейчас в России есть люди, которые владеют ивритом не только лучше среднего израильтянина, а так, как владеют им, скажем, преподаватели израильских университетов, которые знают не только, как говорят, но и как следовало бы сказать и как говорили когда-то. Эра, когда иврит был дефицитом даже среди активистов, прошла.

— *Вы нарисовали картину постепенного перехода к еврейским интересам. Понятно, вы обрисовали верхушку, но это дает представление о том, каков средний уровень. Однако не подменил ли этот уход в чисто "еврейское" некий общий интерес к Израилю? Ну, иврит — в обстановке нарастающего русского национализма это даже приятно: а я вот знаю иврит, я настоящий еврей! Но к чему это, если это не связано с Израилем, с идеей выезда?*

— Вы не правы. Это было все то же движение за выезд, и любой из этих людей, упомянутых и неупомянутых, мгновенно собрал бы чемоданы и считал бы высшим счастьем уехать в Израиль. Поймите, я говорю сейчас не о грустных исключениях, не о людях, уехавших "мимо", а о том круге, который охватывал, с одной стороны, людей религиозных, а с другой — совершенно нерелигиозных (хотя число последних постепенно таяло и продолжает таять). Весь этот круг дружно снялся бы в Израиль при первой возможности. Более того, многие из этих людей предпочли бы отъезд духовному росту там же в России. Так что хотя жизнь их сейчас заполнена еврейскими ценностями, проблема отъезда нисколько не снята. Да и страх за будущее остался...

— *Значит, "новая история" началась после эры учителей?*

— Она началась несколько раньше. Эти периоды перекрылись. Новая история началась с появления людей соответствующего уровня.

— *С одной стороны, учителя превратились в равов, с другой — у них появилась аудитория?*

— И аудитория была уже другой. Хотя она продвигалась медленней, чем учителя, но потом, когда учителя перешагнули некий барьер, они стали совершенно по-другому влиять на людей.

— *Я хотел бы уточнить для себя: что появилось раньше, курица или яйцо? Учителя вышли на первый план, потому что секулярные "борцы за алию" отошли от дел, или секулярные лидеры были отодвинуты учителями?*

— Я думаю, что люди, которые оказались несостоятельны в новую эпоху, отошли от дел еще раньше. Вы, наверно, помните "переворот 76-го года", который тут назывался "культурной конференцией", а там — просто "дворцовым переворотом"? Люди, которые его произвели, которые выдвинули на первый план идею еврейской культуры, были старыми отказниками, лидерами прежнего движения. Многие из них продолжали успешно действовать, у них не было разочарования, чувства конкуренции. Все работали, но стало видно, что одни замедляют, а другие уходят вперед. Эти люди оставались крупными, уважаемыми лидерами, но как-то уже стало понятно, что продвижение будет в другом направлении. Было бы неверно сказать, будто "те" боролись за алию, а "эти" взамен предложили что-то иное. Просто борьба за алию приняла другие формы. Светские лидеры потеряли прежде всего не аудиторию, а поле деятельности. Деятельность, напрочь не связанная с культурой, с традицией, отмерла как-то сама собой. И сам культурный фронт стал все больше захватываться людьми, которые имели связь с религией, с Торой. Ведь не случайно преподаватели иврита поначалу были, в основном, нерелигиозные, а потом стали почти целиком религиозные. И хотя нерелигиозные тоже остались, центр преподавания иврита перешел к религиозным учителям, имевшим, что рассказать.

— Понятно, всегда побеждают последовательные. Те, кто стоял посредине, были попросту "вымыты".

— Новая эра принесла удивительные вещи. Люди, секулярные, как скалы, оказались внутри религиозного возрождения. Вот это действительно была победа.

— Это было в те времена, когда движение за выезд уже мелело? Исчезла та масса, которая бурлила, ехала, кипела, да?

— Ну, что такое, скажем, 82-й год? Алия почти закрыта. То, что от нее осталось, — капля в море. В самой России образовался этакий "пруд" отказников. Никогда прежде на поверхности не было тысяч людей, а тут вдруг они появились. Возникла совершенно новая ситуация. Представьте себе такую картину: некие ученые построили себе в быстром потоке наблюдательный пункт, сидят и наблюдают. Масса рыб проносится над ними, не замечая наблюдателей. И вдруг этот поток кем-то остановлен, какой-то запрудой. Рыбы начинают плавать вокруг, подплывать, заглядывать в окна. Реально фронт работ резко расширился, а вовсе не сократился.

Допустим, в отказе оказалось порядка 10 тысяч человек. Допустим, 5 тысяч из них испугались и решили затаиться до лучших времен. Но те 5 тысяч, которые по складу характера или по взгляду на жизнь были на это не способны, стали теми рыбами, что начали "подплывать". Им тяжело было сидеть одним, или страшно, или они оказались без работы и им нужно было держаться на плаву — так или иначе, возникла масса людей с еврейскими потребностями. А многих просто влекло к людям, которые что-то делают. Сам факт, что другие в тех же условиях что-то делают, — это очень сильно действует. Короче, фронт работ расширился. А религиозное ядро к тому времени уже перестало быть голым ядром, право голоса получили уже не два-три лидера, на карте появилось второе поколение — поколение учеников. И вот, когда ученики учителей сами приобрели новых учеников, которым они способны были что-то дать, — вот это была уже новая эра, эра реализации потенциала. Лидеры были уже способны не просто учить, но учить преподавателей, и вскоре их ученики действительно стали преподавать. И на карте реально появились ученики, а потом и ученики учеников. Возникла особая атмосфера, работа и учеба пошли вглубь.

— *И какое же место занимал во всем этом Израиль?*

— Без него просто ничего бы не было. Магнитным полем всего этого дела была алия. Без нее эта штука распалась бы, осталась бы лишь ничтожная часть. Люди начали серьезно изучать Израиль, чего раньше не было. Внутренние передачи израильского радио стали одним из главных источников информации об Израиле. Даже не в том дело, что раньше не было такого уровня знания иврита. Просто люди мысленно, всеми интересами жили уже настолько "здесь", что местные израильские новости стали для них новостями первостепенного значения. И что показательно: люди, наиболее продвинутые в еврейском смысле, оказались и наиболее знающими Израиль — вплоть до знания маршрутов иерусалимских автобусов... Вряд ли кто-нибудь в Союзе знал Израиль так глубоко, как организатор религиозного возрождения Илья Эссас. А с другой стороны, среди наиболее знающих и любящих Страну, был и такой человек, как Саша Холмянский, который пришел к Торе совершенно необычным, абсолютно самостоятельным путем, просто потому, что увидел, что другого пути нет. Если человек требовательно относится к себе в духовном плане, он непременно становится

на этот путь. Тютчев когда-то писал, что все революции неизбежно перерастают в утопии. Долгое время быть в движении и не прийти к еврейству — утопия. Человек, который отдает себе отчет, что он еврей, в таких условиях неизбежно приходит к иудаизму. А оттуда уже не уходят.

— *Итак, эпоха учителей иврита сменилась эпохой учителей Торы?*

— С 82-го года это стало уже реальностью, с которой нельзя спорить. Учителя Торы были единственными, кто продолжал действовать на умы. Конечно, до сих пор еще остались люди совсем "светские". Они, как правило, старше, потому что основная часть молодых людей успела заметно сместиться в сторону религии. Но оказывается, что даже человек, которого никак нельзя было заставить надеть кипу при зажигании ханукальных свечей, вдруг стал что-то такое "соблюдать". Он продолжает повторять: я не религиозный — но видно, что это уже совсем не прежнее "нет". А те, кто на этот путь не встал... что ж, некоторые умерли для движения совсем, некоторые остались, но теперь, вместо того, чтобы двигать, руководить, распространять, они занялись чисто "оборонительной" деятельностью: подыскивают адвокатов для арестованных, помогают советами и деньгами и тому подобное. Но все это стало уже деятельностью периферийной, обслуживающей. Настоящая же работа ушла от них — как минимум, к учителям иврита и постепенно все дальше от "голого" иврита — к Торе.

— *Что же — возникли настоящие ешивы?*

— Называйте, как хотите, главное — что существуют группы людей, важнейшее содержание жизни которых — изучение Торы. На каком уровне? Уровень Ильи Эссаса, скажем, не уступает уровню полноценного раввина, официально зарегистрированного в Израиле. Люди классом ниже, поколение учеников, вполне способны хоть сейчас пойти в любую израильскую ешиву и быть наравне с остальными. Это самое меньшее, что можно о них сказать, и это немало, потому что такой уровень в Израиле дает право на преподавание Танаха и других еврейских дисциплин в школе. Эти люди уже в Союзе вполне созрели для таких израильских дипломов.

— *Каков же круг людей, захваченных этим движением?*

— Смотря по степени захваченности. В Москве есть сейчас, наверно, около тысячи человек, семей триста, соблюдающих мицвот. Это число непрерывно растет. Оно было близко к нулю пять-шесть лет назад, оно стало порядка сотен года три назад и вот уже

достигло тысячи. Плюс к этому около половины людей, которые оказались в этой "отказной заперуде", тоже уже пошли за религиозными или, во всяком случае, сильно сдвинуты в их сторону. Это захватывает еще тысячу-другую людей. Это, конечно, не миллионная масса, но самое важное здесь — это уникальная скорость роста. Если она сохранится — будет и масса.

— *А какова степень влияния "отказа" на окружающее еврейство?*

— Теперь о тех, кто вне "заперуды". Я начну издалека. Основная часть советского еврейства сейчас подзатаилась. Нужно иметь в виду, что сейчас в России нет ни одного еврея, совсем чуждого этим проблемам. Уехало порядка десятой части общего числа, и большинство семей имеет уехавших родственников, друзей, знакомых. И это для них настолько животрепещущая тема, что я не побоюсь сказать, что если бы этому процессу дали развиваться, то уехало бы не меньше половины евреев. Может, и больше, потому что цепная реакция отъезда захватывает новых людей автоматически. Мы видели, как это происходило — люди, которые и помыслить не могли об отъезде, спустя пять лет, видя, как сходит один слой этой луковицы за другим, вдруг поднимались. Конечно, миллион евреев уехали бы. Если на первом этапе набралось около трехсот тысяч и недостатка в желающих не было, ясно, что мы дошли бы и до миллиона, ведь давление изнутри, от избытка желающих, никогда не прекращалось. Понятно, это развернулось бы постепенно. Но ведь это значит, что люди, хоть и издалека, наблюдают за нашей деятельностью очень пристально.

Даже самая далекая публика сегодня настороже. Многие прекратили всякую практическую деятельность, ибо не видят сейчас в ней никакого смысла, — но продолжают наблюдать. Есть довольно много людей, которые делают это более активно, но о выезде не просят. Ведь и в ваши бурные времена кипение затрагивало лишь меньшинство, но не было разговора в еврейской компании, который не касался бы отъезда. Сейчас возникло новое явление: есть широкий круг людей, которые перестали бояться, которые свободно появляются внутри "отказной заперуды". В былые времена можно было с уверенностью сказать, что человек из интеллигентной еврейской семьи, уж конечно, еврейского алфавита не знает. Сейчас есть огромное количество людей, никуда не собирающихся, для которых иврит — дань моде, которые что-то учили, читали, не ставя, вроде, перед собой никаких задач. Очень многие перестали бояться. Это мне немного напоминает ситуацию в Римской импе-

рии накануне разрушения Храма. Тогда тоже была очень широкая мода соблюдать субботу, большой интерес к иудаизму, только среди не-евреев. Вот сейчас есть огромный интерес к еврейскому, к ивриту среди людей, не задействованных в "запруде" — евреев, разумеется. И это захватывает более широкий круг людей, чем в период массовой алии.

В других городах эти достижения меньше. Только в Ленинграде, может быть, можно говорить о сходной картине, хотя и смягченной, уменьшенной и запаздывающей по сравнению с Москвой. Кое-где нет еще почти ничего. Но во многих городах уже сложилось то самое ядро, о котором мы говорили. И это ядро гораздо крепче и более продвинуто, чем было в Москве в 1976 году.

— *И везде процесс идет одинаково — в сторону религии?*

— Безусловно. Тут нет никакого сомнения. Есть места, где это очень ясно видно — ведь на маленьких объектах, на периферии, все очень прозрачно, а еще вчера там ровным счетом ничего не было. То, что стрелка указывает в сторону Торы, оспаривать невозможно.

— *Нет ли тут определенной опасности? Движение ушло вглубь, в духовность, но на поверхности, для Запада, для властей, как бы перестало существовать. Если не считать всплесков очередных судебных процессов, вообще не слышно о каком-либо давлении на власти, о какой-либо борьбе за выезд со стороны религиозных еврейских кругов, о которых вы говорите...*

— Я совершенно с этим не согласен. Средства давления действительно изменились. Но само давление, на мой взгляд, только усилилось. Другое дело — может, для средств массовой информации пицци стало меньше. Лозунгов и демонстраций стало меньше. Но я не считаю, что лозунги и демонстрации — это лучшее средство давления. У нас есть кое-что получше. Человек 70-х годов, который вошел в это дело, хотел уехать, и которого остановили на полпути — ну, он покипел бы и вернулся к прежней жизни. Для людей, которые сейчас этим занимаются, — нет дороги обратно. Для религиозного еврея нет места в Советском Союзе. Давление, которое они создают, оказывается уже естественным, а не дутым. Раньше это было давление в котле, который трясли — сейчас это разогретый котел, на крышку которого изнутри давит пар. Чтобы пар давил, не надо трясти котел. Достаточно потихоньку подкладывать дрова. Я не слышал, чтобы котлы взрывались от тряски. Но от давления они взрываются.

Вел интервью Р. Нудельман

МОСТ НЕ РУХНУЛ...

— Один из наших интервьюируемых — Виктор Богуславский, который проходил по второму Ленинградскому процессу, получил и отсидел свои три года. Скажите, тот круг еврейских активистов, который сегодня действует в СССР, имеет какие-либо контакты с первым поколением, помнит те имена?

— Без сомнения, сегодняшние активисты помнят и знают имена активистов первых поколений. Многие из этих имен — назову хотя бы Кузнецова, Слепака, Щаранского, Менделевича, Воронеля — стали легендарными.

Вопрос о контактах и генезисе немного более сложен. Большинство названных мною людей уже в Израиле. Некоторые из них прибыли в Израиль из тюрем и лагерей. Так что говорить о прямых контактах не приходится. Некоторые из старых отказников, все еще находящиеся в СССР, отошли от активной борьбы. Они устали, и никто не вправе осуждать их за это. Находиться 12—15 лет в отказе, под непрерывным и жестким давлением КГБ, когда надежд на отъезд остаётся все меньше и меньше, — очень сложно. Можно и устать, и отойти. Но со многими из них мы имеем контакты, и их опыт нам очень помогает.

Наконец, есть еще одна категория — те первоактивисты, которые начинали борьбу и, несмотря на все преследования, продолжают ее и сегодня, находятся в ее центре. Перед этими людьми остается только преклоняться.

— Что же представляют собой сегодняшние активисты?

— Я надеюсь, вы не ожидаете, что я дам типичный портрет активистов 80-х годов. В общих чертах можно сказать, что сегодняшние активисты — это люди, ведущие борьбу за выезд в Израиль или принимающие заметное участие в одной из форм еврейской деятельности.

— Какие формы вы имеете в виду? Мне интересно понять, изменились ли они за пятнадцать лет истории движения...

— Пожалуй, важнейшие формы борьбы сегодня — не считая собственно борьбы за выезд и связанных с ней прямых акций — это преподавание иврита, религиозная деятельность, организация лекций и семинаров, работа с детьми и проведение еврейских праздников. В целом, я бы разделил все эти формы на агитационные и просветительские.

— *Каким вы отдаете предпочтение?*

— Мне трудно отдать пальму первенства одному роду работы в ущерб всем остальным. Без сомнения, без открытой, активной борьбы за выезд, без таких кампаний, как письма протеста, движение за получение израильского гражданства и т. п., не будет ни выезда, ни движения. Но не подлежит также ни малейшему сомнению, что без преподавания иврита, без религиозной активности, без постановки пуримшпилей, организации еврейских детских садов, проведения семинаров и лекций — просто некому будет уезжать. Только благодаря этим просветительским формам активности люди приходят к еврейству, осознают себя евреями, вспоминают свои "корни", начинают понимать, что ехать надо не только "откуда", но и "куда". А осознав себя евреями, они начинают активно бороться за выезд. Поэтому, повторяю, важно и то, и другое, одно не существует без другого.

— *Вы говорите — "люди приходят..." Это какое-нибудь заметное число людей?*

— В кампании борьбы за выезд, подписании писем протеста, в отказе от советского гражданства в пользу израильского принимают сегодня участие многие сотни людей. Одних преподавателей иврита в Союзе насчитывается сегодня сотни. А вокруг них задействованы, пожалуй, многие тысячи других — если не активистов, то просто участников движения, как отказников, так порой и еще не подавших даже. Они изучают иврит, смотрят наши пуримшпили, слушают лекции по Торе или еврейской истории. И все время из этого круга в ряды активистов приходят все новые и новые люди.

— *Мне представляется, что в последние годы наступило какое-то оживление светской сионистской деятельности? Верно ли это?*

— Это оживление произошло сравнительно недавно. Ему предшествовали трудные годы. В 1981 году выпустили последнюю большую группу активистов, так сказать — обезглавили движение, и наступило затишье. На всем фронте, — не было никаких семинаров, журналов, даже политической борьбы. Наш последний поход в Верховный Совет состоялся в 82-м году, потом наступили какие-то глухие времена. И тут огромная заслуга таких людей, как Яков Городецкий из Ленинграда и его группа, как московская группа активистов и другие, которые возродили новые формы светского сионистского движения. Городецкий начал с попытки создания в Ленинграде Еврейского исторического общества. Он тщательно изучил советские законы и подал такую

заявку, что к ней было не подкопаться. Конечно, ГБ все равно эту затею задавила, но с этого что-то началось, какой-то сдвиг. Потом было письмо Городецкого о репатриации, которое очень многих всколыхнуло. Затем наша группа начала движение за принятие израильского гражданства, и тут уже счет пошел на сотни человек. Постепенно возродившаяся активность стала распространяться и на культурные формы деятельности. В Москве мы начали — в добавление к детским еврейским садам и воскресным школам — также исторические семинары. Они довольно активно продолжались весь 83-й год. На лекции Мики Членова — о неашкеназских еврейских группах в России — собиралось до шестидесяти человек. Но потом гебешники начали ставить нам палки в колеса. На мои лекции о деле Дрейфуса они являлись непременно, — будто им обязательно хотелось познакомиться с этим делом. Я помню, как после другой моей лекции, “Погромы и самооборона”, наш дом был буквально окружен гебешниками, и когда нас вывели, я был поражен: было более ста сотрудников ГБ, чтобы вывести тринадцать евреев — участников семинара. Как будто речь шла о взятии крепости. В конце концов, они закончили с московским семинаром, но тогда мы организовали его продолжение в Ленинграде.

Были и другие формы культурной деятельности. Хазанов вместе с Членовым пытались организовать Еврейское этнографическое общество — но об этом, пожалуй, профессор Хазанов может рассказать лучше меня, благо он сейчас тоже уже в Израиле. Начали появляться журналы — впервые после долгого перерыва. В Ленинграде Юрий Колкер издавал “Леа”, у него вышло пять номеров, а после его отъезда дело продолжила новая редколлегия, они стали чередовать — светский номер, религиозный, светский, религиозный. В Риге группа активистов стала выпускать “Чтения по иудаике” — обманчивое название, там почти ничего не было от иудаики: первый номер, например, был почти полностью посвящен обсуждению романа Рыбакова “Тяжелый песок”. В Москве начали еврейский журнал “Магид” — ну, здесь удалось выпустить только первый номер, потом редколлегию вызвали в КГБ и сказали: “Выпустите второй номер — посадим...” Им пришлось отказаться от своего намерения. Еще одна существенная форма работы — воскресные школы, где читаются лекции, причем порой не только для детей, но и для взрослых — по еврейской истории, культуре, литературе. Мы одно время даже

носились с мыслью организовать что-то вроде "института" на этой основе, где регулярно велись бы соответствующие курсы, выходил бы журнал. Но КГБ положил конец этим мечтаниям. Они ведь очень бдительно следят за еврейским движением, и не только за его политической, так сказать, стороной, но и за культурной. Как только что-то возрождается, как только появляются новые активисты и лидеры — ГБ тут же "снимает сливки": выпускает одних и сажает других. Изреживает движение, не дает ему развиваться. Так было в середине 70-х годов, потом в их конце, потом в начале 80-х и вот сейчас: все время выбрасывают самых активных, а других отправляют в лагеря. Раньше они боролись, в основном, с политическими формами движения и их активистами, потом стали бороться с культурными формами, со светским сионизмом, а сейчас уже добираются до религиозных — таких, как Эдельштейн в Москве, Койфман в Киеве... Самое поразительное — что даже в таких условиях сотни и тысячи людей все продолжают борьбу.

— *И все время появляются новые люди?*

— Да, и все время появляются новые. В 81-м году они обезглавили движение, на какое-то время наступило глухое затишье, а потом появились люди, вроде Городецкого, которые с этим затишьем не могли смириться, им это было не по сердцу, неприемлемо. Наверно, и сейчас появятся новые. Но нужно иметь в виду, что формы подавления становятся все жестче. Меня немного удивляет, когда здесь, в Израиле, старые активисты говорят: "Ну, что вы, вот в наше время преследовали — не чета нынешнему..." По-моему, сейчас и в лагерях стало куда жестче — раньше не резали глаза, не калечили людей, как, вот, искалечили Эдельштейна. Сейчас сесть просто страшно. Поэтому и оценивать то, что делают нынешние активисты, нужно именно в этой перспективе, а не в свете наших желаний — чтобы делались большие, громкие дела. То, что делается сейчас — в Москве, в Ленинграде — я не побоюсь назвать, по нынешним меркам, настоящим героизмом. Взять хотя бы наше женское движение...

— *Да, я слышал, но хотелось бы подробнее...*

— Об этом лучше могла бы рассказать моя жена, она все время находилась в центре этого движения. Они организуют еврейские детские сады, многое другое, но, пожалуй, сады — это наиболее показательное для нынешних условий. Власти люто их преследуют, проводят налеты, пугают детей. После каждого такого налета

мы отвечаем письмами протеста — ну, в большинстве случаев эти письма остаются безответными, ответили нам только один раз: пригласили в Моссовет, к заместителю председателя. Очень вежливо он с нами разговаривал, все доказывал, что еврейский детский сад противоречит советским законам. “Мы же татарский или грузинский сад тоже не открываем... зачем это... сады по национальному признаку... потом, вы там детей учите реакционному языку...” Мы возразили, что, мол, на этом языке издается газета израильской компартии, как же он может быть “реакционным” — он ничего внятного не мог на это ответить. “Нельзя... соседи возражают... квартирные условия”. Мы говорим: хорошо, тогда мы снимем дачу. На это он вообще не нашел никаких контраргументов. Тогда мы говорим: вот, мы так хорошо побеседовали, нельзя ли зафиксировать все это на бумаге? Тут он взвился, показал свое настоящее лицо: “Ничего я подписывать не буду, можете на меня хоть в ООН жаловаться!”

Мы сняли на лето дачу в Малаховке, и тогда гебешники совершили налет на нее. Там в это время была всего одна воспитательница, и та не очень опытная, не сумела им противостоять, и они начали издеваться над детьми. Дети отказывались им отвечать, кто их родители, так они ставили детей к стене и всех фотографировали. На шум пришли соседи — православные священники, пытались заступиться — мол, тут с детьми очень хорошо обращаются, детям хорошо — но гебешники их быстро припугнули: “Что, батюшки, захотели приход потерять? Так мы это вам быстро устроим!”

Вот так каждый раз: возникает какая-нибудь новая форма работы — гебешники поначалу присматриваются, не мешают, а потом обрушиваются, учиняют подлинный разгром — как вот в Малаховке, как с нашим историческим семинаром в Москве. Еще один пример, крайне примечательный. Есть в Ленинграде замечательный человек, Миша Берзин — он ведет экскурсии по еврейскому Ленинграду, они пользуются колоссальной популярностью, их даже публикуют в журнале “Леа”. Он водил по Преображенскому кладбищу так увлекательно, что к нему собирались буквально сотни людей. Кончилось тем, что два автобуса с гебешниками врезались в такую группу экскурсантов и разогнали ее. Так что давление идет по всему фронту, преследуются все формы активности. Но несмотря на это, светская сионистская активность сегодня весьма расширилась, как видите, — появились де-

сятки новых форм, работа пошла вглубь, охватила сотни людей. Так что не следует думать, будто все движение сводится только к преподаванию иврита или к религиозной деятельности, — хотя это тоже очень важные его формы.

— *Вы видите какие-нибудь перспективы в преподавании иврита — просто в преподавании, без "политики" и без "религии"?*

— Я думаю, преподавание иврита играет большую роль и само по себе. Люди узнают, как я уже сказал, свой язык, свою культуру, историю, у них крепнет желание уехать в Израиль. Так что перспектива у иврита есть. И те преследования, которые власти обрушивают на преподавание и преподавателей иврита, показывают, что власти этой формы нашей деятельности боятся. А кроме того многие преподаватели иврита занимаются еврейской культурой (причем не только просветительски, но и творчески), занимаются религиозной деятельностью, и через них многие их ученики приходят и к этим формам активности.

— *Помогает ли вам Израиль — наши журналы, книги, радиопередачи?*

— С израильской пропагандой дело обстоит очень сложно. Одни ее виды и формы нравятся и достигают своей цели, другие, к сожалению, нет. Мне не хочется заниматься подхалимажем: все-таки я даю интервью журналу "22", — но должен сказать, что по мнению как еврейской, так и русской интеллигенции в Москве и Ленинграде это лучший журнал на русском языке в мире. И то, что он выходит в Израиле, является очень хорошим, сильно действующим пропагандистским фактором.

Но, к сожалению, "22" мы видим в Союзе очень редко, а вот "Израиль сегодня" — очень часто. Конечно, когда нет ничего другого, пусть будет хоть "Израиль сегодня". Но тот "Израиль сегодня", который мы получали, производил жалкое впечатление. Это была та пропаганда, которая действовала против своей цели. Я готов сказать, что этот журнал работал против Израиля. Недаром в Союзе его называют "Крокодил сегодня", а то и просто "Правда". С той разницей, что в "Правде" можно хоть изредка найти критические статьи о Советском Союзе, а в "Израиле сегодня" не бывает критических статей об Израиле никогда. Зато там полным-полно какой-то топорной пропаганды: наша израильская корова дала такое-то количество литров молока и вышла на первое место в мире, а наш израильский теннисист поднялся со 154 места на 137-е, и это замечательный успех израильского спорта. (Так и подмывает сказать — советского, потому что это одни и те же штампы.) Насколько я знаю, сейчас "Израиль сегодня"

будет издавать другая редколлегия, и, возможно, журнал изменится. То, что мы получали в СССР, было на крайне низком уровне.

По-моему, уровень передач "Кол Израэль" на русском языке в последнее время повысился. Очень хорошо, что несколько раз в день передаются сообщения о положении узников Сиона и отказников в СССР — евреям СССР очень важно, что о них помнят во всем мире, а особенно в Израиле. Многие новости из других городов Союза мы узнавали тоже благодаря передачам "Кол Израэль". Эстер Карми прекрасно ведет эту рубрику. В то же время такие передачи, как "Музыкальный привет" и некоторые другие, до оскомины напоминают аналогичные программы советского радио. Вряд ли за них стоит держаться...

— *Вы нарисовали довольно впечатляющую картину возрождения светского сионизма в последние годы. Из предыдущего интервью у меня сложилось впечатление, что светского сионизма в России сейчас чуть ли не вообще нет, остался только сионизм религиозный, точнее — просто еврейское религиозное движение... Каково соотношение между этими двумя течениями в действительности?*

— Давайте оговоримся сразу: для меня главное здесь существительное, а потом уже прилагательное. Иными словами, для меня главное — это сионизм. То, что помогает советским евреям осознать себя евреями и приводит их в Израиль. Вне зависимости от того, в какой оболочке это подается — в светской или религиозной. Без сомнения, сегодня в России тысячи и тысячи евреев (тысячи здесь — не преувеличение, а реальность) приходят к своей религии. И это прекрасно, так как это помогает им осознать свое еврейство. Они не потеряны для Израиля. Но я хотел бы отметить одну особенность этого прихода к религии. На мой взгляд, активное увлечение еврейской религией в СССР является отражением более общих процессов, которые происходят и с неевреями в этой стране. Разочарование в марксизме привело к тому, что началось колоссальное возвращение русских в православие, украинцев — в униатство, литовцев — в католичество (впрочем, последние в массе своей католичества и не теряли). Еврейская молодежь в Москве, Ленинграде, Киеве видит это и тоже начинает искать свои корни в религии. Этот поворот, в основном, начался в "глухие времена" начала 80-х годов, когда ничего иного не было, никакой светской активности, все было задавлено. А молодежь жаждала активности. Но объяснение состоит не только в этом. Религиозное движение дает людям готовую идеоло-

гию, готовую схему поведения, пример, направление всей жизни, готовые ответы на многие вопросы. И главное — что эта схема соответствует национальному стереотипу. Не случайно ведь русские идут в православие, а не в католичество. И точно так же многие молодые евреи устремились в иудаизм. Или в хасидизм.

Любопытно, что более популярными оказались именно крайние формы. В Москве, например, нет реформистов, зато много хасидов. И ортодоксов. Молодежь увлекают более крайние, активные формы. Постепенно это стало значительной составной частью еврейского движения вообще. Была заметная группа у Эссаса (сейчас она почти вся переместилась в Израиль), у Полонского, у Кары Иванова, была даже группа хасидов-сионистов. Когда я уже сейчас, во время поездки во Францию, рассказывал, что в Москве есть хасиды-сионисты, мне не верили, говорили, что такое возможно только в России. Но действительно — отличительной чертой всех этих групп является сочетание религии с сионизмом. Есть, конечно, и такие, которые идут дальше, уже к "чистой" религии, но таких очень мало. В основном, лозунг религиозных групп — Тора и Израиль. И это крайне важно. Еще раз повторю: на мой взгляд, самое важное, чтобы советские евреи помнили о своем еврействе и противостояли насильственной ассимиляции. С моей точки зрения, классический, светский сионизм — лучший вариант для этого. Но если для многих этого недостаточно, что делать — пусть будет сионизм религиозный, лишь бы сионизм.

— *А вы полагаете, что у светского сионизма есть будущее в России?*

— Сионизм в России — это борьба. Борьба за возрождение еврейства, за выезд. О формах этой борьбы я уже говорил. Формы светского сионизма многообразны и плодотворны, они привлекают многих людей. Поэтому я думаю, что у светского сионизма в России есть будущее — так же, как у религиозного. Процесс возрождения будет идти в двух направлениях — светском и религиозном. Информация об Израиле, исторические и культурные семинары, лекции и журналы, группы иврита — все будет способствовать этому. Да и сам процесс борьбы способствует выработке идеалов. Я глубоко уверен, что настоящий сионистский дух живет сегодня только в России. Именно у моих друзей в Москве и Ленинграде есть те идеалы, ради которых люди способны на многое. В СССР куда больше сионизма, чем сегодня в Израиле — здесь его достаточно сложно найти, здесь он стал словом, от ко-

торого многие презрительно морщатся. А для нас это был смысл жизни.

— Но это вы говорите об активистах, о людях, идеологически уже zaangażированных. А чего хотят массы?

— Я глубоко уверен, что если бы ситуация улучшилась, достигла, скажем, хотя бы уровня 79-го года, из СССР уехало бы около миллиона человек. Я не хочу сказать, что все они поехали бы в Израиль, — но уехали бы вне всякого сомнения. В СССР нет сейчас такой еврейской семьи (даже если все взрослые в ней члены КПСС и занимают самое высокое положение), в которой не обсуждался бы вопрос о выезде. Слишком тяжело быть евреем в России. Антисемитизм захватил все советское общество. И нечего сравнивать его с американским или французским антисемитизмом — в России он на всех уровнях: государственный антисемитизм, антисемитизм широких масс и — самый тяжелый для меня — антисемитизм русской интеллигенции. Один питает другой, и уже не поймешь, где он сильнее — внизу или наверху. Когда при Андропове была попытка открыть ряд институтов для евреев, руководство факультетов саботировало эту инициативу. Русские или украинские интеллигенты могут ненавидеть советскую власть, но — про себя, зато евреев они ненавидят вслух, приписывая им все грехи этой власти. В одной русской полудиссидентской компании мне откровенно сказали: "Вы, евреи, виноваты в уничтожении нашего гено типа..." — и "объяснили", что, оказывается, это евреи устроили в России революцию, которая истребила лучшую часть русского народа. А бешеный антисемитизм в школе, где травят уже не только детей отказников, но всех вообще еврейских детей! Даже антиалкогольная кампания имеет четко выраженный антисемитский характер: снова появились былые рассуждения о том, что евреи спаивают русский народ. Поэтому евреи не могут не думать о выезде. И если мало подают или, как порой кажется отсюда, "недостаточно давят", то причина этого — в сегодняшней ситуации. Трудно стало получить вызов, опасно стало подавать — не выпустят, запрут на годы отказа. А для активистов опасность еще больше. И порой не знаешь, как лучше поступить. Я помню, когда меня в начале января 85-го года арестовали на улице и потом, во время допроса, сказали: прекратите вашу активность, — многие уверяли меня, что ГБ хочет меня отпустить и поэтому нужно "притаиться". Мне говорили: "Леня, прекрати все, зачем ты им мешаешь, что тебе важнее — свои принципы или выезд?" И соблазн был действительно

большой. Но в конечном счете я понял, что если я соглашусь прийти, то никогда не уеду. Я покажу этим, что меня можно сломить, а тогда — зачем им меня выпускать? Но это очень трудно и страшно. И я никому бы не взялся советовать, поступать так или этак, лезть на рожон или искать более осторожные формы борьбы, более “легальные”, что ли. В нынешних условиях требовать от людей, чтобы они “нажимали” на советские власти, — все равно, что требовать, чтобы они добровольно шли в лагеря. Но я понимаю, что без нажима трудно, с другой стороны, организовать борьбу за советских евреев на Западе. Здесь возникает противоречие. Я думаю, что выход из него — в переносе центра борьбы в Иерусалим. Тут легче организовать борьбу за открытие ворот выезда, чем в Москве или Ленинграде. Надо добиваться, в первую очередь, прекращения преследований, — тогда активность движения, его давление удесятятся мгновенно. Ибо у движения есть скрытый потенциал, я в этом не сомневаюсь.

— *Знаете, на нас буквально шоковое впечатление оказало заявление Эйтана Финкельштейна о том, что “мост рухнул” — он имел в виду мост, соединявший сердца рядовых советских евреев с Израилем. По его утверждению, в России нет сегодня евреев, которые хотели бы ехать в Израиль.*

— Я с этим не согласен. В Израиль всегда ехали либо отдельные идеалисты, либо целые общины. Так было и когда начался выезд из Союза. Из Литвы, Молдавии, Грузии ехали в Израиль целые общины, из России, с Украины — идеалисты. Ту массу евреев, которая сейчас осталась в Москве, Ленинграде, Киеве, Минске, трудно назвать общиной. Зато в ней возрождается идеализм. Складывается и новая община — община отказников, которая в подавляющем большинстве едет в Израиль. Едут идеалисты и не из той общины. А главное — если откроются ворота, хлынут тысячи и десятки тысяч других. Я в этом уверен. Потому что “мост рухнул” только в воображении Эйтана Финкельштейна.

Вел интервью Р. Нудельман

В. Богуславский — архитектор, прибыл в Израиль в 1974 году, живет и работает в поселении Баркан (Шомрон).

А. Этерман — математик, приехал в Израиль в 1986 году, живет в Иерусалиме.

Л. Прайсман — историк, приехал в Израиль в 1986 году, живет и работает в Иерусалиме.

Начиная читать Библию в подлиннике, мы сталкиваемся со странным грамматическим явлением: прошедшее время выражается глагольными формами будущего времени, а будущее время — формами прошедшего времени. Причем, это не механическая перестановка, ибо прошедшее время выражается также и глаголами в прошедшем времени, и глаголы будущего времени употребляются также и для выражения будущего действия.

Это тем более странно, что при переводе все обращения времен исчезают, совершенно, по-видимому, не искажая текста. Зачем же понадобилось такое усложнение и что за ним стоит?

Библия — это мир, данный в откровении. Чтобы понять, почему он такой, а не другой, нужно войти в него и жить в нем.

Сравнивая мир Библии с нашим обыденным представлением о мире, мы находим множество различий. Среди них есть различие в понимании времени. Это-то различие и проявляется в употреблении глагольных форм.

Мы привыкли делить время на прошедшее, настоящее и будущее. Причем, выбор временной формы происходит относительно настоящего, потому что

Бен-Барух

ВАВ, ОБРАЩАЮЩИЙ ВРЕМЯ

мы представляем временную последовательность не иначе, как последовательность настоящих моментов. Прошедшее для нас есть прошедшее настоящее, а будущее — это будущее настоящее. Настоящее абсолютно, а прошедшее и будущее относительны. Кажется, это очевидно.

Но вот, язык Библии опровергает очевидность такого взгляда на время, ибо он вообще не знает настоящего времени. И то, что мы переводим как настоящее время, в подлиннике есть причастие, то есть вневременная глагольная форма. В мире Библии время не есть последовательность настоящих моментов. Но тогда последовательность чего?

Есть два способа сопоставлять время и событие. Можно сказать: это событие произошло в такое-то время, — а можно: это время есть время такого-то события.

В первом случае молчаливо полагается, что время более укоренено в мире, чем событие. Ведь событие могло быть, а могло и не быть, а время течет неудержимо.

Во втором случае подоплека совершенно другая. Бытие воспринимается, как ряд событий, а время есть лишь ретроспективная развертка этого ряда. Поэтому о времени можно говорить, лишь обращаясь в прошлое.

Ибо время события определяется его концом. Хотя наше обиходное понятие о времени есть понятие о длительности события, но при этом из сознания обычно выпадает, что мельчайшие единицы времени, которыми мы пользуемся, могут быть зафиксированы только по концам микрособытий, а в самих микрособытиях время не имеет определения.

Но раз мы не знаем, какое время протекло между "тик" и "так" микрособытия, тогда и то, что мы называем длительностью, есть лишь ретроспективная развертка совершившихся "тик" и "так".

Поэтому, по сути вещей, время не бывает ни настоящим, ни, тем более, будущим, а только прошедшим. Именно такое понятие о времени дает Библия. В мире Библии существует только прошедшее; настоящее есть осуществляемое прошедшее, а будущее — это прошедшее, имеющее осуществиться.

Поняв это, мы можем приблизиться к пониманию основы библейской хронологии, к понятию о начале.

"Вначале сотворил Бог небо и землю", — так начинается Библия. Начало есть не только абсолютная точка отсчета времени,

но и полнота всего сущего, ибо в мире Библии существует только прошедшее, и начало есть абсолютное прошедшее, прошедшее всего сущего. Настоящее есть осуществление того, что уже было в начале, а будущее есть то, что непременно должно осуществиться, поскольку тоже было в начале.

Все бытие вытекает из начала, как из источника, но осуществляясь, оно все более и более приближается к той полноте, которая была в начале; то есть вытекая из начала, бытие стремится к началу же; из абсолютно прошедшего, через длящееся прошедшее, к абсолютно прошедшему; из вечности, через время, в вечность.

И вот, чтобы изобразить это движение из его середины, из длящейся истории бытия, Библия употребляет поразительный по красоте и лаконичности прием: когда нужно сказать о действии, которое еще не совершилось, она берет букву вав, что значит "крючок", и ставит его впереди глагола в прошедшем времени, то есть как бы цепляет еще не совершившееся событие на выходящую из начала ось прошедшего времени, тем самым показывая, что это будущее действие изначально предопределено к осуществлению. Когда же речь идет не о предопределенном, а о возможном событии, употребляется обычное будущее время.

Но вот, нужно развернуть ряд событий уже прошедших. Первое из них Библия фиксирует на временной оси глаголом прошедшего времени, а последующие, с помощью того же вав — крючка, цепляет ко времени, будущему относительно описываемых событий.

Но почему по-русски можно сказать: он пошел и взял, — а на иврите нужно говорить: он пошел и возьмет? Если бы дело было только в изображении последовательности действий, достаточно было бы порядка слов. Ведь события прошедшего уже имеют свое собственное место на оси времени, зачем же подвешивать их к будущему?

Этот библейский прием указывает на другую основополагающую сторону бытия, столь же важную, как и предопределенность событий от начала. Реальность эта есть свобода деятельности Бога и человека на общем фоне изначальной предопределенности.

Ибо в начале было все, но не все было предопределено. По-

этому история не есть только последовательность имеющих совершиться событий, но совокупное действие предопределения и свободы. Предопределено только что должно произойти, но как это произойдет, становится известно лишь в процессе осуществления.

Каждое предопределенное действие вызывает целый ряд свободных действий, которые и формируют бытие в его становлении. Такие-то, свободные, действия Бога и человека и обозначает Библия глаголами будущего времени с вавом.

Если для выражения предопределенности будущие события цепляются вавом к прошедшему, то события не предопределенные и, тем не менее, осуществившиеся в прошлом, тем же крючком-вавом цепляются к будущему, то есть к концу времени. Ибо конец времен есть древнее начало, но только обогащенное новой реальностью, рожденной в самом процессе становления бытия.

Подобно, как зерно предопределено стать ростком, колосом и опять зерном, но уже иным, и заранее неизвестно, тощ или тучен будет колос и сколько зерен принесет, ибо это зависит от благословения Бога и труда человека, так и начало, осуществившись в истории, выйдет из нее началом же, но преображенным и умноженным.

В мире Библии, будущее есть осуществленное начало и прошедшее есть осуществляемый конец.

Таково течение и смысл времени, раскрытое нам Библией при помощи странной грамматической конструкции, безболезненно исчезающей при переводе.

П.С.: Когда автор писал эту статью, он немного лукавил. Главным предметом его исследования был не библейский текст, а собственные его догадки об отношении между бытием и временем. Но библейская иллюстрация оказалась настолько превосходной, что он уступил соблазну замаскировать изложение под экзегезу. Тогда первоначальное намерение вылезло наружу зияющим отсутствием текстуальных примеров. Самое забавное состоит в том, что текст подлинника не только иллюстрирует высказанные в статье предположения, но, по-видимому, нигде им не противоречит. Во всяком случае, автор такие противоречия искал, но не нашел. Автор ни в коем случае не претендует на идентичность высказанных им мыслей принципам древнееврейской грамматики. Но и не исключает такого совпадения. В конце концов, в каждом из нас скрыт древний еврей, если хорошенько порыться. Ниже автор предлагает вниманию читателя несколько текстуальных примеров. А чтобы не показаться тенденциозным, он берет первый от начала случай употребления каждой из четырех временных форм. При желании, можно найти десятки примеров.

Итак, первая глагольная форма, встречающаяся в Библии — это простое прошедшее время глагола ,דבר.е. абсолютное прошедшее в терминах статьи.

Следующей по порядку формой оказывается будущее время с "вав" глагола ויבא. Очевидно, что речь идет о действии совершившемся, будущем по отношению к абсолютному прошедшему и свободном от него, т.е. никак из него не вытекающем. Ведь из того, что земля была невидима и неустроена, вовсе не следуют слова "да будет свет!".

Далее, для слов "да будет свет" употребляется форма простого будущего времени יִהְיֶה предполагающая действие. И тотчас вслед за ней форма действия совершившегося, т.е. вставшего в ряд "нанизанных на прошедшее" свободных действий — будущее время с "вав" глагола ויִהְיֶה. Интересно, что эта же комбинация встречается не только, когда действие полностью совпадает с предположением, как в случае с сотворением света, но и когда между предположением и совершением есть очевидное расхождение. Например: נעשה אדם בצלמנו כדמוחנו (предположение) — и вслед за ним יִבְרָא ייִבְרָא אֱלֹהִים אֶת הָאָדָם (к, כרכז) (действие).

Первое употребление прошедшего времени с "вав", т.е. предопределенное от начала действие (в терминах статьи), мы встречаем в следующем контексте: וְעַד יַעֲלֶה מִן הָאָרֶץ וְהִשְׁקָה אֶת כָּל פְּנֵי הָאֲדָמָה (ב.ו.) Здесь предположению (простое будущее время) последует не совершение, как в предыдущем примере, а пророчество об изначальном предназначении, предопределенное действие, выраженное глаголом в прошедшем времени с "вав".

Бен-Барух (псевдоним) — инженер; репатриировался в Израиль в 1980 году, живет и работает в Иерусалиме.

Владимир Байтальский

К ПОРТРЕТУ ЗМЕЯ

Учитывая достижения современной библеистики, может показаться, что работа над текстом Книги Бытия бессмысленна. В самом деле, если только ты не ослепленный фанатик, то куда ни ткни — обнаруживаешь бесконечные противоречия, и все лишь потому, что Пятикнижие кроилось веками¹. Тем не менее, библейский рассказ о злословии Адама — тема достаточно живая, чтобы обратиться к ней и сегодня. Прибегая к ссылкам, я пользовался синодальным переводом — существенных разночтений между ним и современным в цитируемых отрывках нет — желающие могут убедиться в этом самостоятельно. Задачи же этой работы невозможно определить однозначно, поэтому проще приступить.

1

За что же ты меня убил, Создатель?

Омар Хайям

Судя по тому, как излагается знаменитый миф об Адаме и Еве, появление человека на свет Божий не нарушило гармонии мира. Неосознанное

цветение жизни продолжалось и в Шестой день. В Библии, правда, подобной оценки нет — дескать, жизнь как нечто неосознающее себя самое, — но на основании текста нетрудно прийти к такому выводу. К примеру: жизнь не знала добра и зла (ср. 3.7), а будь оно по-иному, Адам оказался бы существом ущербным по отношению к природе, и представление ему таких широких прав, как (1.28.) “и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, и над птицами небесными...” со стороны Бога было бы просто издевательством. Любопытно, кстати, что безотчетное состояние естества, косвенно утверждающееся повествователем, синонимично отсутствию стыда, но стыда перед Богом!

По весьма распространенной версии, Адам — персонификация идеи человечества. Нам, впрочем, не так уж и важно знать, имелся ли в виду человек по имени Адам или авторы хотели под этим именем дать собирательный образ. Толкование же: Адам как мистическое средоточие совершенного космоса — в данном случае нас не устраивает, хотя бы потому, что в первой главе констатируется окончание процесса жизнеобразования на земле, то есть природа была уже создана. Справедливости ради, отметим — во второй главе порядок меняется: сначала создан человек и лишь затем — фауна (к чему мы еще вернемся), но сей факт не дает нам достаточных оснований расширять границы понятия Адам до сверхъестественных.

Итак, Адам — человек, а не надмирное существо. Мы тоже причисляем себя к роду человеческому, а потому нелишне было бы поразмышлять о целях сотворения Адама.

Ни для кого, очевидно, не секрет, что появление человека — центральное событие Шести дней Творения. Ничто не удостоилось такого внимания Творца, только Адам был создан “по образу Своему, по образу Божию”, и только Адам облечен прямо-таки царскими полномочиями — это следует из выше-приведенного 28-го стиха 1-й главы. В еще более радикальной форме мысль о человеке — властелине мира проводит автор 2-й главы (см. 2.18–19.). Перевернув во времени очередность создания Адама и фауны, он обнаруживает закономерность в ходе Творения и подчеркивает, что животные были созданы для человека, нуждающегося в помощнике². Значит, на Адама приходится основная тяжесть Замысла, и мы вправе заключить, что Цель сотворения Адама отлична от цели создания мира — Творец был не даром столь щедр и внимателен. А раз мы в этом убедились, то самое время пройти в Эдемский сад...

Златокожая Ева, бесстыдница, отведав лакомства кусочек, поспешила поделиться радостью с мужем. Небритый Адам, нахмурившись, обнюхивает прекрасный плод, пока лучшая половина человечества восхищенно щебечет: Ах, какой красивый! Какой сочный! Попробуй, дурень! Муж, озираясь по сторонам, распахнул пасть и впился в терпкую мякоть — ну и хватил! Да не чавкай ты, услышит! — испуганно кричит Ева. Поперхнулся, бедняга... Хлопни, красавица, по спине — возлюбленный все-таки.

Но мы что-то запаматовали тут, проверим. Во-первых, нарушение запрета каралось смертью. Откуда людям, вкушавшим только от Древа Жизни, понять эту угрозу? Смерть — это как? Любопытный закоулок. А вот еще: Змей, соблазняя, выходит, знал, о чем говорил, что противоречит нашей посылке — жизнь безотчетная и неосознанная. Объясняется это противоречие

введением в сюжет нового персонажа, которому заранее была отведена особая роль. Видимо, от автора 3-й главы (а это был не Яхвист³) ускользнуло, что тем самым нарушается равновесие. Но не будем напирать на подобные неувязки — “Змей был хитрее всех зверей полевых” сказано в первом стихе — допустим.

Итак, плод съеден. Человек вдруг нечто такое увидел, понял: “открылись глаза у них обоих”, мало того — Змей обещал “и вы будете как боги, знающие добро и зло” — и впрямь, ниже мы читаем (3.22.): “И сказал Господь Бог: вот Адам стал как один из нас, зная добро и зло”, и далее: “и теперь как бы не простер руки своей, и не взял также от Древа Жизни..., и не стал жить вечно”. О, мы приплыли! “Вот Адам стал как один из нас” — Бог, оказывается, потерял одно из главных преимуществ перед Адамом и оставил за собой второе, лишив Адама бессмертия. Теперь уместно задать вопрос в лоб — какова же истинная Цель сотворения человека, если она не включает идею осмысления себя человеком духовной силой, различающей добро и зло; если она (цель) не предусматривает осознания человеком своего богоподобия? Бессмертная кукла, винтик в механизме Эдемского сада? Дескать, плодите тарзанов и будьте довольны, так, что ли, затеяно? Однако, сие предположение никак не согласуется с нашими предыдущими выводами — человек как решающее слово Творения, ключевой момент Замысла, ибо винтик — не ключ, и будь Адам даже подобен Богу, он все равно ничем не отличается от мира — такая же неспособная к самооценке тварь, как и все окружающее, только двуногая. Значит, мы в тупике? Не совсем. Вспомним о Змее. Было замечено уже, что Змею отведена определенная роль. И презанятнейшая! Этот самый гнусный Змей умудрился подправить Творение, внести свою лепту в исполнение Замысла — и даже более... Стоило гаду угостить парочку, как тут же Адам “стал как один из нас, зная добро и зло”, то есть именно благодаря Змею человек приобрел качественное превосходство над окружающим миром и выделил себя из него, что и является необходимым и достаточным условием владычества в этом мире. Кроме того, выявление богоподобия Адама — тоже дело рук Змея! Заметим походя, сколь неблагочестивым мужем оказался сей иудей, автор 3-й главы, — неслыханно — Змей, олицетворение зла, довершает начатое, и — согласно Плану! Мне скажут, мол, все — мои домыслы, и так, мол, было задумано, задано наперед: появится Змей и соблазнит Еву орехами. Интересное дело, — скажу я. Получается, сам Господь соблазнил, переодевшись за кустами в Змея. Но из текста все же следует обратное, см. 3.14.: “И сказал Господь Бог Змею: за то, что ты сделал это, проклят ты перед всеми скотами и перед всеми зверьми полевыми; ты будешь ходить на чреве твоём, и будешь есть прах во все дни жизни твоей”, то есть Бог изменил первоначальный вариант иерархии в биосфере. Да ты рехнулся, это же аллегория! — возразят. А какое это имеет значение — спрошу я — одно из двух — или Бог хотел сделать себе игрушку, или задался целью проклясть любимое детище, — неужто для того и старался? Да и вообще, странно как-то, разыгрывать весь этот фарс с подосланным Змеем, когда есть возможность все сразу сделать: вот тебе, Адам, Древо Познания, на нем семечки растут — ешь на здоровье, жена твоя в муках рожать будет, ты иди в пахари, а о бессмертии и не помышляй.

— Так чем же я так провинился, что мучишь ты меня и возлюбленную мою, да еще и жить не даешь? — спросил бы Адам.

— А ничем. Так я хочу, и весь разговор, — ответил бы Бог, — ишь, слюни распустил!

Н-н-да, видать, хотелось Богу позабавиться или, скажем, полюбоваться день-другой, да загвоздка вышла — Змей Горыныч прилетел и вмиг все устроил. Змей Горыныч, впрочем, птеродактиль есть, а птеродактиль, как известно, скорее — птица небесная, нежели зверь полевой, которому руки-ноги обрубали. Значит, это был не Змей Горыныч. Жаль.

Подведем предварительный итог. Видящий в Книге Бытия авторитет, истинность которого сомнению не подлежит, волей-неволей отрицает могущество и добрые намерения Бога. Заострив внимание на роли Змея, мы выдвинули антитезис — Змей настолько могуществен, что в состоянии не просто погрязнуть первоначальную чистоту Творения, а привести в исполнение Божий замысел, чего сам Бог не сделал. Надо отметить, нами не изобретено нечто, под солнцем ранее не наблюдавшееся. Аналогичные споры (возможно, с несколько видоизмененной постановкой вопроса) велись на протяжении веков, на протяжении веков монизм страдал от разъедающих его противоречий. С другой стороны, так называемый принцип дополнительности (описание одного явления во взаимоисключающих понятиях), на наш взгляд — не панацея для ортодоксального религиозного сознания, ибо экстраполируя “змеиный факт”, мы сталкиваемся с необходимостью поклониться Злу, причем в самой бескомпромиссной форме. Кроме всего, автор считает нужным оговорить, — он намеренно строго придерживался текста, поскольку его интересовала больше формальная сторона дела, и ежели ему не удалось избежать абсолютно интерпретирования, то во всяком случае, он старался свести такую возможность к минимуму. Ниже он отказывается от этой тактики. На вопрос же, а как прикажете понимать основную посылку о безотчетном состоянии Творения в первые Шесть дней, если не трактовку, автор укажет дотошному читателю стихи 7-й, а также 11-й из 3-й главы⁴ — иных не дано.

2

Есть два огня...

М. Волошин

Коль скоро выдвинутая нами идея подрывает основы догмата, а мы не претендуем на первенство в такого рода экспериментах, — обратимся к истории и продемонстрируем для наглядности одну древнюю модель. Речь идет о манихейской религии — иные называют ее ересью, — возникшей в Персии в III веке⁵.

Основателем учения был некто Мани (Манес), провозгласивший себя в 240 году посланником истинного Бога, Утешителем. Одни считают его вольноотпущенником, на Востоке же рассказывали, будто он — из царского рода Аршакидов. В те же годы (ок. 240-го) он исключается из христианской общины, где занимал пресвитерскую должность, оставляет Персию (в чем повинна не Церковь, а царь Шапур I), и в течение тридцати лет стран-

ствуется по Средней Азии, Китаю и Индии, основывая везде общины. В 272 году новый шахиншах государства Сасанидов благосклонно принимает Мани, осыпая его фантастическими подарками, — вплоть до замка, в целях ограждения учителя от возможных враждебных действий религиозных противников, жрецов. Однако, счастливый век продолжался меньше двух лет — на смену умершему Хормизде на престол восходит Бархам I, а через три года его свирепый преемник. В 277 году Мани вызван царем на диспут со жрецами, где признан побежденным. Его распинают, по другим источникам — что больше похоже на выходы восточного деспота, — содрав заживо кожу, набивают чучело, а тело обезглавливают.

Учение Мани — редкостный пример религиозного синкретизма. В нем уживались зороастризм и христианство, на него оказали влияние гностики, в незначительной степени и буддизм. Тем не менее, пафос борьбы, пронизывающий это учение, ясно определенная цель, а главное — новый подход в толковании ключевых моментов духовной истории человечества — спланировали разнородные элементы религии в организованное единство. Ветхий Завет Мани и его сторонниками напрочь отвергался, а Новый Завет принимался лишь отчасти — манихейство усматривало в нем приспособление к иудаизму и обвиняло Церковь в интерполировании оригинального Евангелия. Среди предшественников Мани выделял Зороастра и Будду, и особенно — Христа, считая их величайшими проповедниками истинного учения и своими непосредственными предтечами. Удивительно, что ересь эта под той или иной личиной просуществовала более тысячи лет⁶.

Характерным отличительным признаком манихейства является открытый дуализм. От века существуют два Начала: Бог Света — Ормузд и Бог Мрака — Ариман. Держава Ормузда — это некое единство духовных ценностей: Бога Света окружают пять слав (Ум, Знание, Рассудок, Осмотрительность, Мысль) и двенадцать добродетелей; в целом власть Ормузда распространяется на двенадцать зонов. Ариман — природа коего материальна — владыка в Царстве Зла и Смерти; это сатана со своими демонами; в его подчинении тоже дюжина зонов, но в тех областях господствует постоянная вражда и междоусобица. Вооруженные пятью стихиями, олицетворяющими собой основы хаоса (тьма, вода, разрушительный ветер, огонь и дым), орды Аримана напали на Царство Добра, намереваясь заполучить Свет, притягивавший их. Для защиты Ормузд выводит из недр своих (или — "вызывает", пользуясь терминологией манихеев, поскольку "вызов" из небытия нельзя путать с "сотворением" в общепринятом смысле этого слова) Матерь Жизни и Первочеловека. Первочеловек, снабженный пятью чистыми элементами, созданными им же (свет, ветер, пламя, вода и эфир⁷ в их дематериализованной форме — они считаются "сыновьями" Первочеловека), вступает в борьбу с силами мрака, но воинству Аримана удается вырвать частицу благого Света, которая, смешавшись с материей, становится мирообразующим принципом. Таким образом, произошло смешение царств, и видимый мир, созданный вследствие этого поединка (поэтапно: сначала космос, затем природа одушевленная, затем — человек), обязан своим существованием двум началам: его пронизывает световая материя, дух, несущий в себе идею жизни, а Ариманова лепта — плоть, мертвая материя. Соль же этого учения в следующем: дальнейшее развитие

Творения предполагает высвобождение света, скованного материей — в царстве Ормузда не хотели смириться с полупобедой, и несмотря на скорое освобождение из плена Первочеловека с сыновьями, вынудили Ариманово племя излить захваченный ими свет в мир, благодаря чему и возникла жизнь на земле. Опуская детали учения, отметим, что человек, как и вся Вселенная (кроме Солнца и Луны), — образ смешанного мира. В нем две природы — душа световая и злое начало. Но Ормузд в сотворении человека участвовал косвенно, создал его Бог Мрака. Скопировав идею Ормузда (не случайно она носит имя Первочеловека), и воплотив ее своими средствами в лице Адама, Ариман собрал оставшуюся (большую) часть завоеванного им света и заключил трофей в Адаме. Затем он создал из ила (ил, очевидно, есть сгусток тьмы) Еву — у Вейнингера были предтечи! — с намерением пленить Адама нежной страстью к ней, и тем самым — раздробить световую натуру Адама. По этой причине задача высвобождения света становится почти неразрешимой, так как свет, сконцентрированный в Адаме, индивидуализируется в его потомстве и помещается как бы в "темницы", число которых постоянно растет...

Впав в соблазн через иудаизм и язычество, считал Мани, люди окончательно потеряли ориентир, и великие Зороастр и Будда закладывают основы спасительного учения. Но люди не вняли проповеди пророков и тогда, приняв видимое тело, сходит в мир душа светлая и неоскверненная материей — Христос, чтобы обучить людей искусству освобождения от злого начала. И тут начинается самое интересное. Объясняя явление Христа, Мани использует ветхозаветную историю о грехопадении, проецируя ее на современность и истолковывая по-своему... Сад, аналогичный Эдемскому, в самой гуще которого растет Древо Познания, и спящий Адам — человечество. Никто иной как Ариман — а он и есть владелец и хозяин тут — запретил людям приближаться к Древу Познания и выставил охрану вокруг. Но Христос, посланец Благого Бога, разбудил Адама — о да! он открыл им глаза на самих себя! — и разогнав демонов, охранявших Древо, дал Адаму плоды с него. Люди получили возможность спастись, однако, ученики (апостолы) — а христианская церковь и подавно — извратили учение Посланника Божьего. Предвидя такой ход событий, Христос говорил, что за ним придет Утешитель (Параклет), коим и является Мани.

3

Свобода духа! Все дыхание человечества в этом сочетании слов.
В. Набоков

О том, как понимать Грехопадение есть масса литературы, существуют различные концепции и перебирать их нет смысла. Выше я уже говорил: на самом ли деле произошли события, описанные в Книге Бытия, или это аллегория — в конце концов, неважно. Но важно другое — человек был наказан. За что? За послушание, другими словами, за проявление самостоятельности, — и что руководило Адамом — нечестивое желание проникнуть в святая святых, зависть, гордыня или просто ребячество — опять-таки не

имеет решающего значения. Адам был ограничен в своей свободе, и он преступил границы данной ему свободы, но отсюда следует — и мы в этом убедились — Бог по отношению к Адаму меняется ролями со Змеем, ибо последний довершает Замысел. Так что же предлагает мировая религия по этому поводу, какое решение?

Церковь принимает учение апостола Павла об Искуплении первородного греха жертвой Иисуса Христа. Жизнь, проходившая ранее под знаком наказания, становится понятием самоценным, то есть формально человеку возвращается право на поиск и собственную ересь, на внутреннюю свободу⁸. Адам через смерть Христа действительно стал как один из Них, но не скованный проклятием греха, а раскрепощенный дух, и уже в I веке Ветхого Завета не путали с Новым. Это — вкратце, подается же учение следующим образом. Иисус Христос, Сын Божий — он же: Сам, вочеловеченный (христианский догмат подчеркивает единственность Троицы, а потому о промежуточном божестве речи быть не может), сойдя в мир, заключает союз с Его детищем — человеком. Земной путь Его — сам по себе факт унижения — страдания и позорная смерть скрепляют этот союз. Объявляя через Самозаклание Свою волю, Он как бы дает понять человеку, что тот прощен, — то есть был виновен, добавим. Однако, с последним нам уже трудней согласиться на основании выводов, сделанных в первой части. Но прежде чем судить да рядить — отвлечемся.

Считается, что христианство отрицает причастность Творца к злу во всех его проявлениях, в чем усматривают неуниверсальность этой религии. Но на этот счет есть разные мнения...⁹

В первую очередь, понятия добра и зла, на наш взгляд, неприменимы к макрокосму вообще. Отрицательное же начало — элемент дисгармонии — будучи неотъемлемой частью единства Вселенной, только подчеркивает Красоту Творения. То есть, скажем, склонность материи к хаотичности и энтропии — не следствие своеволия сотворенного мира, как иногда толкуют, а свойство предписанное ей в той же степени, что и свойство постоянного обновления, — не случайно, камень, вклинивающийся в правильные наложения пластов породы, привлекает внимание не столько к себе, сколько к общей структуре среза — к целому. Тут же уместно повторить положение о бессознательном состоянии Творения, а также вспомнить о том, что лишь человеку дано было познать добро и зло, чем и определилась неабсолютность этих понятий. И думается, вряд ли будет ошибкой считать добро и зло силами, тесно переплетенными с человеческой судьбой и деятельностью, и природе, в известном смысле, человеком навязанными.

Теперь — главное. Силы противоборствующие, друг без друга несуществующие и в единстве своем являющие собой некое третье, качественно новое, но подвластное творческой Воле начало, стали основами мироздания. Человек же, в потенциале — сотворец, ибо создан по образу и подобию, хоть и из праха земного, у Древа Познания становится обладателем могучего оружия, он осознает свою духовную природу, свою власть над этими силами. Тогда возникает возможность нарушения Равновесия и у человека отнимают бессмертие (согласно догмату), и в этот момент безлические плюсики макрокосма в масштабе иной "вселенной" обретают иной оттенок: теперь это добро-зло микрокосма. Но при чем тут добро и зло, если в це-

лом Творение не пострадало? Однако, "не пострадало" кажущееся. Лишением бессмертия и проклятием Адама Бог изменяет Своему Замыслу, отсекает человека от Целостности и хуже того — проявляет отрицательную волю и парадоксальным образом становится пособником распространения зла на земле! — и потому учение Павла вызывает у нас особый интерес.

Сойдя в мир в облике человека, Бог берет на себя ответственность за Падение Адама, и смысл страданий Иисуса Христа — в искуплении Его (Бога) вины перед людьми, и как следствие — в признании истинности пути Познания. В этом-то и заключается суть несравненной новизны, неслыханная дерзость христианской религии. А действительно, вдуматься — Бог взял на Себя Адамов грех не с целью показать Свое великодушие — как преподносилось и преподносится Церковью, — а потому что Он, Он (!) повинен в нарушении заповеди Адамом, ибо Он и никто другой ввел Адама в заблуждение! Но отсюда неприемлемый ни для одного богобоязненного буквоеда вывод: Закон, который во все времена вдалбливался верующим в их бедные головы, который выдумал Божью кару и настаивает на изначальной вине человека — этот закон аморален! И Бог такого закона — тем более! Правда, Павел говорил в свое время: "Закон мертв", — но сказать: "Бог Закона — тоже" у него не хватило духу, впрочем, понятно почему. И кстати, небезынтесная вещь — христианство вышло из лона иудаизма, и Иисус выступил как реформатор иудейской религии, поэтому его проповедь (и апостола Павла, разумеется) нужно рассматривать на фоне закона. Один пример: рассказ о бесплодной смоковнице — что это? Ведь это не просто история, в те времена понимали ее скрытый смысл — стоит только сопоставить смоковницу с деревом жизни, олицетворением Закона в Ветхом Завете. Оно оказалось бесплодным и было проклято именно потому, что задача веры — дать, а не ограничить, — и не случайно засохло на глазах очевидцев.

Казалось бы, слишком легко у нас все получается: и то не так, и это не эдак. Но на самом деле, все нами вышеизложенное не такая уж и вопиющая ересь. Великодушие, проявленное сильным (Он) по отношению к слабому (человек), льстит, конечно, всем нам, сердешным, но и ставит нас в положение получивших подавание, а Его — в положение богатого дяди, решившего заплатить наш долг. От дяди-то не убудет, но человеку остается агонизировать в пыли, восклицая, — Благ Ты, Боже, и Великодушен, что простил меня, дерьмоеда! Только — о какой-такой свободе может идти речь в этом случае, и о каком-таком этическом образце, данном свыше? А вот если принять наши соображения, то картина резко меняется: Он — Сила, но сила, признавшая свою вину перед слабым, и потому — дарующая ему свободу. Тут-то, пожалуй, и можно вспомнить слова Иисуса "Будьте совершенны как Отец ваш небесный".

ПРИМЕЧАНИЯ

1. О происхождении Пятикнижия см. обстоятельный обзор Эм. Светлова в книге "Магизм и единобожие". Это второй том 5-томного цикла под общим названием "В поисках Пути, Истины и Жизни", Брюссель, 1970—1972.

2. В статье "О сюжете Пятикнижия" (Н а р о д и З е м л я , Иерусалим,

1984) М. Вайскопф высказывает аналогичную мысль, правда, с одной лишь разницей: автор утверждает о широком применении в Библии приема показа будущего в настоящем. Однако здесь мы имеем дело как раз с обратным — прошлое рассматривается в искаженной перспективе, то есть можно говорить о приеме зеркального отображения прошлого, позволяющем установить причинно-следственную связь.

3. Яхвистом в ученом мире называют автора Яхвистического предания Священной Истории, то есть тех отрывков Библии, где имя Бога отождествляется с именем Яхве. Принято считать, что к этому преданию относятся и 2-я глава Книги Бытия.

4. "И открылись глаза у них обоих, и узнали они, что наги" (3.7) "И сказал: кто сказал тебе, что ты наг. Не ел ли ты от дерева, с которого Я запретил тебе есть" (3.11).

5. Ниже — краткое изложение основных черт манихейства. Более точные сведения можно почерпнуть в Энциклопедии Мифов, т. 2. См. также М. Поснов "История христианской церкви", Брюссель, 1964.

6. Интересное совпадение — Персия является родиной и другой, претендующей на универсальность и исключительно терпимой религии — бахайской.

7. Н. Jonas в книге "The Gnostic Religion" (Boston, 1970) называет пятый элемент не вполне ясным the light breeze, Топоров же в вышеуказанной энциклопедии пишет — "что-то подобное эфиру".

8. Насколько жесткими были рамки этой свободы внутри самой Церкви — вопрос другой.

9. Не будучи религиозным в полном смысле слова, я допускаю, что та или иная Церковь вправе называть мои воззрения ересью. Но я не преследую цель продемонстрировать лояльность — куда важнее, на мой взгляд, показать происхождение зла и как эта проблема решается в ключе христианства.

В. Байтальский (псевдоним) — поэт и эссеист, живет и работает в Тель-Авиве.

КНИГОТОВАРИЩЕСТВО "МОСКВА—ИЕРУСАЛИМ"

НОВАЯ КНИГА

ДАВИД ТАКСЕР

"ИСК"

Острсюжетный роман-воспоминание о трагической любви советского офицера и немецкой девушки. Действие происходит в конце Второй Мировой войны и в первые годы оккупации Германии союзниками.

300 стр.

15 долларов.

Присуждаемая каждые два года Иерусалимская премия — одна из самых престижных литературных премий мира.

В прошлом ею были отмечены такие выдающиеся зарубежные авторы, как Грэм Грин, Элиас Канетти, Хорхе Луис Борхес. В 1985 году премия была присуждена Милану Кундере — чешскому писателю-эмигранту, автору романов "Шутка", "Книга смеха и забвения", "Невыносимая легкость существования" и др., а также многочисленных эссе на общественно-литературные темы. Мы предлагаем читателям Иерусалимскую речь нового лауреата и открытое письмо ему редактора известного американского журнала "Комментарии" Нормана Подгорца, в котором анализируются противоречия творчества и общественной позиции М. Кундеры, вызвавшие многочисленные споры в печати.

Милан Кундера

**ЧЕЛОВЕК ДУМАЕТ,
БОГ СМЕЕТСЯ**

То, что важнейшая литературная премия Израиля предназначена для международной литературы, — не случайность, но плод давней традиции. Величайшие из евреев, лишенные собственной родины, всегда проявляли особую чуткость к той наднациональной Европе, которая не есть особая территория, но — особая культура. И поскольку евреи, не взирая на трагическое разочарование, которое они претерпели в Европе, остались верны этому европейскому наднациональному духу, Израиль представляется мне новообретенной родиной, словно бы истинным сердцем Европы: сердцем странным, ибо отделенным от тела.

С большим волнением я принимаю сегодня премию, носящую имя Иерусалима. Вы наградили ею, дорогие друзья, романиста. Подчеркну еще раз: не писателя, а именно романиста. Романист — это тот, кто, по словам Флобера, пытается укрыться за своим творением. Укрыться за своим творением — значит отказаться от всякой общественной роли. Это нелегко, особенно в наше время, когда даже самые ничтожные вещи немедленно попадают во власть средств массовой информации, всячески принижающих творение в пользу его сочинителя. В такой ситуации слова Флобера

кажутся почти предостережением: стремясь к общественной роли, романист подвергает опасности свое творение; он рискует превратить его в приложение к своим жестам, заявлениям и мнениям. Между тем в действительности романист не является рупором чьих бы то ни было мнений, в том числе своих собственных. В первом варианте "Анны Карениной" Анна была крайне неприятной женщиной, и трагический конец ей только подобал. Окончательный вариант романа совершенно иной, но я не думаю, что Толстой изменил свои моральные воззрения. Вероятней, что в ходе работы он прислушивался к тому, что я называл бы мудростью романа. Все великие романисты прислушиваются к голосу этой сверхличной мудрости, и потому великие романы всегда умнее людей, которые их написали. Романисты, которые заняты самовыражением, обычно умнее своих творений. Им следовало бы сменить профессию.

Но что это за мудрость? И что такое роман? Есть прекрасная еврейская поговорка: человек думает, а Бог смеется. Эта поговорка вдохновляет меня. Я пытаюсь вообразить Франсуа Рабле, который однажды услышал смех Бога; из этого смеха выросла идея первого европейского романа. Я верю, что искусство романа пришло в мир, как отзвук Божественного смеха.

Но почему Бог смеется, глядя на то, как думает человек? Потому что человек думает, но истина ускользает от него. Потому что чем больше думают люди, тем дальше друг от друга их мысли. Потому, наконец, что человек не понимает самого себя. Это изначально человеческое состояние обнаружилось на заре нового времени — с выходом человека из средневековья. Дон-Кихот думает, Санчо думает, но не только правда о мире ускользает от них, но также и правда о них самих. Европейский роман открыл и передал это новое состояние человека.

Франсуа Рабле ввел множество языковых новшеств, проникших позднее во французский и другие языки, но одно его слово было забыто, и об этом можно только пожалеть. Это слово — "агеласт", оно заимствовано из греческого и означает: человек, который не смеется, который лишен чувства юмора. Рабле ненавидел агеластов. Он говорил, что из-за них он едва не перестал писать.

Существование романиста с людьми, лишенными чувства юмора, невозможно. Эти люди от рождения не слышали Божественного смеха, поэтому они уверены, что истина ясна, как день, что все обязаны мыслить одинаково, что человек есть именно то, чем

он себя представляет. Лишь теряя уверенность во всеобщем единомыслии и в том, что есть истина, человек становится индивидуальностью. Роман — это созданный воображением рай индивидуальностей. Это страна, где никто не обладает монополией на истину, ни Анна, ни Каренин, но каждый обладает правом на понимание — и Анна, и Каренин. На протяжении четырехсот лет искусство романа обеспечивало европейский индивидуализм широчайшим полем для поиска, самоопределения, творчества и развития.

В третьей книге "Гаргантюа и Пантагрюэль" Панург, герой этого первого европейского романа, мучается вопросом, жениться ему или нет. Он спрашивает совета врачей, ученых, поэтов и философов, которые цитируют Гиппократа, Аристотеля, Гомера, Гераклита и Платона. И после всех этих изнурительных поисков ответа, занимающих всю книгу, Панург так и не узнает, должен ли он жениться. Нам тоже неизвестен ответ; зато мы всесторонне исследовали комическое и одновременно серьезное положение Панурга, который не знает, стоит ли ему жениться.

Даже если ученость Рабле не уступает учености, скажем, Декарта, она решительно отличается от последней. Мудрость романа отличается от мудрости философии. Роман порожден не размышлением, а смехом. Один из просчетов Европы состоит в том, что она никогда не понимала этого самого европейского из искусств — романа: его души, его открытий, его уникальной истории. Искусство, ищущее вдохновения в Божественном смехе, изначально отвергает идеологическую уверенность. Как Пенелопа, оно по ночам распускает пряжу, сотканную накануне теологами, философами и учеными.

В последнее время стало модно поносить ХУШ век. Это уже превратилось в клише: сегодня трагедия русского коммунизма — тоже дело рук Европы, ее философии, атеистического рационализма времен европейского Просвещения, веры во всемогущество разума. Я не намерен спорить с теми, кто возлагает на Вольтера ответственность за появление ГУЛАГа. Я только хочу сказать, что ХУШ век — это не только век Руссо, Вольтера и Гольбаха, но также (а может, и главным образом) — век Филдинга, Стерна, Гете и Лакло.

Всем романам ХУШ века я предпочитаю "Тристрама Шенди" Лоуренса Стерна. Станный роман. Стерн начинает его описанием ночи, когда родился Тристрам, но где-то на середине ему приходит

на ум другая идея, которая тянет за собой, по ассоциации, совершенно другую историю. Скобки следуют за скобками, и в результате герой забыт на протяжении ста с лишним страниц. Этот экстравагантный способ сочинения романа может показаться просто формальной игрой. Но в искусстве форма всегда нечто большее, чем форма, как таковая. Всякий роман, хороший или плохой, предлагает ответ на вопрос: что такое человеческое бытие и где пребывает поэзия? Современники Стерна — например, Филдинг — искали ее в поступках и приключениях. Роман Стерна предлагает другой ответ: поэзия не в действии, а в **помехе действию**.

Возможно, что здесь косвенным образом начался диалог между романом и философией. Рационализм XVIII века основывался на известном высказывании Лейбница. "Нет сущего без причины". Следуя этой формулировке, наука стремится ответить на все "почему", превращая таким образом мир в доступный пониманию и измерению. Человек ищет смысл жизни и игнорирует все, что не обладает причиной и следствием. Все биографии пишутся именно так. Жизнь предстает в них ясной тропой причин, следствий, неудач и успехов; человек с нетерпением взирает на эту цепь своих поступков и ускоряет свой безумный бег к смерти.

В противоположность этому сжатию мира до причинной цепи, роман Стерна уже самой своей формой утверждает, что поэзия не в действии, но там, где действие прекращается; в том месте, где рушится мост между причиной и следствием и мысль обретает свободу. Поэзия бытия, говорит роман Стерна, заключена в скобках. Она в том, что не поддается измерению. Это обратная сторона причинности. У нее нет причины. Это дополнение к формуле Лейбница.

Вот почему нельзя судить время только по его концепциям, идеям и теориям: нужно учитывать также искусство и особенно искусство романа. В XIX веке была изобретена паровая машина, и Гегель был уверен, что понял ход мировой истории. Но Флобер совершил большее: он открыл человеческую глупость. Я думаю, что это было величайшим открытием века, убежденного во всеисилии науки и разума.

Конечно, и до Флобера никто не сомневался в существовании глупости; но ее понимали иначе. В глупости видели лишь недостаток знания, который можно исправить образованием. Однако в романах Флобера глупость предстает как неустранимый элемент человеческого существования. Глупость сопровождает несчастную

Эмму всю ее жизнь, от ложа любви до смертного ложа, возле которого два знаменитых агеласта, Омэ и Бурнисьен, обмениваются банальностями в качестве заупокойной молитвы. Но самое чудовищное, самое скандальное во флюберовском открытии состоит в том, что глупость не исчезает перед лицом науки, технологии, прогресса. Напротив, она только разрастается с их распространением.

Флюбер со злорадным сладострастием коллекционировал стереотипные высказывания людей, которые старались казаться умными и современными. Он составил знаменитый "Словарь прописных истин". В духе этого названия можно сказать: современная глупость — это не невежество, но согласие с прописными истинами. Вот почему открытие Флюбера важнее для будущего нашего мира, чем самые революционные теории Маркса или Фрейда. Можно представить себе будущее, в котором нет классовой борьбы и психоанализа, но абсолютно нельзя представить его без захлестывающей человечество волны прописных истин, программируемых на компьютерах, распространяемых средствами массовой информации и угрожающих стать силой, которая подавит любую оригинальную и независимую мысль.

Через восемьдесят лет после Флюбера, в тридцатые годы XX века, другой великий писатель, Герман Брох, писал: "Современный роман пытается бороться с волной безвкусицы, но ему суждено пасть под ногами китча". Понятие "китч", родившееся в те годы в Германии, означало стремление понравиться любой ценой и максимальному количеству людей. Чтобы этого достигнуть, нужно говорить то, что все хотят услышать: нужно служить прописным истинам. Китч переводит глупость прописных истин на язык красоты и чувства. Он исторгает слезы по поводу банальностей, которые думают и чувствуют все. Сегодня, спустя полвека, слова Броча оказываются семижды справедливыми. Стремление нравиться и привлекать внимание максимального числа людей продолжает расти, и эстетика современных средств массовой информации — это эстетика китча. В той степени, в какой эти средства информации проникают во все уголки человеческой жизни, китч превращается в повседневную мораль и повседневную эстетику современности. Еще недавно модернизм символизировал неконформистский бунт против китча и его прописных истин. Сегодня быть "модерным" означает непрестанное стремление быть современным, быть информированным, быть "внутри". Быть большим конформистом, чем все осталь-

ные. Потому что сегодня модернизм сам облекся в одежды китча.

Отсутствие чувства юмора; китч; недомыслие прописных истин — вот трехглавый враг искусства, родившегося как отзвук Божественного смеха и сумевшего создать в воображении пространство, где ни у кого нет монополии на истину, но у каждого есть право на понимание. Это пространство воображения и терпимости родилось вместе с современной Европой. Оно было сформировано в подражание Европе, точнее — нашей мечты о Европе. Эта европейская мечта претерпела немало ударов, но она все еще достаточно сильна, чтобы объединить нас в союзе, который шире нашего маленького континента. Мы знаем, что мир воображения и терпимости хрупок и преходящ. На его горизонте уже собираются тучи агеластов. Вот почему, в эти дни необъявленной и нескончаемой войны, в городе, которому была суждена жестокая и драматическая судьба, я решил не говорить ни о чем, кроме романа. Этот выбор не означает бегства от так называемых "серьезных" вопросов. Именно сейчас, когда европейской культуре и изнутри, и снаружи угрожает опасность, когда эта опасность угрожает самому средоточию культуры: человеческому достоинству, праву человека на независимую мысль и его праву на свободную частную жизнь, — мне представляется, что квинтэссенция европейского индивидуализма таится в истории и мудрости романа. Эту мудрость я и хотел возблагодарить в своей речи. Но пришло время ее кончить. Я едва не забыл, что Бог смеется, глядя на то, как я думаю.

Борис Камянов
"НА ОБЛЕГЧЕННОЙ ЛИРЕ"

Сборник юмористических произведений в разных жанрах: "Офонаризм", "Опетачки", "На облегченной лире" (цикл стихотворений для взрослых), "Московские анекдоты", "Стихи для детей", "Израильские поэты для детей", "Как собака завела себе человека" (сказка), "Гоим говорят на иврите" (юмореска).

Художник Марк Капчиц.

120 стр. Цена 10 шекелей (за границей 8 долл. с пересылкой).

Заказы и чеки присылать по адресу: Б. Авни, Гиллель 9, Иерусалим, Израиль.

Дорогой Милан Кундера:

Года четыре назад я получил на рецензию гранки вашего романа "Книга смеха и забвения". Редакторы каждую неделю получают множество книг на отзыв, и я обычно только просматриваю их заглавия, если не вижу особых причин, понуждающих книгу прочесть. В вашем случае таких причин у меня не было. В 1980 году ваше имя было мне почти незнакомо, я лишь смутно представлял себе, что вы один из восточноевропейских диссидентов и, стыдно признаться, не вполне точно помнил, из какой страны: Венгрии? Югославии? Чехословакии? Может, даже из Польши?

Я не испытывал особого интереса к вам, как к личности или представителю восточноевропейской диссидентской литературы. Не потому, что я равнодушен к диссидентам в коммунистических странах или эмигрантам, живущим на Западе. Напротив, — будучи страстным антикоммунистом, я более чем сочувствую им. Но, как сказал другой представитель куцега братства неисправимых антикоммунистов в американской интеллектуальной элите, Уильям Бакли-младший: "Сколько книг об ужасах коммунизма я еще могу прочесть? Сколько еще я обязан прочесть?" Подобно Бакли, я тоже считал, что есть много людей, которым

Норман Подгорец

**ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО
МИЛАНУ КУНДЕРЕ**

следовало бы узнать об "ужасах коммунизма", но я не принадлежу к их числу. Радуюсь тому, что книги диссидентов из-за железного занавеса появляются на Западе, читать их я больше не мог.

Что же побудило меня прочесть вашу книгу? Сам не знаю. Сейчас, уже прочитав ее, я вполне могу представить себя одним из ее героев, который стоит перед кипой книг, присланных на рецензию, и вдруг, словно по наитию, хватает одну из них, между тем, как вы, автор, появляетесь за его (моей) спиной, чтобы поразмыслить о причинах такого выбора. Но какую бы причину вы ни указали, я не могу указать ни одной. Я попросту не знаю, почему я взялся читать именно вашу книгу. Знаю только, что едва начав ее читать, я был мгновенно очарован.

Когда я был литературным критиком, я специализировался на современной прозе, и одна из причин, почему я перестал заниматься критикой, состояла в том, что романы, которые мне доводилось читать, казались мне все менее и менее стоящими. Они могли быть интересными, занятыми, но, в основном, они говорили об их авторах больше, а об окружающем мире — меньше, чем мне хотелось бы знать. Некогда роман открывал новое, или (говоря вашими словами) — "доселе неведомый аспект существования"; теперь романы "только подтверждают уже сказанное".

Последними словами вы в своем эссе "Роман и Европа" характеризуете "сотни и тысячи романов, которые громадными тиражами публикуются и широко читаются в коммунистической России". Но "подтверждение уже сказанного" — как раз то, чем занимается большинство романов, издаваемых и на демократическом Западе, в том числе — романов, восхваляемых за их смелость и оригинальность. Так было уже двадцать лет назад, а сегодня ситуация, вероятно, еще хуже. Это не означает, конечно, будто наши романисты следуют какой-то "партийной установке" — в прямом или переносном смысле этого слова. Это означает лишь, что даже самые уважаемые западные романы нашего времени зачастую имеют своей главной целью укрепить бесконечно пережевываемое представление, что литераторы во всех отношениях превосходят скучных бизнесменов, политиков, рабочих и прочих смертных, среди которых живут.

Вы пишете в своем эссе: "Каждый роман говорит читателю: "Мир сложнее, чем тебе кажется". Возможно, это верно в отношении лучших, величайших романов. Но это неверно в отношении большинства современных американских. Большинство современ-

ных американских романов приглашают читателя разделить с автором пиршество благодушного самодовольства, а заодно — все шаблонные, узкофанатичные и предвзятые взгляды на “буржуазный мир”, которыми отличается наша “прогрессивная” литературная среда. Флобер еще мог заявлять, что мадам Бовари — это он; но современный американский писатель, оказавшись лицом к лицу с современным эквивалентом такого героя (или героини), спешит заявить: как прекрасно не иметь ничего общего с этим скучным и примитивным человеком!

В своем эссе вы тоже вспоминаете Флобера и называете его первооткрывателем “terra доселе incognita повседневности”. Но какой “доселе неведомый аспект существования” открыли вы сами в “Книге смеха и забвения”? По-моему, ответ таков: вы показали, что делает коммунизм с человеческой жизнью, в особенности — с духовной и культурной жизнью. До того, как я прочел вашу книгу, я полагал, что любой роман, действие которого происходит в коммунистической Чехословакии, “только подтвердит уже сказанное” и мне, как убежденному антикоммунисту, уже известное. Но вы доказали, что можно быть оригинальным даже на самом заезженном пути. Вы одобрительно цитируете Германа Броха, который настойчиво повторял, что единственным оправданием романа является “открытие того, что лишь роман может открыть”, — и ваши собственные романы являются великолепной демонстрацией этого тезиса.

Сегодня считается, что стремление к коммунизму порождено нуждой и угнетением, и ваш настойчивый отказ принять это шаблонное объяснение, делает вас в этом смысле оригинальным. Но всякий, знакомый с литературой предмета, в общем уже знает то, что вы рассказываете, — что коммунизм возник из утопического стремления вернуться в Рай; что он не терпит сомнений в его утверждениях; что он не способен и не будет терпеть плюрализм — ни в виде независимого индивидуального мышления, ни в виде независимой национальной культуры.

Все это говорилось и раньше — Орвеллом, Кастлером, Камю и совсем недавно Солженицыным. В сущности, Солженицын утверждает, что коммунизм принес России буквально то же, что, по-вашему, он принес Чехословакии и другим народам и странам, захваченным советской империей. С точки зрения этих народов, их захватчиком был традиционный русский империализм, но в глазах Солже-

ница России в такой же мере является жертвой коммунизма, что и народы Центральной Европы.

В другом вашем эссе, "Трагедия Центральной Европы"* , вы склоняетесь к мысли, что вину следует возложить, скорее, на Россию, чем на коммунизм, и соглашаетесь с великим польским диссидентом Лешеком Колаковским в его критике солженицынской тенденции "идеализировать царизм". Но у меня нет сомнений, что ваша "Книга смеха и забвения" — это, прежде всего, антикоммунистическая, а не антирусская книга. Она начинается не со Сталина, а с чешского коммунистического лидера Климента Готвальда и того переворота, который привел коммунистов к власти в Чехословакии. И на протяжении всей книги вы не оставляете никакого сомнения в том, что утопические бредни, во имя которых уничтожается чешский народ, пришли изнутри, а не снаружи. Только когда народ начинает пробуждаться и пытается спастись от медленной смерти, наступает черед советских танков.

Но если в одних аспектах "Книга смеха и забвения" не открывает ничего нового о коммунизме, в других она "открывает его точно так же, как Флобер "открыл" повседневную жизнь (о которой ведь и "Мадам Бовари" в определенном смысле не говорит ничего нового)". Как я уже говорил, трудно объяснить, как вам удастся сделать знакомое — неизвестным, а потом снова знакомым. Возможно, ответ — в той вашей непривычной форме, которая объединяет в одно целое множество, на первый взгляд, несвязанных историй, написанных к тому же в разных жанрах, от обычного реалистического до сюрреалистического, и сходных одним лишь прямым вмешательством автора и общей темой, которую, однако, всякий раз трудно строго обозначить. Мой собственный вкус сегодня стал весьма реалистичен, но точно так же, как вы "открыли" для романа коммунизм, вы заново восстановили для меня в правах формальный эксперимент. То, что вы сказали о Бартоке, который "открыл последние оригинальные возможности тональной музыки", может быть, я уверен, сказано о вас самом в области прозы.

Когда ваша книга была опубликована в Соединенных Штатах, критики, к моему удивлению, встретили ее с тем же энтузиазмом, что и я. Пусть вам не покажется странным мое удивление: я не ожидал, что американская литературная публика будет восхвалять столь откровенно антикоммунистическую книгу. Во Франции, где

* "22", №42.

вы живете, антикоммунизм в последнее время снова вошел в моду, но здесь, в Соединенных Штатах, он уже много лет, как предан анафеме всей литературной братией, а также большинством тех, кто считает себя "либералами". Мало кто из них сочувствует коммунизму, но еще меньше таких, кто воспринимает его как угрозу или даже реальность. Они убеждены, что никто в СССР, не говоря уже о странах-сателлитах, не верит больше в коммунизм, как верил когда-то, а что касается Третьего мира, то тамошние марксисты-ленинцы вообще не коммунисты (даже называть их так значит демонстрировать политическую безграмотность), а националисты, всего лишь пользующиеся удобной риторикой. Те же, кто именует себя антикоммунистом, на их взгляд, повинны в том, что культивируют ненависть к иллюзии, или, даже скорее, к призраку, который когда-то существовал, но давным-давно исчез.

С точки зрения американской литературной публики, однако, антикоммунисты не просто страдают паранойей; они еще и опасны, ибо преувеличивают советскую угрозу. Опять-таки, это не значит, что такая публика симпатизирует Советам; когда-то это было действительно так, но в последние годы почти нет таких писателей или критиков, которые всерьез утверждали бы, что в СССР строится рай для трудящихся или что советская гегемония в Центральной Европе — благо для тамошних народов.

Но с другой стороны, сегодня принято считать, что в конфликте с Западом, а точнее — с Соединенными Штатами, Советский Союз — гораздо чаще обижаемая сторона, чем обидчик. Все, что делает СССР (включая вторжение в Афганистан), является оборонительной мерой или реакцией на американские провокации; а то, что нельзя объяснить в этих терминах (покушение на папу, нарушение соглашений или использование отравляющих газов), попросту отрицается. То, что нам с вами кажется очевидным, а именно — стремление Советов к мировому господству, считается в нашей литературной среде слишком нелепым утверждением, чтобы его всерьез оспаривать; от него отмахиваются либо со снисходительной улыбкой, либо с возмущенным недоверием. Можно критиковать СССР, как "тиранию", но видеть в нем угрозу — это паранойя и более того — это провокация советской паранойи, а стало быть умножение риска всеобщей атомной войны.

Учитывая это состояние умов, можно было ожидать, что большинство критиков весьма сдержанно отнесутся к антикоммунизму вашей книги. Но этого не случилось. Почему же? Возможно,

некоторые были настолько взволнованы вашей книгой, как произведением искусства, что простили ей ее антикоммунизм. Это возможно. Да и вообще, как чех и эмигрант, вы имели право на антисоветское и даже антикоммунистическое настроение. Это право имеют у нас все центральноевропейские диссиденты. Выражая им свое сочувствие и принимая в своем кругу диссидентствующих художников или интеллектуалов из коммунистического мира, наша литературная публика получает возможность показать (столько же себе, сколько окружающим), что она ненавидит "левое" угнетение не меньше, чем "правое", а ее любовь к литературе выше всех политических и идеологических разногласий.

Если вас интересует, что меня не устраивает в этой позиции, я напомню вам о том, чем вы платите за подобное отношение. Говоря о французской реакции на вашу последнюю книгу "Невыносимая легкость существования" Эдмунд Райт пишет: "Сталкиваясь с таким писателем, как Кундера, французские левые, жаждущие покаяться в прежних просоветских симпатиях, начинают вести себя точно так же, как неисправимые антикоммунисты или голлисты". С американской реакцией дело обстоит наоборот. Здесь ваша книга либо дает повод лишний раз пройти по адресу "неисправимых антикоммунистов", либо описывается в самых хитрых абстрактных выражениях. Вы, оказывается, пишете о памяти и смехе, о бытии и небытии, о родине и любви, об ангелах и демонах — короче, о чем угодно, только не о судьбе Чехословакии при коммунизме и не о том, что эта судьба означает для нас, живущих в свободном мире. Один из ваших почитателей пишет, что "Кундера не соглашается с легкими ответами; он не обвиняет холодную войну; он подвергает столь же беспощадному анализу и противоречия "свободного мира"; проблемы, которых он касается: проблемы выбора, эпохи и существования — не связаны с каким-либо определенным временем и местом". По мнению этого почитателя, который ставит выражение свободный мир в кавычки, вы не видите принципиальной разницы между положением литературы в условиях творческой свободы и при коммунистическом тоталитаризме: "Его (Кундеры) стремление экспериментировать с формой очевидным образом вытекает из недовольства глупостями "социалистического реализма", равно как и их аналогами в "свободном мире".

То, что пытаются сделать с вами, чудовищным образом напоминает то, что посмертно сделали с Орвеллом. Во времена Орвелла никто не сомневался, что разновидность тоталитаризма, против кото-

рой он предостерегал, — это коммунизм. Но, как мы все могли видеть в ходе бесконечных дискуссий вокруг его книги в минувшем году, сегодня ее трактуют, как предостережение, скорее, против Соединенных Штатов, чем СССР. Иными словами, Орвелла "орвеллизировали", и сделала это не всемогущая государственная машина подавления и цензуры, а "новая аристократия" публицистов и профессоров, как ее называл сам Орвелл. Эта новая аристократия настолько доминирует в центрах, где формируются мнения, что способна исказить правду, особенно — о прошлом, в такой степени, которую Орвелл считал немыслимой в условиях свободы слова.

Подобно Орвеллу, вы одержимы темой памяти и вместе с одним из ваших героев считаете, что "борьба человека против власти — это борьба памяти против забвения". Вы имеете при этом в виду власть тоталитарного государства, но, как показывает нам случай с Орвеллом, сегодня на демократическом Западе власть, против которой должна сражаться память, — это культурная власть "новой аристократии". Эта власть, без всякой поддержки государства (и даже действуя против него), упрятала реального Орвелла (для которого не было ничего важнее, чем различие между свободным и коммунистическим миром) в "черную дыру" беспамятства, а взамен преподносит нам Орвелла, который не видит разницы между Соединенными Штатами и СССР, между жизнью в коммунистическом обществе и на демократическом Западе.

Когда я решил написать вам это письмо, я думал, что вы будете возмущены, узнав, что ваша книга оказалась в руках людей, которые используют ее в своих политических целях, вам явно чуждых. Но сейчас я вынужден сознаться, что я сам возмущен, узнав, что вы сотрудничаете со своими похитителями. В интервью "Нью-Йорк ревью оф букс" вы говорите: "Если я напишу книгу о любви, и там будут три строчки о Сталине, люди будут говорить об этих трех строчках и забудут остальное или же прочтут остальное как политическую аллегорию". Но в Америке произойдет, скорее, обратное: вы пишете книгу о Чехословакии под властью коммунизма, содержащую три строки о любви, и все говорят только об этих трех строках и утверждают, что Чехословакия — это всего лишь аллегория жизни в "свободном мире". Или же вы пишете роман, "Невыносимая легкость существования", в котором есть небольшой эпизод, где чех, антикоммунист и эмигрант, живущий в Париже, оказывается ничем не лучше коммуниста в Праге (оба одинаково догматичны), и вот уже все без исключения критики взхлеб цитиру-

ют этот эпизод, чтобы доказать, что для вас коммунизм и антикоммунизм одинаковое зло.

Я могу понять, почему писатель, бежавший из коммунистического общества, хочет вообще отвернуться от политики, особенно в своем творчестве. Ведь, в конце концов, сущность тоталитаризма как раз и состоит в стремлении политизировать все и вся, и прежде всего — искусство, так что лучшей формой протеста против этой особой формы тирании может, действительно, показаться подчеркивание реальности и даже превосходства не-политического начала в жизни. Вы, например, одержимы эротикой, как таковой, и потому так много пишете о ней. Но трудно отделаться от впечатления, что секс играет столь большую роль в ваших романах еще и потому, что при коммунизме он оказался единственной относительно незатронутой областью личной жизни, во всем остальном насквозь политизированной.

Но еще больше, чем сексом, вы одержимы любовью к западной цивилизации, в особенности к ее литературе и ее музыке. Если я вас правильно понимаю, то все, что сделал коммунизм, все его преступления, даже его гюлаги, кажется вам меньшим злом, чем та война, которую он начал против западной культуры. Для вас эта война выходит за рамки подавления свободы слова или предписывания художникам форм выражения. Это **тотальная** война. Она предусматривает полное культурное уничтожение Советским Союзом стран Центральной Европы, а это, по вашему убеждению, означает ампутацию существенной части западной цивилизации.

В своем эссе "Трагедия Центральной Европы" вы убедительно обосновываете предположение, что страны этого региона являются "культурной родиной" Запада. Из этого следует, что, согласившись в Ялте на поглощение этих стран чуждой им восточной цивилизацией, Запад показал, что он больше не верит в свою собственную цивилизацию. Некогда единство Запада базировалось на религии, пишете вы, затем религия "склонилась, уступив место культуре, ставшей выразительницей высочайших ценностей, которыми европейский гуманизм определял себя"; трагедия Центральной Европы открыла, что "так же, как Бог давно уже уступил место культуре, культура, в свою очередь, уступает место". Чему? Вы говорите, что не знаете. Вам лишь кажется, что вы видите, как культура на Западе "уступает место".

Вы не декларируете в этом эссе, что сами вы отказываетесь склониться, но в другом эссе заявляете, что преданы прежде всего

наследию западного романа. Вы, далее, даете понять, что, как романист, вы намерены хранить верность своему центральноевропейскому наследию, и в первую очередь — тому духу "несерьезности", который посмеивается над величием и славой. Все это вы выразили однажды в раздраженной фразе, брошенной какому-то почитателю, превозносившему вашу книгу, как обвинение сталинизма: "Избавьте меня от вашего сталинизма! "Шутка" — это роман о любви. Это **всего лишь** роман..."

Ваша любовь к культуре дает вам двойное основание отрицать политическое истолкование ваших книг. Вы хотите защитить их от "оболванивающей политизации" и одновременно хотите остаться антиполитичным, иными словами — не хотите забыть уничтоженный дух Чехословакии и других центральноевропейских стран, которые сегодня "исчезли с карты Запада".

И хотя я не разделяю вашего пессимистического отношения к религии, я говорю вам: да, да и еще раз да! Но я прошу вас, я умоляю вас понять, что, сотрудничая с теми, кто присваивает ваши книги, вы "склоняетесь" перед ними. Показания диссидентов из-за железного занавеса сыграли огромную роль, заставив западных интеллектуалов задуматься над теми ценностями, которые поставлены на карту в конфликте между Востоком и Западом. Теперь явились вы и заставили всех нас снова — а, быть может, впервые — задуматься над **культурным** значением этой борьбы. В этом — выдающаяся роль ваших книг. Почему же вы поощряете проповедников той самой культурной капитуляции, которую презираете, и осуждаете, и оплакиваете? Почему именно **вы** соглашаетесь сотрудничать с людьми, которые считают, что между Востоком и Западом нет такой моральной, политической — или культурной — разницы, о которой стоило бы говорить, не то, что воевать? Почему вы разрешаете использовать свое имя людям, которые считают, что нашу западную цивилизацию не стоит и нельзя защищать?

Вы, наверно, ответите мне словами, которыми завершаете свое эссе о романе: "Я не привязан ни к чему, кроме европейского романа", а "мудрость романа" понуждает к скептицизму, а не догматической уверенности, к отказу занять какую-либо сторону, к постановке вопросов, а не к поиску ответов. Но разрешите мне напомнить вам то, что вы и сами, впрочем, знаете: роман посвящает себя исследованию специфичного и конкретного. Те из американской "левой", которые подхватили ваше имя, пользуются вами, игнорируя самую суть ваших романов, их конкретность и специ-

фичность, лишая их весомости, отрывая от земли и помещая в облаках уютных абстракций, где все моральные и политические различия уже неразличимы, где все сливается в "невыносимую легкость существования".

В романе, который вы назвали этими словами, вы говорите, что не уверены, что именно следует выбрать: весомость или легкость, — но сам этот роман, как и все другие ваши книги, отрицает эту неуверенность. В своих книгах вы выбираете весомость, иными словами — бремя памяти и утверждение "мира жизни". Даже ваш флирт с "безответственной легкостью" парадоксальным образом лишь умножает эту весомость, ибо берет начало от тяжелого бремени, которое вы взвалили на себя — хранить насмешливый и скептический дух вашей культурно растоптанной родины, дух, который омрачает легкость вашего смеха и отбрасывает тень виселиц на ваши шутки.

В своем интервью вы заявили, что стремитесь объяснить всем нам, на Западе, что произошло в Ялте; что считаете необходимым, чтобы "любой француз или американец знал, понимал, сознавал, что происходит, скажем, с чешским народом, — тогда его наивность не обернется в один прекрасный день его трагедией..." Во имя этого, столь необходимого понимания я прошу вас — не помогайте тем силам, которые используют некоторые ваши слова, чтобы помешать вашим же книгам объяснить деморализованному Западу опасность той новой Ялты, которую он сам себе навязывает.

КНИГОТОВАРИЩЕСТВО "МОСКВА—ИЕРУСАЛИМ"

ВЫШЛА НОВАЯ КНИГА

АЛЕКСАНДР ВОРОНЕЛЬ

"ПО ТУ СТОРОНУ УСПЕХА"

Новая книга известного ученого и публициста, автора "Трепета иудейских забот", посвящена возрождению еврейского национального сознания в России, встрече с политической действительностью современного Израиля, осмыслению сегодняшних еврейских проблем. Статьи разных лет, собранные в этой книге — от аутентичных самиздатских материалов до последних публикаций в израильской печати, — объединены стремлением понять скрытый смысл еврейского существования и предназначения в истории и дают читателю со вкусом к этим вопросам бесценный материал для раздумий.

300 стр.

16 долларов

РАЗМЫШЛЕНИЯ НАД ТЕКСТОМ

Для произведений Александра Зиновьева характерны размах и мелочность. Человечество, эпохи, будущее соседствуют в его книгах со склоками, пошлостями, мелкими подлостями ничтожных людей. Более того, они не просто соседствуют. Ничтожества, взятые вместе, грандиозны, образуют общество нового типа — в этом суть концепции Зиновьева.

Пишет он ярко, отчетливо и убежденно. Но тем не менее часто бывает непонятен. Многие его суждения кажутся странными, вызывают возражения, а иногда и негодование. См., например, письмо Доры Штурман ("Континент" №38) или статью Югова ("Грани" №131).

Высказываниями на социальные темы книги Зиновьева буквально набиты. В некоторых книгах говорит сам автор, в других персонажи. Я выберу из этого моря высказываний по возможности небольшое количество непротиворечивых, но достаточно разнообразных суждений, которые будут представлять концепцию Зиновьева в обозримом виде. А затем займусь противоречивыми суждениями, буду возражать и т.п. Забегая вперед, скажу, что далеко не все противоречия объясняются тем, что Зиновьев рассматривает какое-то явление в разных аспектах, скажем, глазами своих героев.

На полноту исследования твор-

Валерий Валюс

**СОЦИАЛЬНОСТЬ
КАК ОСНОВА ОСНОВ**

чества Александра Зиновьева эта статья не претендует ни в коей мере (да и как можно — автор, слава Богу, жив). В частности, литературные достоинства произведений оставлены в стороне. На мой взгляд — он писатель по высшему счету.

Способ отбора

В книге "Коммунизм как реальность" Зиновьев рассказывает о приеме диалектики "восхождение от абстрактного к конкретному". Когда-то он написал диссертацию на эту тему. (Читатель, не тоскуй, это так, присказка, диалектикой я не занимаюсь и не буду заниматься). Он утверждает, что "разобраться в том, что такое реальный коммунизм, без использования этого приема совершенно невозможно". КР 39*.

Я думаю, что он не прав. Очень многие люди, кто по желанию, кто без такового или вопреки ему, неплохо разобрались в том, что такое реальный коммунизм, понятия не имея об этом приеме. На мой взгляд, Зиновьев сильно переоценивает свою диссертацию. Вот, что он говорит о самом методе:

"...конкретное суждение может казаться противоречащим абстрактному, хотя никакого логического противоречия тут нет, ибо на самом деле мы имеем такую пару суждений: 1) если отвлечься от таких-то факторов (исключить их влияние, допустить, что их нет), то наш предмет будет иметь свойство X; 2) если же учесть эти факторы (допустить их влияние), то наш предмет будет иметь свойство Y. Здесь X может противоречить Y, но суждение 2 как целое не противоречит суждению 1 как целому". КР 41.

Попробую своими словами пересказать ту же мысль: выводы теории (свойства X) могут противоречить действительности (свойствам Y) из-за того, что теория не полная, описывает какой-то один механизм, скажем, социальной жизни, а на самом деле этих механизмов добрая сотня.

Особенностью книг Зиновьева является то, что "свойства X" даны вперемешку со "свойствами Y" без каких-либо пометок, мол, это "X", а это "Y". Условия, при которых справедливы абстракт-

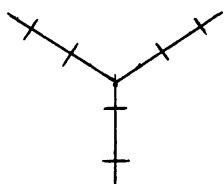
* В конце цитат после указания книги А. Зиновьева, из которой взята цитата, следует номер страницы. Используются следующие сокращения названий (издательство L'AGE D'HOMME): З.В. — "Зияющие высоты", 1976 г.; СБ — "Светлое будущее", 1978 г.; ПР — "В преддверии рая", 1979 г.; ЖД — "Желтый дом", 1980 г.; МЗ — "Мы и Запад", 1981 г.; КР — "Коммунизм как реальность", 1981 г.; ГС — "Гомо советикус", 1982 г.; НС — "Ни свободы, ни равенства, ни братства", 1983 г.; ТБ — выступление Зиновьева в Толстовской библиотеке в Мюнхене 23 февраля 1984 г. (не опубликовано).

ные суждения, не описаны и сама абстрактная теория в явном виде не изложена нигде. Да существует ли она вообще?

Ссылки на других авторов Зиновьев не делает. По-моему, принципиально. Но тем не менее абстрактная теория проглядывает в его работах, и даже не одна, а несколько. По чистой случайности с одной из этих теорий я знаком. Много лет назад, когда я учился в Московском университете, то ходил на семинар к ее создателю, Михаилу Львовичу Цетлину, ныне покойному.

Ниже я опишу то немногое из теории Цетлина, что помню. Затем выделю высказывания Зиновьева, которые можно считать либо пересказом положений теории, пусть приблизительным, либо ее частным случаем. Таким образом будет выделена группа суждений непротиворечивых и достаточно содержательных. Впоследствии ее можно будет пополнить. Суждения, согласующиеся с теорией я буду обозначать буквой X, а противоречащие — У.

Итак, теория линейных автоматов в меняющихся средах. Независимо как автомат сделан, на транзисторах там или шестеренках, независимо даже, сделан ли он вообще, — теория абстрактная, математически строгая. Почему линейный? Ну, так назвал автор, чтобы отметить, что он довольно простой. У автомата есть несколько состояний. Одновременно он может находиться только в одном из них. Будем изображать их, например, радиусами (см. рисунок).



Сколько этих состояний? Независимо — m . Рисунок соответствует автомату с тремя состояниями. В каждом состоянии с некоторой вероятностью автомат получает "наказание" ("штраф") или наоборот — "поощрение".

Для разных состояний вероятности разные. Набор этих вероятностей и есть "среда". Больше о ней ничего и знать не надо. Из центра автомат переходит случайно в любое из состояний, он там не задерживается. Если ему выпало "поощрение", то он остается в том же состоянии, запомнив — "поощрение". Если память автомата изображать длиной радиуса, то он передвигается по радиусу на один шаг от центра. Память имеет глубину — максимальное количество запомненных "поощрений". Если выпал "штраф", то автомат забывает одно "поощрение" (шаг по памяти к центру). Вот и все об автомате.

Цетлин посчитал сначала, как будет себя вести один автомат и

получил первый интересный результат: если среда меняется (меняются вероятности поощрений и штрафов, скажем, точно наоборот), то существует оптимальная глубина памяти — при такой памяти баланс штрафов и поощрений самый благоприятный. Чем быстрее меняется среда, тем выгоднее иметь короткую память.

Затем он посмотрел, что будет происходить с 2-я автоматами. Чтобы ввести взаимодействие, он предположил, что пребывание автомата в одном состоянии снижает вероятности поощрения в этом состоянии для него и для соседа. Автомат исчерпывает, так сказать, возможности. Это позволило назвать состояния стереотипами поведения.

Цетлин посчитал, как будут вести себя 3 автомата, 4... и когда их очень много.

И оказалось, что в этом случае они сами по себе разделяются на группы, каждая группа ухудшает свойства среды для другой группы, в группах возникает иерархия управления и отдельные автоматы оказываются подолгу в наихудших состояниях.

Ну, а теперь обратимся к Зиновьеву.

Массовый индивид

Зиновьев называет его по-разному: массовый индивид, социальный индивид, крыса, гомо советикус, гомосос. Дело не в названии. Посмотрим на его свойства — до какой степени он похож на автомат.

а) Принципы поведения

"Суть коммунальности состоит в борьбе людей за существование и за улучшение своих позиций в социальной среде, которая воспринимается ими как нечто данное от природы, во многом чуждое и враждебное им, во всяком случае — как нечто такое, что не отдает свои блага человеку без усилий и борьбы. Борьба всех против всех образует основу жизни в этом аспекте истории". КР 48.

"...люди, занимающие то или иное социальное положение, урывают для себя от общего пирога тот кусок, который максимально доступен их силе. Каждый стремится урвать максимум, доступный ему по положению. Максимальный кусок с минимальными затратами, — вот святая святых этого общества, рядящегося в одежды заботы, великодушия, доброты, справедливости и т.п.". ЗВ 446

Взаимодействие автоматов в теории Цетлина имитирует именно такого типа отношения индивидов к среде и к друг другу.

б) Вместо убеждений, мышления, чувств и т.д., определяющих

поведение, у массовых индивидов ограниченное число стереотипов.

Следующие описания даны устами гомососа:

“А вот вам еще загадка: то, что я здесь говорю, не выражает моих убеждений. Загадка опять-таки кажущаяся: просто у меня нет никаких убеждений. У меня есть лишь более или менее устойчивая реакция на все то, с чем мне приходится сталкиваться, — стереотип поведения”. ГС 11

Ниже я привожу цитату, в которой говорится об интеллигенте. Пусть читателя это не вводит в заблуждение. Речь идет все о том же массовом индивиде. Слово “интеллигент” герой Зиновьева употребляет в смысле, отличном от общепринятого. (Сам Зиновьев, кстати, тоже. К этому вопросу я вернусь позже.)

“Короче говоря, в сознании интеллектуально развитого, культурного и образованного человека, т.е. интеллигента, с течением времени происходят все логические мыслимые пакости. Важно, что число различных типов ситуаций, в которых оказывается интеллигент, и число возможных внешних реализаций его внутренних состояний невелико. Это легко заранее высчитать и предсказать”. ГС 163

в) Массовые индивиды схожи:

“Один из фундаментальных принципов системного метода — принцип однородности системы. Он означает, что все индивиды системы относятся к одному и тому же классу индивидов и все связи между ними — к одному и тому же классу связей”. ЗВ 416

“Массовый процесс априори не считается с индивидуальностью. В гнусном спектакле не могут участвовать значительные актеры. Кто бы ни были эти актеры, им все равно отводятся жалкие роли”. ГС 91

г) У Зиновьева часто повторяется такой сюжет: в компании кто-нибудь развивает интересную и рискованную мысль (как правило, перед стукачами), неожиданно мысль обрывается — оказывается, все напились. А дальше — новая глава, совсем о другом. Читателю обидно, хотелось дослушать. Когда-то еще эта мысль вынырнет, да и вынырнет ли вообще?

У персонажей как будто рефлекс срабатывает, стоп, дальше нельзя. Дальше нельзя и все. Убьют. Т.е. на самом деле может и не убьют. Но где-то должен быть резкий ограничитель. Как у автоматов — конец памяти. На некоторой оптимальной глубине. Совсем дураком быть тоже плохо.

Этих примеров достаточно, чтобы понять, что и многие другие высказывания Зиновьева о конкуренции, иерархии, враждующих группировках непротиворечивы и образуют единое целое. У них есть математически строгая подоплека — теория Цетлина.

Зиновьеву удалось, на мой взгляд, совершенно замечательная вещь: абстрактную модель он перевел в человеческую, я бы даже

сказал, исповедальную плоскость. Вот человек вспоминает прошедший день, или год, или жизнь: "Так, десять раз я вел себя как крыса, а десять раз все же иначе". А последствия множества крысиных поступков — советское общество — Зиновьев показал впечатляюще. Другое дело, насколько это верно. В какой степени общество массовых индивидов похоже на советское общество? К этому вопросу я вернусь ниже.

Своих героев Зиновьев снабжает именами, которые указывают на их социальные роли. Но его выхлестывает за рамки собственной схемы, и невозможно представить, чтобы, например, Поэт мог поменяться ролью с Распашонкой, Крикун с Сотрудником, а Мазилла с Академиком. Не одинаковые его герои, не массовые индивиды, а индивидуальности. И вопреки научным амбициям автора, но отдавая дань его таланту писателя, всех основных героев его произведений я помечаю буквой У. В том числе и героя "Гомо советикус". Хотя бы за такое признание:

"Теперь я хочу одного: вырваться из чужой игры и стать сторонним наблюдателем. Видеть и понимать — и больше ничего мне не надо. Я по профессии и по призванию понимаю. Вся моя прожитая жизнь может быть обозначена одним словом: "размышление". Здесь у меня от обычных феноменов жизни почти ничего не осталось и практически. Я стал органом познания как таковым. И оказалось, что именно в роли чистой мысли я меньше всего нужен людям". ГС 181.

Из-под образцово-показательной маски гомососа высунулось вдруг нечто весьма своеобразное. Похоже, сам автор.

Не массовый индивид

С не массовыми индивидами человек знакомится намного раньше, чем с массовыми. В младенчестве: ма-ма, па-па. Мама, папа — не массовые.

Отношение к младенцу в массе у людей схожи: любовь, заботы, радости, огорчения... Но принципы этого массового поведения иные, чем у описанных выше массовых индивидов.

Другой пример. Однажды в детстве я прислушивался к разговору взрослых, боялся пропустить слово. В гости пришел Питирим Сергеевич Массажетов — замечательный человек: путешественник, знаток народной медицины, ученый, писатель (но это уже позже), Дело даже не в этом, а в том, что он был настоящий герой, не из сказки, не из приключенческой книжки, но как будто из них, только на самом деле. Я с нетерпением ждал, когда же он начнет

рассказывать о ядовитых змеях, о невзрачных травках с могущественными свойствами, о своенравных горных речках. Но разговор в тот раз шел общий, не совсем понятный, несколько раз произнесли слово "интеллигент", и я спросил, что оно означает. Питирим Сергеевич мне объяснил: "Интеллигент — это не стяжатель. При этом неважно, какое у человека образование, профессия или положение".

Сейчас мне 45 лет, и я множество раз убеждался в удивительной точности этого объяснения. Скажем, известно о человеке — рвет под себя. Значит целые сферы жизни для него как бы не существуют, укорочены интересы, не интеллигентен. Или, наоборот, известно о ком-то — интеллигентный человек. Значит можно от него ожидать поступков, которые выгод ему не сулят, скорее неприятности.

Сравнив принципы поведения массового индивида и объяснения Питирима Сергеевича, можно перефразировать его так: интеллигент — не массовый индивид. В "Зияющих высотах" есть один эпизод — час 13-ый. Крикун отказывается от делового предложения. Не потому, что не верит в удачу. Просто путь наживы ему не подходит. Когда я прочитал это место, то отметил про себя: определился интеллигент.

А затем, в других книгах, я обнаружил, что Зиновьев приписывает интеллигентам "свойства X". Называет интеллигентами деятелей искусства, науки, идеологии, управления и т.д. Описывает их социальный статус, уровень образования, рассказывает, как распределены места. Более того, слова "прекрасной души интеллигент" он слегка сокращает, получается "прекраснодушный интеллигент", и использует это выражение как бранное слово.

Но как же так? Ведь интеллигента нет в схеме! А вот так. Незаменимых людей нет. Был интеллигент, стал деятель.

Зиновьев просто подменил понятие. Неудобно оно было. Вроде и социальное, и массовое — интеллигентных людей много, а в схему не укладывалось. По определению. Зиновьев переопределил, но явление от этого не перестало существовать. И Зиновьеву приходится использовать множество названий: антикоммунальный индивид, индивидуалист, гений, талант, деловой человек, продуктивный работник, истинный оппозиционер в отличие от неистинных и т.д., и каждый раз объяснять, что он имел в виду. Вместо того, чтобы просто сказать "интеллигентный человек".

В советском и демократическом обществах стереотипы поведения людей различаются. В обществах разное законодательство и соответственно различны дозволенные и запрещенные действия.

Поскольку для теории социальности выбор конкретных стереотипов не важен, в этом отношении она универсальна, то она приложима к обществам обоих типов. Зиновьев об этом пишет так:

"Все мои книги суть книги и о западной жизни, только на фактическом материале Советского Союза. Я писал и пишу о явлениях общечеловеческих, но на материале классически развитого образца такого рода". МЗ 95

"Когда я давал согласие на эту эмиграцию, я в глубине души надеялся вырваться из смертельных дружеских объятий советского коллектива. Но здесь, на Западе, мне раскрыли свои объятия такие же коллективы, отличающиеся от советских лишь отсутствием достоинств последних. Вырвавшись из родной гнусной семьи, я вынуждаюсь здесь вступить в аналогичную гнусную семью, только совсем чужую". ГС 126

Но это не все. Оказывается, что советское общество Зиновьев считает более социальным, чем демократическое:

"А что вы имеете в виду, употребляя такие слова, как Изм и Капитализм, спрашивает Клеветник. Изм не есть некое уклонение от нормы или особая форма общества. Это есть социальность как таковая, в чистом виде". ЗВ 414

"Коммунизм не есть нечто выдуманное злоумышленниками вопреки некоему здравому смыслу и некой природе человека, как полагают некоторые противники коммунизма, а как раз наоборот — он есть естественное явление в истории человечества, вполне отвечающее природе человека и вытекающее из этой природы. Он вырастает из стремления двуногой твари, именуемой человеком, выжить в среде из большого числа аналогичных тварей, лучше устроиться в ней, обезопасить себя и т.п. — вырастает из того, что я называю человеческой коммунальностью". КР 21

Отговориться можно просто: большую часть жизни Зиновьев прожил в Советском Союзе, там разглядел действие социальных законов и соответственно отнес чистое проявление этих законов к советскому обществу. Но это слабая аргументация, ссылаться при обсуждении важного момента теории Зиновьева на особенности его биографии неправомерно.

Если рассмотреть в самых общих чертах общество демократическое, то мы увидим, что часть законов там задана, они непреложны, это законы, гарантирующие, в частности, гражданские свободы. А часть может меняться в зависимости от результатов выборов, открытого обсуждения, межпартийной борьбы и т.п. Тогда как в Советском Союзе если законы и меняются, то в результате закрытого обсуждения, не межпартийной, а внутривнутрипартийной борьбы, и

от результатов выборов не зависят. Так что в демократическом обществе у обычных людей больше возможностей проявлять социальность, чем в обществе советском. Добавьте сюда конкуренцию, свободное предпринимательство, рыночные отношения...

А если начать выяснять, какой человек, западный или советский, по принципам поведения более похож на линейный автомат Цетлина, то тут мы попадаем в такую мутную воду, в которой ничего определенного разглядеть не удастся. Зиновьев, правда, говорит иногда (как правило, устами персонажей) о культуре, цивилизованности, принципиальности западного человека, но все это никак не может претендовать на результаты сравнительного психологического или социологического анализа. Возражений на это можно привести сколько угодно. Скорее это просто мечта советского человека о том, что должна же где-то быть человеческая жизнь.

Так почему Зиновьев считает советскую социальность чище западной? Вопрос этот оказывается для него принципиальным, он неоднократно к нему возвращается, поворачивает его и так, и сяк, формулирует разными словами. Посмотрим, что при этом получается.

Народовластие

В той или иной мере слово "народовластие" уместно употреблять по отношению к любому обществу — власть осуществляют люди. Оно относится даже к обществу автоматов — они самоорганизуются. Зиновьев относит "народовластие" к советскому обществу, подобно тому, как он поступает с "социальностью в чистом виде". Приведу несколько характерных цитат:

"Если уж народовластие, то с точки зрения обывательски думающего человека это очень хорошо, и он даже мысли не может допустить, что массовые репрессии в Советском Союзе явились проявлением именно народовластия, доведенного до предела". КР 25

"Можно Ленина и Сталина истолковывать по аналогии с царями, хотя это и глубочайшее заблуждение, ибо Ленин и Сталин были носителями народовластия, были народными вождями". МЗ 56

"Зиновьев: Слушайте, занимайтесь терминами вы сами. (Смех) Моя задача заниматься феноменом сталинизма. В сталинское время о той форме власти, которая существовала, говорили, что это власть народа.

Из зала: Но это не народовластие, правда?

Зиновьев: Это была власть народа в полном смысле этого слова.

Из зала: Тогда непонятно.

Зиновьев: Это была настоящая власть народа. И это была самая

кошмарная власть. Только ограничение народовластия еще дозволило людям... Что вы думаете, что такое власть народа? Власть народа означала, что людей без суда и следствия убивали на каждом углу. Каждая деревушка имела свое ЧК и т.д.

Из зала: Не так.

Зиновьев: Вы не знаете, а я пережил.

Из зала: Это была власть ЧК или власть народа?" ТБ

"Советский строй не есть только некая форма политического правления, которую при желании и благоприятных условиях можно заменить на другую. Он выражает самую глубокую социальную структуру общества, он адекватен последней". МЗ 86

"Каким бы ни было наше прошлое, т.е. путь к сегодняшнему состоянию, мы все равно пришли бы к этому. Рано или поздно. Но к этому. Ибо это выросло из самих основ жизни". ЗВ 458

Слово "народовластие" Зиновьев употребляет в разных смыслах: самоорганизация, степень вовлечения населения в сферу управления, термин советской пропаганды. Можно это слово использовать также как перевод слова "демократия". Чего Зиновьев, впрочем, не делает*. Зато он пользуется этим словом для описания ужаса, в котором приходится жить людям: жестокости репрессий и легкости, с которой каждый член общества может направить действие механизма репрессий против других членов общества. В Советском Союзе этот тип "народовластия" весьма ощутим. Вопрос о том, насколько правомерно такое использование этого слова, я хочу рассмотреть немного ниже.

С фантазией, вызывающей изумление, Зиновьев описывает две цивилизации — Ибанск и Подибанск. Они различны по условиям существования, но идентичны по социальной структуре. Но возьмем менее литературный пример: Германия. Страна была разрушена, поделена, части отстроены заново. В обеих частях культура, язык, национальный состав населения был примерно одинаков. Общества в обеих частях в какой-то мере выросли из самих основ жизни — люди живут там, значит есть основы жизни. Не вымерли же все. По условиям жизни эти части несравненно ближе друг к другу, чем воображаемые Ибанск и Подибанск. И тем не менее в Западной и Восточной Германии разные общества.

У подибанцев шансов, кажется, и вправду не было. Когда посыпались бомбы, начальство, надо полагать, первым нырнуло под землю. А вот у тех, кто остался наверху и выжил, у них видимо был шанс устроить себе несколько иное "народовластие". В чем-то они прошлепали.

* Югов в своей статье показывает, что у Зиновьева "демократия" и "народовластие" совсем разные понятия.

В теории автоматов тоже есть репрессии — наказания или штрафы. Не помню, способны ли автоматы убивать друг друга, кажется они предполагаются бессмертными. Ну, да это не столь важно. Важно, что характер репрессий в теории не определен, существенен лишь тот факт, что наказание способствует смене стереотипа поведения. А как именно наказали автомат — тем ли, что кто-то с ним с утра не поздоровался, или ему не дали поощрения, или же он получит 10 лет лагерей — с точки зрения теории несущественно. Может быть именно соображениями такого рода вызваны следующие рассуждения персонажа “Зияющих высот”:

“Основная трудность понимания общественных явлений, писал Учитель, состоит не в том, чтобы обнаружить какие-то сенсационные факты, собрать статистические данные или получить доступ к тщательно скрываемым тайнам государственной жизни, а в том, чтобы найти способ организации видения очевидного и нескрываемого, т.е. способ понимания повседневности. С этой точки зрения не играет роли, десять или пятьдесят миллионов человек было репрессировано. Не играет роли даже то, были ли вообще репрессии”.
ЗВ 337

Представим себе 2-х конкурентов, связанных по рукам и ногам, скажем, культурными ограничениями. Максимум, что они могут в этом случае друг другу сделать, — это культурно обматерить. Если они ничем не связаны и причина раздора достаточно серьезна, то они могут подраться. А если оба вооружены и ничем не связаны, то один скорее всего будет убит, как в ковбойском фильме, независимо от предмета спора. Хотя даже в ковбойских фильмах героям случается договариваться.

Жестокость репрессий определяется видом оружия. В советском обществе — это карательный аппарат. А частота использования — массой других факторов: доступностью, безнаказанностью, страхом не успеть нанести первый удар, завистью, глупостью и т.д. Склок на работе в западном обществе не меньше, чем в советском, и донос даже за донос не считается. И справедливо, в некотором смысле, поскольку посадить человека на Западе не так просто. Что это за донос, если по нему не сажают? Так, кляуза, объяснение, ответ на запрос — информация одним словом. Пиши себе, сколько влезет или сколько просят. Ну, и пишут.

Советскую карательную систему создавал не народ, а советское правительство с первых дней революции, в период действительно тяжелой борьбы за укрепление и расширение власти. Указания о том, когда, где, в каком масштабе и по каким признакам репрессировать, тоже давало оно. И действовало при этом как классический образец массового индивида. О чем известно каждому советскому человеку, который обязан учить историю КПСС.

Рассмотрение советского руководства как единого массового индивида, на мой взгляд, одно из самых интересных и сильных положений Зиновьева. Массовый индивид, не связанный никаким законодательством, получивший сам возможность устанавливать законы, ограничивший своими законами стереотипы поведения прочих граждан в интересах своей безопасности и своего благополучия. Именно в этом смысле можно говорить о том, что советский строй — это социальность в чистом виде. Она пронизывает общество сверху вниз. В демократических странах в распоряжении обычных членов общества больше различных стереотипов, социальная жизнь живее, разнообразнее, общий объем социальности там больше за счет того, что она ограничена наверху. В том числе ограничен объем и жестокость репрессий.

Сколько людей входит в советское руководство? Как велик этот массовый индивид? Если речь идет о принятии решений, то любое решение принимает небольшое количество человек. Советское руководство способно принимать решения быстро. А армия исполнителей огромна и пронизывает все советское общество. Выполняет кто-либо решения по обязанности или "с душой", роли не играет.

Зиновьев не всегда разграничивает аспекты принятия решений и исполнения, чем приводит читателя в недоумение. Например, "народовластие" может означать, что советское руководство действует по принципам массового индивида и имеет аппарат исполнительной власти, охватывающей всю страну. Но это же слово может использоваться для обозначения того, что рядовой гражданин участвует в принятии решений. Не в исполнении, а в принятии. К советскому обществу в этом смысле слово "народовластие" неприменимо.

То же замечание относится к высказываниям Зиновьева о карательных действиях властей. Следующая цитата — пример двусмысленности.

“Самая глубокая борьба против язв коммунистического режима есть борьба за ограничение законов поведения и взаимоотношений людей в больших человеческих коллективах, которые я сравнительно подробно описал в моих книгах. Карательные действия властей суть лишь суммарное проявление этих законов, а не фундамент режима”. МЗ 75

Если во фразе “карательные действия властей суть лишь суммарное проявление этих законов” не обращать внимания на слово “суммарное”, то она означает, что власти в своих карательных действиях поступают как массовый индивид. Возражений это не вызывает. Или эта фраза может означать, что карательные действия властей есть реакция на действия граждан, против которых они направлены, — утверждение весьма сомнительное и соответствующее действительности далеко не всегда. Или смысл фразы в том, что карательные действия — суммарный результат деятельности лиц, против которых они направлены. Такие логические выверты под силу советской пропаганде, но от Зиновьева читатель ожидает чего-то иного, нежели объяснений, что в большой системе все настолько сложно, что может быть и так.

Другие примеры такого рода в этой статье еще встретятся.

Но тем не менее определение советского руководства как массового индивида может служить хорошей исходной позицией для ориентации в массе проблем, когда обсуждаемых Зиновьевым, а когда выходящих за рамки его книг.

В Советском Союзе нередко приходилось слышать: “Да что они, совсем с ума сошли? Кому нужны эти Вьетнамы, Кубы, Анголы? На что деньги тратят. Жрать и так нечего”. А речь идет все о том же укреплении и расширении советской власти. По старым принципам.

Выполняет ли Советский Союз международные соглашения? Да, как массовый индивид. Стереотипом поведения какое-то время может быть выполнение какого-либо международного соглашения.

Хороший ли он партнер в торговле? Может быть очень хорошим. До тех пор, пока не поступят иные инструкции и не станет ясно, что для него закон не писан.

Влияют личные качества вождей на жизнь в СССР? Была сталинская эпоха, хрущевская, брежневская. Принципы неизменны, но даже небольшие личностные особенности руководителей оказывали огромное влияние на внешнюю и внутреннюю политику.

Чем ограничена власть советского руководства внутри страны, во внешней политике? Какие виды сопротивления возможны и т.д.

— масса вопросов, при решении которых понятие массового индивида в отношении советского руководства может быть плодотворным.

Идеология

Высказывания Зиновьева об идеологии можно разбить на 3 группы.

1. Важен лишь факт существования идеологии. Ее содержание не существенно.

2. Идеология организующей роли не играет. Она — продукт общественной жизни.

3. Советское общество насквозь идеологично. Управление обществом производится через идеологию. Содержание идеологии в таком случае весьма существенно.

Эти три группы высказываний, разумеется, противоречат друг другу. Причины этого я рассмотрю ниже, а пока приведу цитаты, характерные для каждой группы.

1. "Для социальных механизмов важен лишь сам факт существования какой-то идеологии, ее формальное функционирование, а не ее содержание". ЗВ 197

2. "Для теории социальных систем безразлично, сложилась та или иная система естественно или была изобретена искусственно. В применении к обществу такое различие вообще бессмысленно. Когда особенности ибанского общества усматривают в том, что оно придумано искусственно, то говорят чепуху. Если даже некоторое общество строят по плану одного человека, в качестве строительного материала и исполнителей привлекается большое количество людей. И это обстоятельство имеет неизбежным следствием то, что вступают в силу социальные законы. По этим законам рано или поздно, скрыто или явно начинают жить участники реализации замысла. Они начинают образовывать группы, бороться за власть и привилегии и т.п. Когда идею искусственности ибанского общества начинают истолковывать как непомерную бюрократизацию, систему запретов, насильное навязывание идеологии и т.п., то упускают из виду простую и уже очевидную истину: все это суть не отклонения от норм этого общества, а его законные продукты, его реальное бытие, его подлинная натура". ЗВ 398

"Бессмысленно отрицать влияние марксизма на ход процесса. Но нелепо и думать, будто сложившийся реальный коммунизм был реализацией замыслов отдельных людей и партий. Здесь имели место благоприятные исторические совпадения и мутный словесный поток, допускающий любые истолкования постфактум. Реальный коммунизм мог сложиться и без марксистской идеологии". КР 28

"Социальный проект фактически становится лишь символом, освящающим деятельность". КР 14

3. "То, что принято называть политическим руководством коммунистическим обществом, есть на самом деле идеологическое руководство, ибо в

этом обществе никакого политического руководства вообще нет. И идеологическое руководство здесь законно доминирует над хозяйственным и всяким иным управлением, ибо оно есть носитель целостности общественного организма". КР 204

"Я же в отличие от упомянутых критиков коммунизма утверждаю, что коммунистические общества построены и строятся по проекту "научного коммунизма", хотя этот проект и не имеет ничего общего с наукой, хотя творцы нового общества совсем ничего не знают об этом проекте или знают лишь понаслышке". КР 18

"Социальный проект есть организующая форма деятельности людей". КР 14

Чтобы разобраться в чем тут дело, обратимся снова к теории автоматов. Какими именно стереотипами обладает автомат, в ней не определено — теория годится для любых стереотипов. Допустимые стереотипы поведения в обществе определяются действующими в данный момент законами, указами, правилами и т.п. Которые в советском обществе имеют идеологическую подоплеку или оформление. Самой идеологии в теории автоматов нет, как нет в ней описания стереотипов. Поэтому суждение 1. можно перефразировать так: для социальной теории неважно, какие именно стереотипы имеют автоматы, важно, что они их имеют.

Суждения 2-й группы уместны, есть относить их к советскому руководству, задающему идеологические установки в соответствии с требованиями момента и действующему при этом по принципу массового индивида. Или если относить их к людям, для которых идеология — работа, что им скажут, то и сделают. Но в отношении армии исполнителей и тем более всего общества, эти утверждения неверны.

У меня создалось впечатление, что проработав много лет в советской идеологии, среди товарищей проверенных и чувствующих себя в ней как рыба в воде, Зиновьев временами как бы забывает, что кой для кого идеология не кормушка, а очень и очень стесняющее обстоятельство.

Высказывания 3-й группы общеизвестны. На то она и есть идеология — о себе напоминает.

Стабильность

О стабильности советской системы Зиновьев говорил много раз. Какие-либо параллели с теорией автоматов здесь проводить бессмысленно — теория относится как к Западу, так и к Востоку. Социальность — это общее свойство обеих систем. Различия — вне этой теории и, естественно, смены общественных устройств

в ней тоже нет. Но я уже говорил, что в работах Зиновьева проглядывает не одна теория, а несколько. Утверждения о стабильности советского общества обусловлены методикой — системным подходом. Я не говорю, что советское общество нестабильно. Я согласен с Зиновьевым: советский строй прочный. И считаю важным, что Зиновьев напоминает об этом Западу. Сейчас меня интересует его аргументация:

“Из зала: Скажите, пожалуйста, а все-таки видите ли вы какие-нибудь перспективы или возможности изменения существующей в Советском Союзе системы к лучшему или ее модификации или замены? Т.е. имеете ли вы какие-то представления о возможных переменях и желательных переменях?

Зиновьев: Видите, в чем дело, система в принципе не изменима. Система и значит по способу абстрагирования, отвлечения — выделить в стране неизменное. Понимаете, система неизменна. Система может быть разрушена только вместе с телом общества. Но в рамках этой системы может идти борьба и будет идти борьба. Борьба за все элементы цивилизации”. ТБ

Цитата интересна тем, что в ней дано разъяснение: система неизменна по способу абстрагирования. Стабильность — условие применимости, а не вывод теории. Но капитализм — тоже система. Общественное устройство любой страны — система. И следовательно, при системном подходе должны полагаться неизменными. Преимущества исторического подхода к вопросу стабильности очевидны.

Антикоммунальность

Теперь я перейду к высказываниям Зиновьева о явлениях, которые он сам называет антикоммунальными. Вернемся к азам его теории:

“Социально значимый поступок.

В большом обществе люди совершают миллиарды поступков друг по отношению к другу. Среди них имеются такие, которые образуют специфику этого общества, его душу, его подлинную натуру. Они определяют собою все остальные стороны общества, его физиономию. Будем называть их социально значимыми или характеристическими (х-поступками для краткости).

Процент х-поступков в общей массе поступков людей ничтожно мал...

В нашем обществе х-поступки совершаются по правилам, суть которых сводится к одному: ослабить позицию сильного, талантливого, делового, продуктивного и т.д., низвести все и вся до среднебездарного уровня, ополить, заземлить, испаскудить”. ПР 112

Антикоммунальный поступок совершается по противоположным правилам: помочь или уступить место талантливому, деловому и т.д., поднять что-либо из среднебездарного уровня и пр. Процент таких поступков в общей массе поступков, видимо, тоже не

очень велик. Многие поступки не являются ни чисто социальными, ни чисто антикоммунальными. Например, если кто-либо помогает другому за счет третьего лица. Такой поступок можно рассматривать как социальный и как антикоммунальный.

Эмоционально негативный тон, в котором Зиновьев описывает социальный поступок, на мой взгляд не оправдан. Социальный поступок может быть как хорошим, так и плохим. Среди стереотипов поведения, разрешенных в обществе, могут быть самые прекрасные. Если они кому-то настолько не нравятся, что их можно уверенно считать социальными, так на всякий чих не наздравствуешься. Можно влюбляться, жениться, разводиться, растить детей, заниматься любимым делом, держать в доме собак и кошек и т.д. и т.п. Точно так же антикоммунальный поступок не обязательно хороший. Я думаю, что у Карла Маркса, когда он писал свои труды с намерением осчастливить человечество, был довольно сильный антикоммунальный запал.

Вводя термин "антикоммунальность" Зиновьев оставляет область социальной науки. Теории антикоммунальности нет. Хотя бы потому, что в антикоммунальность включено творчество. Суждения Зиновьева о явлениях, существенным образом антикоммунальных, — это не решающее слово науки, а просто человеческие мысли. Свои, чужие, верные, неверные, рожденные, быть может, из тысячи обстоятельств, как именно — в конечном счете остается тайной.

В той мере, в какой они претендуют на научность и всеобщность (Зиновьев часто рассуждает о научном стиле мышления в отличие от обывательского) они, увы, очень сильно похожи на диалектику. Ту самую, которую в Союзе зубрили, сдавали, заваливали. Единство и борьба противоположностей и проч. — основной набор приемов словоблудия, который никогда в жизни ничего не объяснил, но удручающе часто играл роль единственного и окончательного объяснения. Разумеется, научного.

Сам Зиновьев высказывается о диалектике двояко. В "Зияющих высотах" он называет ее дуболектикой. А в других книгах вполне почителен и даже рекомендует ее читателям.

Но если оставить в стороне претензии Зиновьева на научность и отмахнуться от мало приятных воспоминаний о зубрежке диамата, то нужно сказать, что при анализе суждений (в частности, самого Зиновьева) выделение социального или антикоммунального аспекта явления, к которому относится суждение, оказывается любопытным. К примерам такого рода я и перейду.

Зиновьев сам является критиком режима. Стоп, тут не все так просто. Многие (на мой взгляд слишком многие) здесь совсем не просто. Сам Зиновьев себя критиком режима не считает. О критиках режима он отзывается очень резко, говорит об "истинных противниках режима в отличие от дутых пузырей диссидентства" и т.п. Хорошо, я выражусь иначе: некоторые люди рассматривают книги Зиновьева как острую критику советского строя. С такой формулировкой, я думаю, Зиновьев согласится.

В его книгах встречаются возражения критикам режима по существу их утверждений. Иногда Зиновьев возражает прямо, от своего лица, а иногда вводя таких героев, которые сами по себе являются как бы ходячим возражением. В качестве примера достаточно указать на Матрену Ивановну в "Желтом доме". Намеренное противопоставление ее персонажу рассказа Солженицына "Матренин двор" очевидно.

Но наиболее парадоксальные и шокирующие высказывания Зиновьева относятся не к содержанию критики, а к критикам режима как таковым. Он рассматривает их как явление массовое и высказывается, главным образом, об отношении критиков режима (диссидентов) с основной массой населения, с советским руководством и с Западом. Участников отношений (Запад, советский народ, советское руководство, критики режима) Зиновьев рассматривает в социальном или антикоммунальном аспекте и соответственно строит свои суждения. Такой метод смены позиции совершенно правомерен и для исследователя, и для писателя. Насколько он в ходу у публицистов, я судить не берусь.

Не надо думать, что речь идет просто о каких-то склоках в узких диссидентских кружках. Вопрос поставлен в довольно общей форме — отношение к оппозиции в обществе.

Комбинации

Все варианты легко обозримы. Социальный аспект будем обозначать — 0, антикоммунальный — 1. Суждение будет характеризоваться кодом из четырех чисел по количеству участников, которых оно касается: Запад, советский народ, руководство, критики. Каждое из чисел может равняться 0 или 1, соответственно тому, в каком аспекте берется участник — социальном или антикоммуналь-

ном. Например, код 0101 означает, что Запад берется в социальном аспекте, советский народ — в антикоммунальном, советское руководство — в социальном и критики режима — в антикоммунальном.

Чтобы у читателя не возникло ощущения, что за этими нулями и единицами ничего не стоит, я приведу сейчас все коды и снабжу для примера каждый из них характерным суждением. Думаю, что эти или аналогичные суждения читателю неоднократно случалось слышать. Эмоциональность некоторых высказываний не существенна — я просто выписал первое, что припомнил.

0000 — И тут сволочи, и там гады. Наше руководство — типичная бездарная мразь, а критики режима их не лучше. Просто их когда-то обидели, карьера им не удалась — вот они в диссиденты и подались. Если бы они пришли к власти, то было бы то же самое, только хуже.

0001 — Там тоже не сахар. А наше нынешнее руководство фантастически безлико. Если человек является индивидуальностью, то оказывается органически чужд обществу (неважно здесь или там) и автоматически превращается в критика режима.

0010 — Народ и там, и тут одинаковый. Начальство прижало, продохнуть невозможно, это да. Обстановка, говорят, напряженная. А кто ее сделал напряженной? Диссиденты тут не при чем. Они тоже не защищены — прижмут и все.

0011 — На Западе жить можно. Это у нас руководство народ давит, к войне готовится. А диссиденты обстановку еще больше осложняют, нагнетают атмосферу.

0100 — Иностранцы, начальство, диссиденты — все не нашей породы: они конечно рады друг дружке глотки перегрызть, но всегда договорятся, сумеют. За счет простого Ивана.

0101 — Советское руководство с Западом всегда сообразят, как народные денежки тратить. А если кто критиковать это вздумает, так у нас найдут способы заткнуть рты. И Запад тут не поможет.

0110 — Народ диссидентов не любит, не доверяет, опасается. Откуда у них джинсы? И руководство он всегда поддержит, если сигнал дадут: "Пора".

0111 — На Западе конкуренция, разгул социальных сил. А в Советском Союзе все по плану. Народ и партия едины. А критиковать нашу власть можно и даже нужно. В установленном порядке.

1000 — Народ, сами знаете, какой нынче пошел — каждый тащит, разобрались что почем. На трибуне быдло. А критики, они что, не люди? Им тоже жить надо. Вот, на Западе, там все не так, там культурно. Ну, мы им покажем.

1001 — Критики режима — они же все агенты ЦРУ. Враги. Правильно, что посадили. В интересах народа. У нас хоть и бардак, но жить можно. А Гитлер на оккупированных территориях что делал? Порядок наводить взялся. Ну, ему тоже дали.

1010 — Руководство-то совсем по-буржуйски жить стало. Шляпы носят. По заграницам ездят. Ряжки отрастили, взглянуть страшно. Я, может, сам в душе диссидент. Сейчас бы, кажется, взял автомат и пошел бы их всех косить та-та-та-та подряд.

1011 — Режим критикуют, мол, безобразия творятся. Да советское руководство больше всех этих критиков заинтересовано в наведении порядка: борется с пьянством, прогулами, воровством. А-то ведь, что творится! Иностранцам показать стыдно.

1100 — Здоровое зерно в народе. Как при царе-батюшке было, так и осталось. И умение работать, и внутренний лад. И за границу тогда свободно ездили, назад возвращались, беды от этого не было. Свой дом строили. Это сейчас наверх хамы залезли, с жиру бесятся, порчу наводят. А все с них, с революционеров, началось, диссидентов нерусских.

1101 — Люблю послушать "враждебное" радио. Хорошо "клеветают", приятно. Диссидентов защищают. Меня агитируют. Будто я без них не знаю, что рыба с головы гниет.

1110 — Диссиденты воду мутят. От них все беспорядки.

1111 — Миролюбивые народы всего мира с надеждой смотрят на то, как дружный советский народ под руководством партии и правительства, устраняя отдельные недостатки, выявленные своевременной критикой и самокритикой, уверенным шагом и т.д.

Персонажи и автор

Теперь обратимся к Зиновьеву. Сколько комбинаций встречается в его книгах? Ответ отчасти зависит от корректности выделения отдельных суждений. Поскольку есть высказывания, в которых Запад, народ, руководство и диссиденты рассматриваются как в социальном, так и в антикоммунальном аспектах, то нетрудно порезать цитаты так мелко, чтобы, комбинируя их, получить все варианты. Но если рассматривать суждения в контексте, то мне удалось набрать высказывания, соответствующие 10 кодам из 16 возможных (не исключено, что я что-то пропустил). Так что персонажи Зиновьева обсуждают вопрос с разных позиций. Если ограничиться высказываниями только самого Зиновьева, то он тоже рассматривает вопрос в тех же 10 аспектах.

Подсчет этот приблизительный. Во-первых, я допустил, может быть, несколько вольную интерпретацию некоторых суждений. Дело в том, что когда Зиновьев рассматривает оппозицию в социальном аспекте, то говорит о критиках режима или диссидентах. Но кроме этого, он описывает других людей, к диссидентам отношения не имеющих, которых называет истинными оппозиционерами. Это люди яркие, талантливые, которые могли бы свою работу делать лучше прочих, и именно по этой причине им не удалась карьера — общество не дало им развернуться и вытолкнуло их на роль оппозиционеров. Иногда после этого они прилагают свои способности в смежной профессии, а иногда областях, далеких от прежних занятий. Разумеется, неудавшаяся карьера может послужить толчком

для размышлений, переориентации интересов и даже переоценки ценностей. Но я не понял, каким образом этот факт биографии может служить критерием, отличающим истинного оппозиционера от диссидента. Примеры, которые можно найти у Зиновьева, озадачивают. Например, в книге "Гомо советикус" один из героев, Вдохновитель, перешел из отдела международного терроризма какого-то учреждения КГБ в другой отдел, потому что в прежнем отделе коллеги работали плохо, халтурили, и у него не было возможности организовать международный терроризм на высоком профессиональном уровне. Так что он — истинный оппозиционер?

При подсчете комбинаций я махнул рукой на подобные объяснения и примеры и просто считал, что когда Зиновьев говорит об истинных оппозиционерах, то он рассматривает оппозицию (критиков режима, диссидентов) в антикоммунальном аспекте.

Результаты подсчета оказываются также сомнительными по той причине, что в книге "Светлое будущее" один из персонажей (Антон) высказывает следующие соображения:

"...в Советском Союзе реальная история так или иначе тяготеет к официальному ее представительству, и никакой иной фактической неофициальной истории здесь почти не существует. Советская история не по видимости, а на самом деле есть история съездов, совещаний, планов, обязательств, перевыполнений, освоений, пусков, манифестаций, награждений, аплодисментов, плясок, проводов, встреч и т. п., короче говоря — всего того, что можно вычитать в официальных советских газетах, журналах, романах, что можно увидеть по советскому телевидению и т.д.". СБ 40

На основании этих соображений Антона к аспектам, в которых персонажи Зиновьева рассматривают оппозицию, можно было бы добавить все, что на эту тему говорит советская пресса. Я этого делать не стал.

Ну, а позиция самого автора меняется? Говорит Зиновьев когда-либо, не через персонажей, а сам от себя, как гомосос? Да. Когда хвалит себя, принижая других. Или когда дает советы вступать на путь конкурентной борьбы и представлять от лица великой страны. Следующая цитата показывает, что такого рода советы Зиновьев дает. Совет очевидно адресован людям в Советском Союзе, которые раздумывают, стоит им пытаться эмигрировать или нет. Дело не в безапелляционном тоне совета, а в том, каким образом Зиновьев советует жить на родине.

"Не бегство на Запад, а борьба за вклад в науку, литературу, идеологию, искусство, спорт, систему управления и хозяйствования и прочие аспекты жизни людей у себя дома и для своего народа. Бегство на Запад ничего не ме-

няет в нашей стране, а в личном плане катастрофично. На Западе всего своего хватает. Запад не потерпит конкуренцию с выходцами из нашей страны. Он приложит все усилия к тому, чтобы раздавить потенциального конкурента из Советского Союза. Мы можем занять почетное место в мировой культуре, но только как представители великой страны. Путь этот не легок. Встав на него, ты встретишь лицом к лицу самого сильного врага своего — другого советского ученого, писателя, художника, инженера, офицера, администратора, идеолога... Если даже ты захочешь быть апологетом советского общества, но захочешь делать это на уровне достижений мировой культуры, тебя постараются уничтожить". НС 108

Констатирую, но не сужу. Во всех нас много разного понаmeshа-но.

Зиновьев что, одиночка. Ну, написал. В книге, открыто, вроде как в пространство. Вчера так, сегодня иначе. Завтра, есть шанс, еще как-нибудь. А иные критики режима так по-свински поступают — у свежего человека голова кругом идет. Представляют самозванно, а чаще по протекции, монополю по мере сил. Позиции не сменяют — народ деловой, сомневающих не терпят.

Культура

Теорию социальности Зиновьев пытается прилагать к возможно более широкому кругу явлений в жизни общества. В том числе к таким, сути которых эта теория даже не затрагивает. Желание во всем видеть подтверждение теории оборачивается в таких случаях слепотой. Теория остается в руках, а явление ускользает — с теорией слиться не может. Пример такого рода — высказывания Зиновьева о культуре.

Сообщив читателю о том, что культура есть явление антикоммунальное, Зиновьев сам начисто забывает об этом ее свойстве и начинает наводить в ней социальность: носителем культуры у него оказывается массовый индивид, творцом культуры оказывается тот же массовый индивид, путем культуры является конкурентная борьба.

Забыв о том, что если бы, скажем, у него, Зиновьева, автора "Зияющих высот" был конкурент, другой писатель, то это означало бы только одно: что оба плохие писатели, оба занимаются не своим делом.

Если кто-либо записал или высказал вслух оригинальную мысль — внес вклад в культуру — или на куске обоев начертал огрызком карандаша гениальный рисунок, то такой человек занимает в культуре свое единственное и первое место. Там все места первые. Но

Зиновьеву это как будто неизвестно и он самоуверенно распределяет писателей по местам, руководствуясь собственными вкусами. Проза: Шолохов на первом месте, Пастернак на 25-м, может быть, Платонов где-то во второй сотне и т.п. Поэзия: Маяковский — первый, Есенин — второй, Мандельштам — Бог весть где, за тысячу, Цветаева — кто ее знает, всех не упомнишь.

Конечно, зажимают, травят, сажают, убивают. Конечно, дают заказы, авансы, гонорары, путевки, дачи, машины. Конечно, школьники зубрят учебники, чтобы поступить в институт, а студенты, — чтобы получить диплом. И т.д. и т.п. Но это обстоятельства существования культуры, социальная среда, а не само явление. Потому люди к культуре и тянутся — подышать.

Религия

О религии Зиновьев судит примерно в том же духе, как о культуре, только похлеще. Все существующие религии он отменяет одним махом как неадекватные. Адекватной религии пока не существует, ее возможно создадут особо культурные и особо одаренные советские граждане на базе коммунизма. Они и Бога придумают. Комментарии излишни. Разве что: я не передергиваю. Я выдерживаю. Или, чтобы звучало приятнее: выделил и сжал.

Любовь

Принципы взаимоотношений массовых индивидов на любовь похожи мало. Подчеркивая в любовных отношениях социальность, Зиновьев получает картину похабную, циничную, в лучшем случае просто грустную. Увы, нередкую.

(На Западе) “надо иметь некоторый минимум денег, чтобы иметь женщину, доступную и без денег. Если у тебя нет денег, это заметно во всем твоём существе. И женщина, готовая отдаться без денег любому существу с деньгами, не отдастся тебе по той причине, что в тебе нет денежной субстанции. В Москве аналогичную роль играет социальное положение индивида. Женщины чувствуют эту субстанцию в мужчине и отдаются безвозмездно этой субстанции как таковой”. ГС 141

К счастью, Зиновьев описывает любовь не только с социальных позиций.

Гротеск

1. “Я знаю, будете смеяться:
Нам даже сны по рангу снятся”. ПР 368

2. "Установили шкалу болезней и сексуальной мощи. В зависимости от ранга руководителей стали освобождать от болезней той или иной категории и присваивать тот или иной уровень сексуальности". ЗВ 451

Литературный прием, гротеск. Предупреждение об опасности нарастания в обществе социальных тенденций, о захвате социальной жизнью всех сфер человеческой жизни, с вытеснением и подавлением всех прочих, не социальных свойств человека, вплоть до изменения его сущности.

Но этот прием может обернуться и против Зиновьева — самопародией. Как предупреждение о том, что не следует применять теорию социальной теории к явлениям другой природы.

Вроде все. Хочу к сказанному добавить несколько слов, к социальной теории отношения не имеющих.

Я очень люблю книги Зиновьева. В них множество разнообразных идей. Как правило, кусачих, вызывающих, данных в отточенных, острых, часто крайних формулировках без оглядки на общественное мнение, советскую власть, КГБ или западные разведки.

Принимая какую-то его идею как верную, не стоит забывать, что тот же Зиновьев в другом месте может высказывать мысль прямо противоположную.

Отметая какую-то мысль как абсурдную, спешить тоже не стоит. Мысль может быть просто необычной. Или может быть преподнесена в гротескной форме. За ней может прятаться интересная теория. Или она может быть как раз очень обычной — иметь силу расхожего мнения, быть приметой времени.

Зиновьев раньше был ученым. Потом стал писать, причем хорошо. Это намного опаснее. Власти не допускают. Каждый, кому не лень, сшибить старается. И, видимо, вообще писать хорошо страшно: как в неизвестность лететь — непонятно, куда занесло, непонятно, почему получилось. Но в этом состоянии возможно: жить, умереть и т.д. Есть примеры.

Пытается Зиновьев подстраховаться наукой: "Я профессор, вы не понимаете, это сложно, у меня масса книг по специальности!" В настоящей статье я критикую Зиновьева именно как ученого. А его книги по специальности — кто читал их? До "Зияющих высот" кому вообще было известно, кто такой Зиновьев? А если знал его кто, так ведь иначе. Мало ли что было. Уже произошло, сделано. Лекторский тон более неуместен: аудитория другая, сам другой. Назад хода нет.

В. Валуев — инженер; живет и работает в ФРГ.

ХУДОЖНИК АЛЕКСАНДР ОКУНЬ

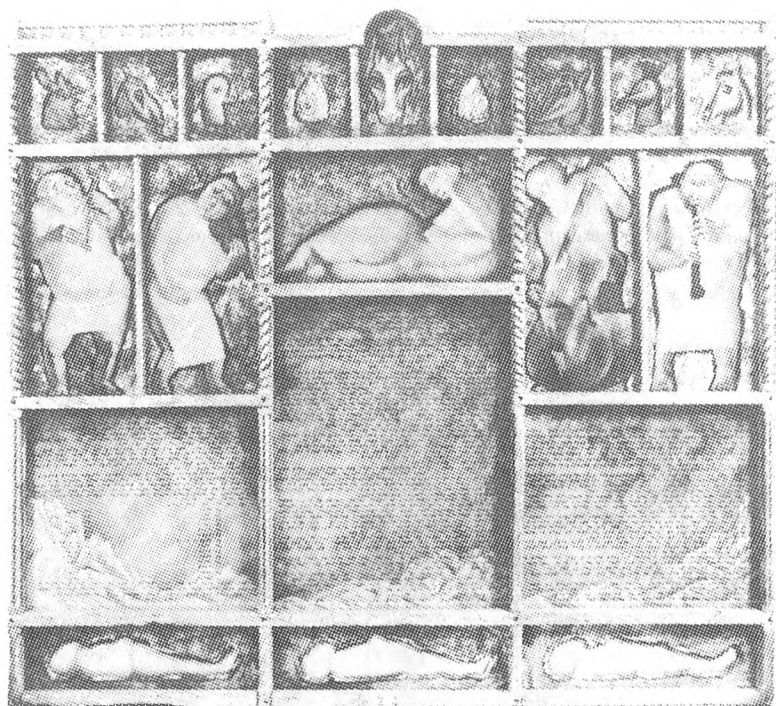
Меня попросили рассказать о себе и о своем творчестве. Я согласился и стал думать: что же такое интересное я могу рассказать? И чем больше я думал, тем больше огорчился. И тогда я обратил внимание на то, что я вообще склонен к тоске, печали и витанию в облаках. К примеру, я часто грущу, что не стал танцовщиком или певцом. А как многого я мог бы достичь, если б играл на рояле! И чем больше я думаю, тем больше погружаюсь в пучину тоски и отчаяния. Не стал я ни великим путешественником, ни укротителем диких зверей, ни тапером в публичном доме. Отчего так получается, что, глядя на полки винного отдела, я понимаю, что и десятой доли не пробовал? И почему никак не выходит объять всех красивых женщин, ну если не на всем свете, то хоть в Израиле? Конечно, неправильно было бы представлять, что я все время нахожусь во мраке. Иногда бывают просветы и в моей несчастной жизни. Я люблю слушать умные разговоры, даже если ничего не понимаю. Я интересуюсь современной наукой, особенно черными дырками и медицинскими историями, которые рассказывает мой сосед, доктор Горенштейн. Я верю в скорый конец света. Я человек чувствительный и могу всплакнуть. Когда я по бесчисленному разу иду смотреть "Амаркорд" или "Детей райка", то беру с собой большой плаксивый платок, ибо заранее знаю места, где непременно выроню слезу. Про "Огни большого города" говорить не приходится. Я из приличной семьи. В моем роду были редкие люди. Дочь моя — двадцать четвертое поколение. В будущее я смотрю с отвращением и не жду от него ничего хорошего. Поэтому я ценю настоящее, особенно когда оно проходит за столом с хорошей закуской. Я люблю своих друзей и часто говорю с ними о жизни и смерти. С Яшей, Вилей и Эмиком. Впрочем, возможно они думают, что мы беседуем на другие темы. Я женат. Еще я люблю встречаться с людьми интеллигентными, образованными, и присутствовать при их беседах. Но, как правило, своего мнения составить неспособен, совсем как тот раввин: кого ни послушаю, каждый прав по-своему. Что делать — ума не приложу. Я часто сокрушаюсь своим несовершенством — человеческим и профессиональным. В жизни и творчестве я консервативный романтик-шатобриан. Если речь заходит о моих занятиях, то мне хочется сказать что-нибудь значительное. К примеру, я думаю, что искусство второй половины двадцатого века сводится, по сути дела, к цитированию. Но когда я цитирую, так непременно напутаю, забуду, а то и вовсе выдумаю. Если у меня что и получается, то случайно и, как правило, совсем не то, что хотел. В искусстве я люблю клоунов, может потому, что они тоже путаются в цитатах. У меня есть один знакомый клоун. Изя. Когда я приехал в Израиль, то писал маслом на холсте, и работы мои покупали. Потом я стал красить маслом по дереву большие тяжелые натюрморты, и их не стали покупать. Из двенадцати купили всего один, и тот самый маленький. Мне кажется, что они лучше

и интересней картин на холсте, но, может быть, я ошибаюсь. Тогда я стал делать работы еще больше и еще тяжелее. Яша научил меня резать дерево стамеской. Я однажды воткнул стамеску себе в ногу, но меня это не оставило. Моя последняя работа высотой в два метра девяносто шесть сантиметров, а та, которую я делаю сейчас, будет три метра сорок сантиметров. Я хочу исхитриться сочетать в своих работах несочетаемое, но не знаю, удастся ли мне это, и производит ли это впечатление на зрителей, и какое. Я очень люблю слово катарсис, и хочу, чтобы зритель его ощущал. Но я стараюсь в своих картинах не жаловаться и не раскрывать свою печальную душу. Я думаю, что у зрителей своих бед хватает. Иногда мне хочется уничтожить все свои картины, но я почему-то этого не делаю. Но также случилось мне пережить кратковременный восторг и учуять явление музыки. Вот и все.

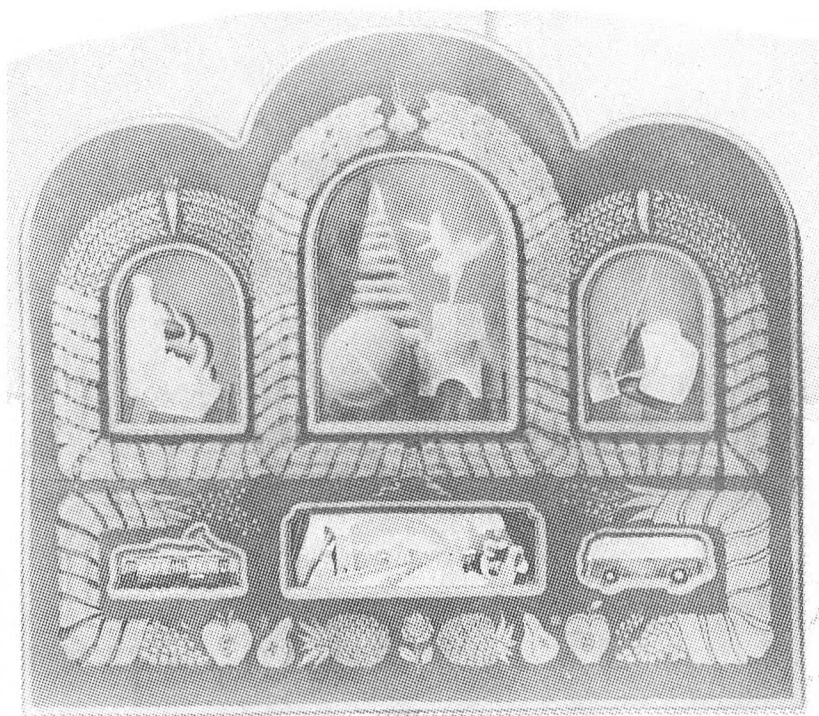
Александр Окунь



*Шкаф с воспоминаниями.
Дерево, масло, позолота. 1983.*



*Полиптих. 2.96 x 2.97
Дерево, масло, серебро. 1985—1986.*



"Детство".
Дерево, масло, позолота. 1983.



***"Йом Кунур".
Дерево, масло, позолота. 1983.***

Георгий Дризлих

ДИЕТА И ЗДРАВЫЙ СМЫСЛ

Прочтя заголовок, заинтересованный читатель может тут же задать мне вопрос: “Вы диетолог?” Вопрос вполне резонный. Отвечаю: “Я не диетолог. Я едок”. И вся моя “диетология на одной ноге” состоит в том, что есть надо поменьше, а двигаться — побольше. Однако наиболее уверенно я чувствую себя в области здравого смысла, — ибо такой профессии нет, и обвинение в некомпетентности я могу отвести, по крайней мере, формально. В связи с этим я даже могу себе позволить — предварительно и условно — определить здравый смысл, как нашу способность оценить величину любого конкретного зла и из двух таких зол выбрать — меньшее. Так, в медицине, в частности, здравый смысл состоит в том, чтобы не вредить, то есть выбрать для каждого индивидуального больного такое индивидуализированное лечение, которое принесет больному меньше вреда, чем сама болезнь.

К медицинскому “своду здравого смысла” относится и следующий, известный еще со времен Гиппократы, принцип: “Природа лечит, врач только помогает природе”. И в данной статье я хочу попытаться приложить этот подход к проблемам диеты.

К сожалению, навредить можно и в этой области. Но прежде, чем решать, что вредно, а что полезно, попытаемся понять, как “сама природа” справляется с лишним весом.

Насколько нам известно, в дикой природе ожирение, как правило, не наблюдается. Конечно же, животные имеют достаточный запас жира, и это крайне важно. Ведь жир является не только стратегическим “складом топлива и сырья”, но и выполняет ряд других жизненно важных функций — терморегуляции, растворения водонерастворимых витаминов и т. п. Некоторые биологи даже предпочитают вместо дарвиновского “сервайвл оф зи фиттест” (“выживание самых приспособленных”) говорить о “сервайвл оф зи фэттест” (“выживании самых жирных”). Здесь уместно, пожалуй, освежить в памяти некоторые элементарные сведения об энергетическом балансе организма. Основным, непосредственным топливом, в котором нуждаются все клетки (а больше всего — мышечные), является глюкоза. Если в пище нет чистой глюкозы, организм способен превращать в нее не только углеводы, но и жиры и белки. Если же пищи недостаточно или ее вовсе нет, организм образует глюкозу из собственных запасов — прежде всего, из жира. Соответственно, всякий избыток глюкозы (и пищи вообще) организм обращает в жир.

Как же животные ухитряются сохранять необходимый им жир и в то же время устранять его излишки?

Прежде всего, животные не переедают. Но есть и другая, не менее, если не более важная причина. На нее указывают многие наблюдения и эксперименты, в которых изучалось поведение животных. Наиболее ярко эта причина выявляется в эксперименте, описанном Конрадом Лоренцем в его книге "Об агрессии".

В камеру помещали голодную кошку. Затем туда впускали мышь. Кошка, заведя мышь, предпринимала серию всем нам хорошо знакомых действий: подкрадывалась на животе к добыче, бросалась на нее, убивала "летальным укусом" и поедала. То же повторялось со второй, третьей, четвертой мышью. Затем кошка насыщалась. Тогда она переставала поедать мышей, — но продолжала их ловить! Она подкрадывалась к ним, хватала и убивала. Затем она перестала их убивать, — но продолжала подкрадываться и хватать. Наконец, она перестала даже хватать и ограничилась подкрадыванием, — пока и это ей не надоело.

Этот эксперимент показывает, что чувство голода не является единственным стимулом, заставляющим хищников охотиться. Истощение этого стимула (то есть насыщение) приводит только к прекращению еды, но не других действий. Три оставшиеся группы координированных действий: подкрадывание, захват, убивание — представляют собой три отдельные и независимые программы, которые — по аналогии с фигурным катанием — можно было бы назвать "обязательными". Каждая из них имеет свой конкретный и независимый стимул — не менее сильный, чем чувство голода. Истощение этого конкретного стимула приводит к прекращению действий по выполнению только этой одной, соответствующей программы. Более того — за выполнение каждой из этих программ кошка получает награду в виде удовольствия, аналогичного удовольствию от процесса еды. Хорошо известно, что в отсутствие мыши кошка находит себе другую игрушку (бумажку, моток ниток) и играет с ней с несомненным удовольствием.

Какой же в этом биологический смысл?

Совершенно очевидно, что описанные "обязательные программы" — по сути, основной инструмент выживания в дикой природе. Чтобы добыть пищу, животное должно двигаться, двигаться и двигаться. Как говорят, волка ноги кормят. Но зачем же кошке двигаться и в том случае, когда она уже сыта? Не лучше ли прилечь на солнышке и вздремнуть, чтобы "жирок завязался"? Собственно, кошка так и делает, но... только после того, как "отработает" все "обязательные программы".

Почему?

Наш организм устроен так, что большинство его органов должны работать все двадцать четыре часа нон-стоп, — хотя и с разной интенсивностью. Определенную часть суток орган работает, так сказать, на "малых оборотах". Благодаря этому он в каждый данный момент уже "прогрет" и в случае необходимости способен резко набрать скорость, чтобы работать в максимально интенсивном режиме достаточно долгое время. Длительное простаивание органа ведет к так называемой "атрофии от бездействия". Если кролику не дают долго двигаться, а затем выпускают из клетки под носом у собаки (от которой он в нормальном состоянии способен легко убежать), он с места начинает мчаться с огромной скоростью и почти

сразу же падает замертво — из-за отказа, как минимум, трех систем — сердечно-сосудистой, легочной и нервной.

Но мышечная активность "прогревает" не только собственно скелетную мускулатуру и три вышеназванные системы. Она полезна для мышления и даже для секса. И наконец, главное в данном контексте — "прогревая" организм, мышечная активность одновременно сжигает излишки глюкозы, предотвращая образование излишков жира.

Теперь мы знаем, почему дикие животные не жиреют сверх необходимости. Во-первых, они едят только тогда, когда голодны; во-вторых, благодаря "обязательным программам" мышечной активности они непрерывно сжигают избытки топлива в организме.

Что же происходит с человеком? Чем человек в этом плане отличается от животных?

Человек, в отличие от животных, способен добывать свой хлеб насущный множеством способов, однако "обязательных программ" для этого у него нет. Эволюция их "стерла". Вместо них человек получил способность создавать и реализовать множество разнообразных "произвольных" программ, подгоняя их к условиям среды и к своим индивидуальным способностям. Хотя некоторых из нас все еще кормят ноги, роль других частей тела (особенно заднего места) в добывании хлеба насущного неизмеримо возросла.

Появление "произвольных" программ стало возможным потому, что внутренние стимулы, побуждающие нас к активности, утратили свою конкретность. Вместо четкого и недвусмысленного приказа: догоняй, хватай, кусай! — мы получаем весьма неопределенные указания: делай что-нибудь, не сиди, как пень. И мы вправе реализовать эту неконкретную жажду деятельности так, как нам заблагорассудится. Лишив нас обязательной программы упражнять наши мышцы и тело, природа даже не позаботилась сообщить нашему сознанию, что прогревание органов и сжигание избытков топлива — это теперь "наша проблема". А мы, конечно, не догадываемся.

Другое важнейшее отличие состоит в том, что жесткая связь между выполнением программы и получением удовольствия, существующая у животных, у человека разорвана. Человек может работать без удовольствия и может получать удовольствие без (или помимо) работы. Последнее люди очень быстро поняли — уже древние римляне выбросили лозунг: "Хлеба и зрелищ!". Впрочем, программа поедания пищи сохранилась у нас, слава Богу, как обязательная, — иначе мы давно бы исчезли с лица земли; соответственно, сохранились и чувство голода — этот сильнейший и безошибочный стимул, и награда за его удовлетворение — в виде глубокого удовольствия, сравнимого иногда с сексуальным. Но другие стимулы двигаться мы потеряли.

Подведем итоги. В человеческом обществе стало возможным добывать пищу без всякого удовольствия или даже за счет определенного уровня депрессии ("постылая работа"). При этом жажда удовольствия отнюдь не уменьшилась, а скорее возросла (чтобы компенсировать депрессию от постылой работы). И одним из мощнейших источников удовольствия осталась — еда.

Теперь понятно, какие природные механизмы создают "возможность растолстеть". Реализации этой возможности в действительность способствует ряд факторов.

Прежде всего, очевидно, что возможность растолстеть легко реализуется в среде, где имеется избыток и даже переизбыток самой разнообразной пищи, пища очень доступна, а люди располагают избытком свободного времени, которое, как выражаются психологи, необходимо "структурировать", то есть попросту говоря, заполнять какой-либо деятельностью — например, едой. Там же, где добывание пищи по-прежнему связано с большой затратой мышечной энергии, а количество добытой пищи ограничено, там — не до жира, быть бы живу.

Менее очевидным фактором является то, что я назвал бы "дурным программированием". В жизни каждого человека есть период, когда мышечная активность является почти обязательной программой. Речь идет, понятно, о детстве. Ребенок не может не двигаться и, совершенно очевидно, получает от этого гигантское наслаждение. Постоянные родительские команды: "не бегай, не прыгай, посиди спокойно" и т. п. — медленно, но верно гасят этот чрезвычайно полезный стимул. Понятно, что "разумное" программирование может привести к сохранению этой потребности — и удовольствия от ее выполнения — до глубокой старости. Другой пример дурного программирования — это страсть родителей кормить ребенка, кормить всегда, кормить везде, "до дней последних донца". Ребенку не дают возможности научиться пользоваться природным, очень эффективным регулятором — чувством истинного голода, подавляя его "упреждающим" кормлением. Из-за этого ребенок привыкает есть и тогда, когда он не голоден, и эта привычка может сохраниться на всю оставшуюся жизнь. В результате, взрослый человек может в течение длительного периода вообще не испытывать истинного чувства голода и напрочь забыть даже его вкус.

Одним из самых существенных факторов, ведущих к ожирению, является "раскрепощение" удовольствия. Как уже говорилось, выполнение целого ряда человеческих произвольных программ не сопровождается получением награды в виде удовольствия, а зачастую даже является источником депрессии, неизвестной животному миру. Этот феномен привел к появлению двух чисто человеческих форм деятельности, а именно: к активному поиску и использованию "чистого", "эмансипированного" удовольствия — и к усиленной эксплуатации сохранившихся у нас "животных" видов удовольствия, еды и секса.

Первая активность, имеющая, по-моему, самое непосредственное отношение к созданию культуры и искусства и формированию "эстетического" удовольствия, к нашей теме имеет лишь косвенное отношение. Оставим также и секс. Сосредоточимся на еде. Благоприятное влияние процесса еды на плохое настроение и вообще на отрицательные эмоции любого происхождения была угадана человечеством давно и использована в целом ряде социальных ритуалов — как, например, поминки. Высоцкий гениально обыграл этот ритуал для образной характеристики глубокой депрессии: "И я пошел, попил, поел — не полегчало". Если уж от еды не полегчало — значит, дело совсем плохо.

Возникает вопрос: используем мы еду как средство против депрессий

сознательно или стихийно? Я полагаю, что это происходит стихийно. Ряд наблюдений позволяет, по-моему, высказать следующую гипотезу. Когда наше подсознание получает сигнал неблагополучия, указывающий, например, на нарастание отрицательных и снижение положительных эмоций, и с этим надо что-то делать, а хозяин этого подсознания, наше тело, продолжает покоиться в кресле у телевизора и на этот сигнал не реагирует, то самый простой способ заставить его подняться — это сфабриковать сигнал, похожий на чувство голода. Это "ложное" чувство голода, безусловно, заставит нас что-то делать, чтобы добыть и приготовить пищу и, конечно, тут же ее съесть.

Так или иначе, несомненно одно — стремление избежать депрессии, с одной стороны, и жажда удовольствия, с другой, постоянно побуждают нас есть — даже тогда, когда физиологической потребности в этом нет. А как говорит китайская пословица, тот, кто ест на сытый желудок, роет себе могилу зубами.

—
Все вышесказанное позволяет понять, каким должен быть идеальный, полностью соответствующий нашей природе способ борьбы с лишним весом. Нужно, во-первых, найти такую работу, которая не только не угнетает, а наоборот приносит удовольствие; нужно, во-вторых, упражнять наши мышцы и тело способом, опять-таки приносящим максимальное удовольствие; и нужно, в-третьих, есть, руководствуясь истинным, а не ложным чувством голода, получая от этого реальное удовлетворение.

Должен признаться, что когда я выступаю с подобного рода благими советами, мои дети неизменно отвечают: "Поздно, Дубровский".

Они, конечно, правы, ибо начинать все это надо с самого раннего детства. Тем не менее кое-что еще можно успеть и сейчас. Важно помнить, что лишний вес — это только один и далеко не самый важный симптом общего неблагополучия. Гораздо более грозным симптомом является неспособность быстро подняться, скажем, на четвертый этаж без одышки и сердцебиения. И если уж бороться с чем-то, то в первую очередь именно с этим. К сожалению, тем, кто ищет четкие и конкретные рекомендации, как, когда, сколько и каким видом физической активности следует заниматься, я не могу ничего сказать. По крайне важной причине, которую никогда не следует упускать из виду. Все мы глубоко индивидуальны, и, в принципе, то, что хорошо для одного, может оказаться вредным для другого. Поэтому каждый из нас — с помощью доброго старого метода проб и ошибок — должен подобрать для себя то, что именно ему подходит и именно ему доставляет максимальное удовольствие. Ибо главное, в сущности, — это восстановить утраченную связь физической активности с удовольствием.

Равным образом, я не могу научить, как отличать истинное чувство голода от ложного. Этому каждый должен научиться сам. Каждый сам должен найти для себя оптимальный режим питания. Привычка есть всегда в определенные часы — хорошая привычка, она, по меньшей мере, помогает избавиться от дурной привычки есть когда попало. Если вы не едите часов пять-шесть, то существует немалый шанс, что вы проголодаетесь и припомните вкус истинного голода.

Собственно, на этом можно было бы закончить. Но читателю была обещана диета. Что ж, поговорим о диетах.

Диеты можно разделить на два класса — научно обоснованные и научно необоснованные. Гегель как-то заметил, что думать, будто, изучив законы логики, можно научиться логически мыслить — все равно, что думать, будто, изучив законы пищеварения, можно научиться переваривать пищу. Это высказывание можно толковать по-разному, и в данном контексте я толкую его в том смысле, что научно обоснованные диеты учат нас тому, что наш организм прекрасно умеет делать без всякой науки. Научно обоснованные диеты опираются на совершенно конкретные и правильные данные о сырьевом и энергетическом балансе организма. Все "взвешено, подсчитано и учтено" — сколько калорий затрачивается при том или ином виде деятельности (или бездеятельности), сколько калорий содержится в каждом грамме продуктов, какова потребность организма в белках, жирах, углеводах, витаминах, минералах, какое количество этих соединений содержится в тех или иных продуктах и каким количеством бобов можно заменить один стейк. Короче, это вполне добротные и относительно безвредные рекомендации, следуя которым можно всю жизнь "сохранять фигуру". Недостаток этих диет состоит в том, что они навязывают нам сознательную регуляцию того, что в животном мире происходит стихийно, бессознательно, автоматически. Кроме того, как мы уже знаем, природная регуляция заботится, главным образом, о сохранении бодрости духа и тела, что, в свою очередь, ведет к достижению желаемого эстетического эффекта. Вместо этого научно обоснованные диеты предлагают нам пожертвовать часть своей сознательной активности на изучение многочисленных таблиц и графиков, короче — на всю эту калорийную бухгалтерию. Что ж, и от этого можно получать удовольствие.

Научно необоснованные диеты вредны потому, что они противостественны. Главная их цель — подавить чувство голода, ложное или истинное, с помощью ложного чувства насыщения. Чувство насыщения, как и все другие чувства, формируется путем интеграции ряда разнообразных сигналов. Один из них сообщает мозгу, что желудок заполнен. Этот механизм и используют авторы обсуждаемых диет, предлагая нам забивать желудок низкокалорийными и медленно перевариваемыми продуктами. Удовольствия от этого, конечно, мало. Дополнительный же вред состоит в том, что наш организм, нуждаясь в калориях, вынужден работать с перегрузкой, перерабатывая "единой калории ради" тонны "пищевой руды".

Бороться с чувством голода можно и другими путями — лекарствами, гипнозом и даже, говорят рекламы, иглоукалыванием. Но недавно предложенная операция доводит этот метод до его абсурдного предела. В желудок хирургическим путем помещают пластиковый баллончик, заполненный газом, давление которого можно регулировать произвольно. Таким путем можно заполнить желудок и достичь чувства насыщения вообще без всякой еды. Так и хочется выступить с рационализаторским предложением сделать такую операцию всем голодающим Африки и решить проблему голода на этом континенте раз и навсегда.

Научно необоснованные диеты спекулируют на вполне понятном стрем-

лении человека спустить вес быстро, "ударно" и наглядно, как это показывают картинки "до" и "после". Ради этого стоит и помучить себя. Нет никаких сомнений в том, что можно похудеть на пятнадцать-двадцать килограммов, скажем, за две недели. Практика концлагерей это прекрасно доказала. Но как сказал поэт: "Ты спрашивала шепотом, а что потом, а что потом?" Ответ напрашивается. В большинстве случаев "потом" все возвращается "на круги своя". Более того, подобное грубое насилие над организмом может привести — и нередко приводит — к глубокой депрессии, полной потере аппетита, критическому снижению веса и т. п. Тонкие, звонкие и прозрачные жертвы таких диет нуждаются в серьезном лечении.

И наконец, научно необоснованные диеты — это нечто более серьезное, чем просто диета. Это, в каком-то смысле, идеология, которая может овладеть массами желающих похудеть, сделаться содержанием их жизни и превратить их в фанатическую секту. Прямо или косвенно авторы этих диет внушают всем желающим их слушать, что есть — вредно, а пища — яд. Конечно же, они правы. Как пронзительно заметил Станислав Ежи Лец, жить вредно, ибо кто живет — умирает. А уж кто ест — и подавно. Правы они и в том, что пища — яд. Действительно, в процессе переваривания ряда продуктов — например, мяса — образуются токсические метаболиты. Правда и в том, что природа приняла должные меры, и эти метаболиты нейтрализуются печенью и выводятся из организма почками. Когда один из этих органов выходит из строя, наступает отравление организма. И если уж мы коснулись этой функции печени, то стоит довести до сведения интересующихся, что печень способна нейтрализовать л ю б ы е яды, так или иначе попавшие в организм. А для успешного выполнения этой жизненно важной функции печени необходима аминокислота метионин, которую наш организм сам синтезировать не умеет и получает ее из пищи — главным образом, из творога. "Будьте известны", господа, отказавшиеся от творога по идеологическим соображениям!

Я мог бы аналогичным образом обсудить функции других продуктов — сахара, соли и т. п. — но я не пишу учебник биохимии питания. Это сделали без меня и гораздо более квалифицированно. Я же в этой связи лучше перескажу то, что много лет назад услышал на одной из лекций по фармакологии. Профессор сказал нам, начинающим студентам: "Дать определение яда очень трудно. Неядовитых веществ вообще нет. Все зависит от дозы. Растворите в стакане воды пятьдесят граммов поваренной соли, выпейте — и быстрая, мучительная смерть вам обеспечена".

Если уж даже такую простую и абсолютно необходимую для здоровья вещь, как поваренная соль, человек способен обратить себе во вред, что уж говорить о диетах? Все это настолько тривиально, что, кажется, не стоит и упоминания. Но как сказал Бернард Шоу: "То, во что никто не верит, не мешает лишний раз повторить!"

Г. Дризлик — биохимик, доктор наук, сотрудник Института Вейцмана (Реховот); в Израиле с 1977 года.

УЧЕННЫЕ ШУТЯТ, ИЛИ ЕЩЕ О ЗАКОНЕ МЭРФИ

- . Исходный закон Мэрфи: все, что может пойти не так, пойдет не так.
- . Расширенный закон Мэрфи: все, что может пойти не так, пойдет не так самым худшим образом.
- . Следствие Гаттузо: нет ничего столь плохого, чтобы оно не могло стать еще хуже.
- . Утешение Мэрфи: худшее враг плохого.
- . Следствие Кардинала: оптимист считает, что мы живем в лучшем из миров. Пессимист опасается, что так оно и есть.
- . Наблюдение Флугга: только хочешь постучать по дереву, как замечаешь, что все сделано из алюминия и пластика.
- . Наблюдение Телеско: есть два вида клейкой ленты: та, что не держится, и та, что не отдирается.
- . Первый постулат Педро: все хорошее в жизни либо аморально, либо незаконно, либо толстит.
- . Принцип очереди: чем дольше стоишь в очереди, тем больше вероятность, что стоишь не в той очереди.
- . Закон Тодда: при всех прочих равных обстоятельствах, ты все равно будешь в проигрыше.
- . Принцип покупок: если туфли тебе нравятся, они обязательно на номер меньше; если они тебе подходят, они безобразны.
- . Правило Марианны: кто ищет, тот всегда находит то, чего не ищет.
- . Закон автострад: если судьба идет тебе навстречу, значит ты движешься по встречной полосе.
- . Первое правило путешествий: добраться всегда легче, чем выбраться.
- . Закон относительности Балланса: время течет по-разному в зависимости от того, находишься ты уже в туалете или ждешь снаружи, пока он освободится.
- . Правило Виттингтона: тех, кто пишет о том, чего не знает, лучше всего понимают те, кто знает об этом еще меньше.
- . "Бритва Хэнлона": не приписывай коварству то, что проще объяснить человеческой глупостью.
- . Закон Джейкобса: человеку свойственно ошибаться, но еще более ему свойственно винить в своих ошибках других людей.
- . Наблюдение Ширли: большинство людей заслуживают друг друга.

Михаил Вартбург

О СЕБЕ, ОБ ИЗРАИЛЕ, О ЕВРЕЙСТВЕ

(Голда Меир. "Моя жизнь", кн. 1–2, "Библиотека Алия", 1985)

В одном из разделов своей книги, рассказывая о неделях, предшествовавших Шестидневной войне, Голда Меир воссоздает жуткую атмосферу страха и отчаяния, охватившую тогда Израиль, над которым нависла реальная угроза уничтожения. Она вспоминает, что в те дни тысячи американских евреев устремились на помощь Израилю. После войны, побывав в Штатах, Голда специально собрала многих из этих добровольцев, чтобы понять, — ради чего они готовы были рисковать своей жизнью? Из их сбивчивых ответов она сконструировала свой, обобщенный, который и предлагает читателю: в тот момент евреи ощутили реальную угрозу уничтожения рода. Не просто уничтожения государства Израиль, то есть еще одной группы еврейства, но уничтожения еврейского существования вообще.

Читая этот раздел, я вспомнил недавно опубликованное в журнале "Время и мы" интервью с редактором известного американского журнала "Комментари" Норманом Подгорцем. Это примечательное интервью. Оно примечательно прежде всего вопросами интервьюера. Если прочесть их подряд, минуя для начала ответы, то легко увидеть, что вопросы задает человек, глубоко тяготящийся своим еврейством, запутанными отношениями с покинутым Израилем и сомнительностью своего места в галуте. Цепь вопросительных знаков на самом деле маскирует последовательную "позитивную" идеологию, которую интервьюер как бы просит интервьюируемого "санкционировать". Не правда ли, "спрашивает" он, Израиль — это крохотное, провинциальное государство; сионизм зашел в тупик; отношения Израиля с диаспорой ухудшаются; еврейский гений может существовать только в галуте, а от еврейства можно даже отказаться (здесь следует ссылка на Кестлера, когда-то провозгласившего, что после создания государства Израиль у "честного" еврея есть лишь два пути: стать израильянином или перестать быть евреем)?

Подгорец не дает интервьюеру желаемого "отпущения грехов". От еврейства, говорит он, невозможно "отказаться", а тот, кто пытается это сделать, обрекает себя на максимальную несвободу от "еврейской проблемы", — потому что еврейская принадлежность — иррациональна. И такая же связь диаспоры с Израилем. Вот почему евреи диаспоры "знают", что их судьба теснейшим образом связана с судьбой Израиля: не только израильянам, но и им не пережить второй Катастрофы, какой было

бы уничтожение еврейского государства*. Подгорец утверждает, что евреи — сознательно или бессознательно — всегда видели свою коллективную задачу в том, чтобы выжить как род. Это то "послание", которое они передавали из поколения в поколение. На это выживание направлено и существование еврейского государства. (Можно было бы тут добавить, что как в свое время орудием такого выживания был иудаизм, так сегодня им стал сионизм. Эти избираемые народом орудия своего самосохранения во многом напоминают мутации, которыми пользуется природа для сохранения видов.)

Переключка Голды Меир и Нормана Подгорца, людей, совершенно разных по складу характера, судьбе и идеологии, не случайна. Те же догадки, в той или иной форме, высказывали многие мыслители, задумывавшиеся над тайной еврейского существования. В другом месте своей книги Голда Меир говорит об этой тайне прямо: евреи отличаются от других народов осознанной волей выжить как народ. Возможно, размышляет она, это происходит потому, что все угрозы их существованию всегда были угрозами общеродовыми, общенациональными: их преследовали и уничтожали именно как евреев, то есть людей, принадлежащих к определенному народу. С другими народами (скажем, армянами) это происходило лишь в исключительных случаях, раз в истории.

Голда Меир рассказывает в своей книге о чудовищной бедности своего российского, а затем американского детства, о невероятных лишениях киббуцной жизни, о бессильном отчаянии, пережитом ею на Эвианской конференции 1940 года, когда Запад отказывался принять немецких евреев, о почти непреодолимых трудностях первых лет государства. Неизбежно возникает вопрос: какая сила позволила ей (и другим, ей подобным) все это преодолеть, не опустить руки, не отказаться от "обреченного" дела, от "обреченного" племени? Вряд ли такую силу давала ей идеология, на которую она ссылается. Одной идеологии всегда можно противопоставить другую — хотя бы ту, которую излагает интервьюер журнала "Время и мы". Думается, что более сущностное объяснение этих еврейских судеб связано именно с коллективной волей к существованию как народа, которая помогла выжить и народу в целом, и отдельным его представителям.

* Чтобы не нарушать связности мысли, я вынужден снести в примечание другую замечательную мысль Подгорца — на вопрос о "еврейском гении" он отвечает, что этот гений не "увял" в Израиле, а лишь очередной раз исторически трансформировался, выразившись в том, что сегодня является главным для выживания рода — в военном искусстве. В сущности, уже из вопроса видно, что интервьюер понимает под "еврейским гением" только один его вид, типичный для галута — интеллектуальные достижения евреев в так называемых "свободных" профессиях. Но он забывает — и Подгорец напоминает ему об этом — что такие достижения оказались возможны лишь потому, что евреи в чужих культурах всегда "стояли на плечах" коренных народов, освободив благодаря этому свой интеллект от экономических, военных, политических и прочих "обычных" забот, которыми занята любая нормальная нация и которые отвлекают столь значительную часть ее собственного коллективного гения.

Книга Голды Меир поучительна для тех, кто видит в сохранении еврейского существования в истории ценность саму по себе. С другой стороны, тем, кто надеялся заглянуть вместе с Голдой за кулисы израильской политики, эта книга почти ничего не даст. Конечно, мы узнаем кое-какие дополнительные детали; замечателен портрет Берла Кацнельсона, малоизвестного, к сожалению, русскоязычному читателю; живо написаны страницы, посвященные африканским поездкам Голды-премьера; закрывая книгу, мы знаем почти все о ее личной жизни, по-своему счастливой и несчастливой. Но Голда как политик, но окружавшие ее великие люди — и тайна их величия — остаются неуловимыми.

Впрочем, главная мысль книги кое-что проясняет и здесь. Во всяком случае, она позволяет понять, почему Голда была "ястребом" в политике, почему она всегда настаивала, что Израиль в первую очередь и любой ценой должен быть сильным; должен вести переговоры, — но с позиции силы, а не выпрашивая признание или покупая его ценой уступок. Думается, эта позиция (которая объединяла Голду со всеми ведущими израильскими лидерами, от Бен-Гуриона до наших дней, была, в конечном счете, тоже продиктована пониманием, что гарантия существования Израиля — это не "добрая воля" других, а собственная воля еврейства к национальному самосохранению — и наличие средств реализации этой воли. Политик, несущий в себе еврейскую родовую память, не может относиться к этим вопросам с обычным для Запада прагматизмом.

Остается отметить хороший перевод, сделанный Р. Зерновой.

Абба Эвен

БЕДНЫЙ МАЛЕНЬКИЙ САМСОН...

*(Конор О'Брайен. "Осада: эпопея Израиля и сионизма".
"Шимон и Шустер", Н.-Й., 1985)*

Осада, говорят нам словари, это состояние, когда вы отрезаны от источников пропитания и помощи и вам остается либо сдаться на милость осаждающих, либо умереть от голода и жажды.

Если исходить из этого определения, Израиль, пожалуй, едва ли не наименее "осажденная" страна в мире. Трудно указать другое государство, которое получало бы — пропорционально — такую же большую внешнюю помощь. Трудно назвать "осажденным" государство, которое входит в международные организации и мировые экономические системы, продает все, что может произвести, покупает все, в чем нуждается, отправляет своих граждан путешествовать и принимает множество гостей из-за границы, обращается к миру с такой частотой и получает такой всеобщий отклик, что другим странам впору позавидовать.

Израильские министры то и дело посещают Каир. По соображениям безопасности израильтянам время от времени приходится посещать Южный

Ливан (хотя многие предпочли бы отказаться от этих экскурсий). Через иорданскую границу в обе стороны идет широкий поток товаров. Израиль похож на маленький дом, настуже распахнувший многочисленные окна и двери. Как сказал в аналогичных обстоятельствах Черчилль: "Тоже мне осада..."

Осадный синдром, пронизывающий эту книгу, является отражением израильского парадокса — противоречия между расхожими представлениями и новой реальностью. Израиль совмещает наличие реальной силы с психологией собственной слабости и уязвимости. Некогда Леви Эшколь назвал Израиль "бедным маленьким Самсоном". Наши друзья никак не могут примириться с этой трансформацией, и потому многие из них беспокоятся о нашем будущем куда больше, чем мы сами.

Могло бы показаться, что библиотека написанного об Израиле уже заполнена и к ней нельзя добавить ничего нового. К книге О'Брайена это не относится. На ней ощутим отпечаток оригинального, неутомимого, беспокойного ума и, что еще удивительнее — таланта, склонного к терпеливой, методичной работе. Любый народ был бы счастлив иметь такого историка. И если тема осады становится слишком навязчивой и сочувственной по мере развития сюжета, не следует винить в этом одного только автора. Для большей части описываемого им периода слово "осада" было вполне точным. Мне тем более трудно это оспаривать, что автор, среди прочего, цитирует и мое выступление в ООН в 1956 году: "Осажденный Израиль — единственная среди стран, вынужденная каждый день решать задачу чисто физического выживания..." В те времена это не было особым преувеличением. Но в последующие годы, особенно после 1967-го, главной задачей для Израиля стало, скорее, разумное использование своей силы, чем подчеркивание своей слабости.

О'Брайен явно поражен живучестью Израиля. Только здоровая неприязнь к стереотипам вынуждает его воздержаться от затасканных сравнений типа "Давид — Голиаф". Он находит "поразительным", что евреи — вопреки всем расчетам — столь часто выигрывали свое дело. Герцль сумел убедить западных лидеров всерьез отнестись к сионизму, который казался безумной утопией. Хаим Вейцман, скромный преподаватель химии, прибыл из Манчестера в Лондон и за полтора года превратил сионистскую программу в признанный принцип международной политики и права. Бен-Гурион привел еврейский народ к международному признанию и военной победе. В 1967 году Израиль находился на грани уничтожения, а несколько дней спустя вражеские армии уже были отогнаны от его границ и разгромлены в своих пределах. Серия роковых, казалось бы, ошибок в Войне Судного дня привела к цепи событий, закончившихся миром с главной арабской страной, что издавна было главной целью израильской политики.

О'Брайен пересказывает эту историю с живой увлеченностью хорошего рассказчика. Понятно, на 798 страницах не может не быть хотя бы нескольких рискованных пассажей. Автор, например, всерьез думает, будто война 1973 года вспыхнула не по причине желания Садата вернуть захваченные Израилем территории, а в результате сложной интриги доктора Киссинджера, который надеялся, что война позволит ему проявить свои таланты при-

мирителя. Каждый, кто знает капризный и довольно сентиментальный характер "доктора К.", поймет, насколько этот "детективный" эпизод далек от истины.

Если бы книга кончалась более ранним периодом, она не оказалась бы жертвой израильских переменчивых политических настроений. Автор рисует "нынешний" Израиль, охваченный националистической лихорадкой и наотрез отказывающийся от формулы "территории в обмен за мир". Он предостерегает, что если дело дойдет до такого обмена, то "Ликуд поднимет знамя Масады, а Маарах будет объявлен предателем..."

Если бы мы действительно были такими истеричными, мы не заслуживали бы авторской благосклонности. Но факты говорят о том, что сегодня в Маарахе уже почти не осталось противников территориального компромисса. Недавно утвержденная программа партии провозглашает, что навязывание постоянного контроля палестинцам "противоречило бы принципам и морали сионизма, подрывало бы демократические основы государства и препятствовало бы миру в регионе". Поскольку за эту программу проголосовала партия, представляющая 800 тысяч израильских избирателей, представляется, что О'Брайен не вполне справедливо отнесся к этой части населения Израиля. Трудно изобразить всю эту массу людей "предателями", — тем более, что и сам Ликуд не так давно потерял видных попутчиков-либералов, ушедших в новую либеральную партию, стоящую на позициях "территориального компромисса"; и тем более, что на тех же позициях стоят многие религиозные лидеры страны. Видимо, О'Брайен принял словесный ритуал за истинные политические намерения. Людям, пишущим об Израиле, полезно усвоить, что израильская риторика — это одно, а израильская политика — совсем другое. Впрочем, американцы и ирландцы не очень отличаются от нас в этом отношении.

Израильское упрямство, как уже убедился Анвар Садат, вещь недолговечная и неглубокая — оно является, в основном, реакцией на отказ арабов признать Израиль и исчезает при первых признаках серьезных переговоров. Можно думать, что к моменту, когда О'Брайен задумает переиздавать свою книгу, израильская действительность будет более соответствующей его надеждам. Он заслужил этого, потому что он желает нам добра.

Сокращенный перевод с английского М. В.

Вышли в свет книга Беур Бриа "Мессия" и брошюра "Реальная концепция сотворения и развития человечества". В них раскрыты научная суть сотворения жизни на Земле, влияние Творца на развитие человечества и роль в этом евреев.

Цена книги 18 долларов, брошюры — 6 долларов (в Израиле — 18 шекелей и 6 шекелей). Заказы и чеки присылать по адресу: А. Бедрицкий, P.O.B 28065, Тель-Авив, Израиль.

Продолжается подписка на журнал "Двадцать два"

Стоимость годичной подписки: в Израиле, в связи с переходом на новое оформление обложки, — 44,8 новых шекеля (до выхода следующего номера; после этого — в соответствии с новым уровнем цен); за рубежом — 40 долларов (авиапочтой в Европу — 50, в США — 56 долларов), для организаций — 50 долларов. Заказы и чеки направлять по адресу: "22", п/я 7045, Рамат-Ган, Израиль — или представителям журнала на местах.

Соединенные Штаты

L. Khotin, 235 17 Mile Dr., Pacific Grove, Ca. 93950

Западная Германия

L. Roitman, 67 Oettingerst. am Englischen Garten, 8 Muenchen 22 BDR

L. Gerstein, 12 Muehlbauerst., 8 Muenchen 80 BDR

Великобритания

R. Weisman, 1 Lodge Rd., Hendon, London NW4

КО ВСЕМ ЧИТАТЕЛЯМ

Мы призываем всех, кто заинтересован в сохранении нашего журнала, помочь нам пожертвованиями, которые будут приняты с глубокой и искренней благодарностью независимо от их размера

Список пожертвований за апрель-май будет опубликован в следующем номере.

Все права на материалы журнала (за исключением особо оговоренных случаев) принадлежат издательству "Москва—Иерусалим". Использование материалов без ведома и согласия издательства не разрешается.

Отпечатано в типографии

"ЯКОВ ПРЕСС"

ул. Рош-Пина, 22

Тель-Авив



АЛЕКСАНДР ОКУНЬ
"ИЕРУСАЛИМСКИЙ РЫНОК МАХАНЕ-ИЕГУДА"
(К СТАТЬЕ О ТВОРЧЕСТВЕ А. ОКУНЯ)